ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

2010. № 1

(январь - март)

Научный журнал

Издается с 2009 года

Политическая концептология:

журнал метадисциплинарных исследований
Научно-аналитическое издание

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-32422 от 09 июня 2008 г.

Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

Редакционная коллегия:

Главный редактор
Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины, Доктор политических и доктор философских наук, профессор **В.П.Макаренко**
Кандидат философских наук, доцент **С.П.Поцелуев** (зам.главного редактора)
Кандидат политических наук **М.С.Константинов** (ответственный секретарь)

Редакционный совет:

Председатель редакционного совета
Доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор А.В.Лубский (Ростов-на-Дону)
Доктор политических наук, доцент А.И.Бардаков (Волгоград)
Доктор экономических наук, профессор В.В.Вольчик (Ростов-на-Дону)
Профессор ординарный, доктор габилитованы Анджей Захариаш (Жешов, Польша)
Доктор политических наук, профессор В.С.Малахов (Москва)
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ О.Ю.Мамедов (Ростов-на-Дону)
Доктор философских наук, профессор Н.С.Розов (Новосибирск)
Доктор философских наук, профессор В.В.Савчук (Санкт-Петербург)
Доктор исторических наук, профессор В.Н.Ткаченко (Киев, Украина)
Доктор исторических наук, профессор И.М.Узнародов (Ростов-на-Дону)
Доктор философских наук, профессор С.Г.Чукин (Санкт-Петербург)
Доктор философских наук, кандидат психологических наук В.И.Шкуратов (Ростов-на-Дону)

Электронная версия журнала: **http://politconcept.sfedu.ru**

Адрес учредителя:
344006, г.Ростов-на-Дону
ул. Б.Садовая, 105
тел.: (863) 263 3158 263 8498
факс: (863) 264 5255
e-mail: rectorat@sfedu.ru

Адрес редакции:
344038, г. Ростов-на-Дону
пр.Нагибина, 13, к.308
тел. (863) 230 3090
факс: (863) 230-30-71
e-mail: politconcept@mail.ru

Содержание

Слово редактора
МАКАРЕНКО В.П. Ортодоксальный консенсус или поисковая критика: на пути к теории потерянного рая….....4

Общие проблемы политической концептологии
COLLINS R. Technological Displacement and Capitalist Crises: Escapes and Dead Ends.....23
КОЛЛИНЗ Р. Технологическое замещение и кризисы капитализма: выходы и тупики (пер. Н. Проценко).....35
ОБОЛОНСКИЙ А.В. Геополитика – аморальный вид ложного сознания и цивилизационные альтернативы.....51

Общество: концепты, институты и символы
ОЛЕЙНИК А.Н. Русская власть: конструирование идеального типа.....69
ПОЦЕЛУЕВ С.П. Диалог исторических времён в конструктах гражданской нации.....92

Аналитическое правоведение
КРАВЦОВ Н.А. Философия права Мишеля Вилле (окончание).....107

Научная жизнь
СУББОТИН А.И. Феномен интеллектуальной стагнации и будущее российской политики.....165
РОЗОВ Н.С. Возвращение политэкономии или потребность в исторической макросоциологии?.....189

Книжная полка
МАКАРЕНКО В.П. Техно-якобинцы на подхвате.....195

Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале в 2009 г......231
Наши авторы.....235
Contents.....236
Summaries.....237
К сведению авторов.....240

Слово редактора

ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ КОНСЕНСУС ИЛИ ПОИСКОВАЯ КРИТИКА: НА ПУТИ К ТЕОРИИ ПОТЕРЯННОГО РАЯ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Как известно, Ф.Бекон сформулировал лозунг *Знание – сила*. Его смысл состоит в обосновании фундаментального положения: знание – это средство господства человека над природой и обществом как видами объективного мира. Поэтому в основании социальных наук лежат познавательная и нормативная установки. Первая санкционирует образование и просвещение с помощью знания. Вторая обосновывает прогресс посредством знания. Сила – это контроль всеобщего доступа к знанию и потреблению продуктов динамики цивилизации.

Познавательная установка определяет действующие силы, причинно-следственные зависимости и участие социальных групп в становлении общества. Ее цель – открытие факторов, образующих основу социальных явлений. Эти факторы невидимы невооруженным глазом или заслонены случайными объектами. Данная установка отвечает на вопрос: являются ли социальные процессы результатом поведения и действия отдельных лиц, групп и классов или продуктом более широких процессов и тенденций? Э.Хобсбаум показал, что историк, политолог и географ реализуют одну и ту же познавательную установку, хотя первый занят поиском причин второй мировой войны, второй - причин падения советской империи, третий - причин развития региона. Ответы всегда будут различаться производно от акцента на человеческий или социальный факторы действующих сил - от индивидуальных до структурных. Поэтому социальные теории в разной степени отражают доминирование конкретных действующих сил (факторов)[1].

Нормативная установка воплощает стремление индивидов к свободе от любых ограничений со стороны социальных институтов. Такая свобода - главная ценность всех социальных действий. Человек действует на основе определенного образа социальной реальности. Системы ценностей (убеждений) и зна-

[1] См.: Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914—1991). М.: Изд. Независимая Газета, 2004

ние шансов удовлетворения человеческих потребностей опосредуют процессы объяснения, отбора и реализации таких социальных проектов, которые содержат (или хотя бы обещают) больше свободы, права, разнообразия и т.д.

Указанные установки обычно выступают последовательно или параллельно. Первая установка не всегда предшествует второй. В реальных процессах очередность наблюдаемых следствий зависит от способа выделения конкретных звеньев конкретной цепи причин. Обычно стремление человека к просвещению и влиянию на свою жизнь с помощью знания переплетаются. Знание об обществе до сих пор было источником власти одних индивидов (групп) над другими и влияния на собственную (чужую) судьбу.

Однако практическая реализация любой установки влечет за собой нарушения процессов описания реальности. Ответ на вопрос: что происходит? - нередко содержит такой список факторов, который отличается от порядка наблюдения. Сообщения о событиях в определенном пространстве и времени обычно хаотичны и случайны. Как правило, информация с места события удовлетворяет обычную человеческую любознательность. Содержит факты и утверждения о событиях, но не заглядывает за их кулисы. Например, официальная советская первая программа ТВ и неофициальная (радио «Эхо Москвы») по-разному сообщали о событиях 19-21 августа 1991 г. в Москве. Группа Янаева квалифицировала их как «восстановление порядка», группа Ельцина - как «путч», «государственный переворот». Но ни один информатор не говорил, что под видом изменений социального порядка конкурирующие политические клики переносят в новые условия российско-советскую связь власти-собственности-идеологии. Я сказал об этом в сентябре 1991 г., за что меня изгнали из Республиканской партии (хотя я был одним из создателей ее Ростовского отделения) и «Демократической России»[2]. Дальнейшее развитие событий подтвердило мою правоту. Так что теперь я абсолютно беспартийный и беспристрастный «неангажированный политолог» (так меня называют в Интернете)[3].

Иногда ответы связывают такие группы фактов, которые отобраны с точки зрения их отношения к конкретным явлениям или процессам. Например, в 1989-1995 гг. забастовки шахтеров были обычным явлением. Эти события можно рассматривать с разных точек зрения: как результат несогласия рабочих с условиями труда; как классовую борьбу рабочих с советской (или постсоветской) властью и бюрократией; как попытку рабочих создать основы гражданского общества; как манипуляцию рабочими со стороны определенных политических сил и институтов, включая директоров шахт и руководителей угольной промышленности; как реанимацию определенного понимания патриотизма[4]. Но те же события можно истолковать как элемент истории системных

[2] См.: Макаренко В.П. Идейная платформа Ростовского отделения «Демократической России» // Демократический Дон. 1991, № 1

[3] См.: http://www.rabkor.ru/review/book/3876.html?add&comment=1728

[4] В одной из крестьянских листовок периода гражданской войны говорилось: «Мы впервые даем реальную основу патриотизму. Наш воин будет драться за самого себя… Надо довести индивидуальный патриотизм пар-

изменений периода краха СССР. Каждое объяснение содержит долю истины, но иначе объясняет один и тот же процесс. И потому по-разному относится к познавательным способностям людей, которые ставят такие вопросы. Указанные способности исторически обусловлены и вытекают из жизненного опыта индивидов и групп[5].

Например, в мае-июне 1989 г. 1-й Съезд Народных Депутатов СССР показали на всю страну. Это событие собрало громадную телеаудиторию, превратилось в зрелище. Однако в то время не нашлось ни одного журналиста или ученого (или я не прав?), который объяснял бы интерес советских телезрителей к данному событию системными изменениями периода краха СССР, включая потенциальное крушение социального статуса и будущую физическую смерть большинства тогдашних телезрителей. Такое объяснение породило бы чувства, выходящие за пределы как казенного, так и реального одобрения *перестройки*. Если бы такой смельчак нашелся, кому скорее оторвали бы голову жители СССР – информатору, Горбачеву, Ельцину или прочим актерам исторической драмы? На этот вопрос нельзя ответить определенно, хотя подобные эмоции сегодня объединяют целые социальные слои. Стало быть, само понимание мира как следствие познавательного интереса человека к миру всегда опосредовано текущими обстоятельствами. Они нередко заслоняют и даже противостоят определенным интерпретациям исторических процессов.

Приведу еще один пример. Рост преступности на 100 тыс. населения в 1985 г. составлял 989,8, а в 2000 г. – 2018,2. Большинство исследователей объясняют это явление девиантным поведением или аномией - отсутствием социально адекватных норм, регулирующих правовую реакцию общества на негативные явления, и адекватного законодательства, регулирующего экономические, социальные, политические отношения между гражданами и социальными институтами[6]. Однако Т.В.Шипунова проанализировала основные виды описания (семантическое, историко-генетическое, причинно-следственное), модели (рационально-просветительская, рационально-этическая, антрополого-биологическая, уголовно-правовая) и теории (экономическая, стратификационная, социокультурная, дестабилизационная, стигматизационная) девиантности и показала: существует противоречие между статистическим (нормативистская парадигма) и процессным (социологическая парадигма) подходами при объяснении негативных социальных явлений; предпочтение одного из видов объяснений обусловлено ситуацией и/или научными интересами исследователей; преодолеть влияние ситуации и интересов невозможно; теории преступности и де-

тизанских масс до наивысшего экстаза, до фанатизма, так, чтобы за благо трудящихся они бросались в огонь и воду, горящие неугасимой верой в победу над врагами трудящихся». Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-1921. Документы и материалы. М., РОССПЭН, 2006, с.672

[5] См.: Олейник А.Н. Есть ли перспектива у социальных движений в России: анализ развития шахтерского движения, 1989-1995 // Полис. 1996, № 3

[6] См.: Гилинский Я. и Афанасьев В. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. СПб, 1999, с.81. Существует серия публикаций в журнале «Социс» о девиантном поведении См., напр.: Кривошеев В.В. Особенности аномии в современном российском обществе // Социс. 2004, № 3

виантности при рассмотрении причин данных явлений всегда обращаются к анализу социальных норм; но различие формальных и неформальных норм вечно; поэтому все суждения об аномии и девиантности можно оспорить[7].

Критика теорий аномии и девиантности тоже может базироваться на разных основаниях. В том числе на идее Д.Норта о двойственности государства[8] и констатации П.Бурдье: государство обладает властью «…производить и навязывать категории мышления, которые мы спонтанно применяем ко всему, что есть в мире, а также к самому государству»[9]. «В обоих случаях государство присутствует как нечто значимое: в первом случае как неявный источник категорий, во втором – как объект исследования»[10]. Поэтому на рубеже XX-XX1 вв. часть теоретиков переключилась на тотальную критику государственности как исходного пункта социального анализа[11].

Стало быть, можно исходить из того, что индивид стремится к свободе от ограничений со стороны институтов, государств, способов осуществления власти, организации труда, биологического воспроизводства и социализации новых поколений. Но все социальные изобретения созданы людьми. Поэтому практическая реализация стремления к свободе содержит сильный этический заряд. Нередко она обусловливает решения, которые удовлетворяют критериям прежних нормативных систем. Например, знание истоков и причин систем социального неравенства, множества угроз свободе индивидов во стороны государства так или иначе связано с морально-политическим измерением всех публичных дел. Это осуществляется посредством такой интерпретации человеческого бытия, когда оно понимается как социальный факт и продукт человеческих действий. Так реализуется вера в то, что знание социальной материи поможет построить лучший мир. Априорно и нормативно детерминированные представления и проекты человеческого мира – существенная детерминанта накопления и упорядочивания социального знания.

Как показал Э.Гоулднер, главными основаниями интерпретаций современного социального мира являются марксизм, функционализм, либерализм. Они санкционируют толкования социальной реальности с точки зрения связи идеологических и концептуальных элементов в более-менее убедительную доктрину, которая описывает и объясняет то, от чего человечество убегает, к чему

[7] См.: Шипунова Т.В. Проблема синтеза теорий девиантности // Социс. 2004, № 12, с.103-113

[8] «Мы не можем обойтись без государства, но и не можем сосуществовать с ним… Осуществление контроля третьей стороной означает развитие государства как принудительной силы, способной эффективно осуществлять надзор за правами собственности и обеспечивать соблюдение контрактов. Но на нынешнем уровне знаний неизвестно, как создать такое государство… Если … государство располагает принудительной силой, мы должны признать, что лица, управляющие государством, будут использовать эту силу в своих интересах за счет остального общества». Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997, с.81-82

[9] Бурдье П. Социология социального пространства. Институт экспериментальной социологии, Москва. Изд. «Алетейя», СПб, 2005, с.220

[10] Волков В. Силовое предпринимательство. СПб-М., Летний сад, 2002, с.10

[11] См.: Скотт Д. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М., Университетская книга. 2005; Мартин Ван Кревельд. Расцвет и упадок государства. М., ИРИСЭН, 2006

стремится, каких законов ждет ради улучшения экономических, политических и религиозных свобод[12].

Социальное знание строится таким образом, чтобы одновременно реализовать познавательную и нормативную установки. Продукты таких попыток образуют упорядоченную социальную теорию. Но они обычно тяготеют к первой или второй установке. Эта двойственность отражена в противоположном понимании социального знания (теории). Р.Мертон считает социальную теорию частным случаем знания физического мира, которая кодифицирует эмпирические наблюдения и формулирует эмпирически верифицируемые общие законы. Для Ю.Хабермаса социальная теория есть способ поиска интерпретационного консенсуса относительно смысла осуществленных наблюдений[13].

Имперские тенденции в строении социологических теорий

Длительное время в социологии господствовала модель Р.Мертона. Она строила генерализации на основе морфологического обзора одного из фрагментов действительности, пренебрегая теми элементами социального мира, которые находились вне секторного образа реальности. Одновременно при теоретическом анализе общества социологи занимались поиском способа влияния на власть с помощью знания. Стремились придать продуктам своего труда ранг диктата. Так возникали обязательные каноны. Их сторонники стремились поддержать объясняющую силу прежних теорий. Однако любая теория неизбежно теряет свою познавательную ценность по прошествии времени.

В американской социологической теории на протяжении второй половины XX в. шла борьба между концепциями, которые объясняли социальные изменения как процесс рационализации и модернизации человеческой личности, связывали процессы индустриализации с изменениями личности в направлении роста автономии, конкуренции и ориентации на личные достижения[14]. В дальнейшем я буду называть антропологическими такие социальные теории, которые полагают человеческую личность действующей силой социальных изменений.

В советской, постсоветской и восточноевропейской социологической теории продолжается борьба между структурными и культурными объяснениями процессов создания нового социального порядка. На этой почве возникли противоречия между главными толкованиями действительности: «В настоящее время предмет головной боли теоретиков вытекает из общеизвестного факта: ускорение социальных изменений резко обесценило теоретические каноны, ко-

[12] См.: Гоулднер А.У. Наступающий кризис западной социологии. СПб., Наука, 2003

[13] См.: Aleksander J. The Centrality of the Classics // Social Theory Today. Ed. Giddens A, Turner J. Stanford &Cambridge, Polity, 1987, p.11-57

[14] См.: Alexander J. Fin de Siecle Social Theory. Relativism, Reduction and the Problem of Reason. New York&London, Verso, 1995, p.6-7

торые до сих пор доминировали на основании самого факта существования советской империи»[15].

Длительное время в социологии преобладали интерпретации, претендующие на теоретическую несомненность. Они выражали убеждение: общества развиваются по определенным исторически неизменным логическим правилам путем повторяемых, причинно-следственных изменений или этапов развития. Эта традиция восходит к Г.Зиммелю. Он понимал развитие общества как развитие канонов симметрии, благодаря которой производится социальный порядок. Стало быть, сама социологическая теория была средством, с помощью которого социальный мир подчинялся канонам интерпретации. Для этого социология использовала строгую дефиницию теории как совокупности взаимосвязанных утверждений, иерархически дедуцированных из наличной базы данных. Факты дедуцировались из морфологического обзора фрагментов действительности.

Весь этот комплекс рассматривался как критерий степени (уровня) развития отдельных обществ. Теория была производной от необходимого и достаточного множества данных. Для верификации гипотез и формулировки теоретических выводов применялись формальные методы, математический и статистический анализ цепей зависимостей. «Главная цель социальных наук сводилась к подтверждению или фальсификации давно известных суждений здравого рассудка, а не к созданию новых идей, перспектив и знания»[16]. Математика и логика были созданы для объяснения более простых систем. Но на основе использования математики и логики социальные науки занимались (и нередко занимаются до сих пор) поиском индекса энтропии и вероятностных распределений там, где мера сложности и асимметрии намного выше физического мира.

Для иллюстрации приведу несколько примеров теорий капиталистического общества, которые построены по принципу симметрии и длительное время были доминирующими концепциями человеческого мира.

К.Маркс рассматривал германский капитализм Х1Х в. как переходную стадию и необходимый этап на пути к более прогрессивной стадии развития. Согласно Марксу, определенные организационные формы общества должны появиться как следствие актуальной конфигурации социально-экономических факторов. Прогрессивное относительное обнищание пролетариата считалось механизмом крушения капиталистической системы. Маркс приписывал человеческому индивиду одномерную способность оценки своей депривации. Но не понимал, что человеческая природа соотносит чувство унижения с объективным ростом уровня потребления.

Подобным образом М.Вебер рассматривал ранний американский капитализм ХХ века как естественный и необходимый результат множества определенных культурных, религиозных и экономических факторов. Теория Вебера

[15] Hahn C. (red.). When History Accelerates. Essays on Rapid Social Change, Complexity and Creativity. London, The Athlone Press, 1994, p.28

[16] Raymond E., Horsfall S., Lee M. (red.). Chaos, Complexity and Sociology. Myths, Models, and Theories. Thousand Oaks, CA & London, Sage, 1997, p.XXY11

соединяла ряд свойств в одну рационально объясняемую цепь. Предполагалось, что эта цепь содержит определенную линейную причинность – одни свойства уже должны существовать до появления других. Возникший на основе религиозной традиции кальвинизма этос материального успеха и навык не создавать лишних проблем для семьи и общества - факторы укоренения капиталистической предприимчивости. Но вследствие жесткой интерпретации веберовского канона социология 1950-х гг. не учла, что капиталистическая система может возникнуть в странах с доминированием совершенно иного (по сравнению с протестантизмом) религиозного этоса.

Во второй половине XX в. по этой проблеме шла дискуссия между католицизмом и протестантизмом. С.Местрович использовал понятия «father-centredness» (отцоцентричность) и «mothercentredness» (матерецентричность) для иллюстрации указанной проблемы[17]. В настоящее время признано, что капитализм может укорениться как в странах с доминированием отцо-центричной (Германия), так и в странах, где господствует матере-центричная религия (Италия, Польша).

Р.Бреннер полагает, что капитализм возник как логическое следствие институционализации торговых гильдий в Лондоне XУ11 в. При этом не учитывается роль предшествующего развития торговых путей и товарообмена между странами побережья Средиземного моря[18].

Иначе говоря, множество классических социальных теорий - это разработанные системы ценностей, т.е. вера в то, что вечные мечты человечества будут воплощены в определенном социально-политическом порядке и даже в отдельном городе[19]. История христианства вплоть до XУ11 в. по сути дела есть история ожиданий конца света и смутной надежды на то, что конец все же будет отложен на неопределенное будущее[20]. Ч.Лемерт показал, что социологическая теория на протяжении десятилетий была предвосхищением мира, который нигде и никогда не материализовался[21].

Универсальное визионерство - такова одна из причин доминирования одних представлений об устройстве человеческого мира над другими. В этом смысле имперские тенденции являются не столько элементом теорий, сколько следствием того, что люди придают своим убеждениям и надеждам примат с точки зрения прежних ценностей. Такое доминирование имело место в системах идей, доктринах и повседневных представлениях как обычных людей, так и интеллектуальных и политических элит. Теоретические утверждения классиков социологии выполняли прежде всего идеологическую функцию, попутно

[17] См.: Mestrovic S. The Road from Paradise. Prospects for Democracy in Eastern Europe. Louisville, The University Press of Kentucky, 1993, p.147-151

[18] См.: Aston T., Philpin C. (red.). The Brenner Debate – agrarian class structure and economic development in the pre-industrial Europe. New York&Cambridge, Cambridge University Press, 1985

[19] Например, в советское время в Москве сплошь и рядом висели лозунги: «Сделаем Москву коммунистическим городом». А теперь на батайских автобусах написано: «Сделаем Батайск идеальным городом».

[20] См.: Faubion J. Rethinking the Subject. Boulder&Oxford, Westwiew, 1995, p.98-110

[21] См.: Lemert C. Sociology After the Crisis. Boulder&Oxford, Westwiew, 1995

способствуя институционализации социологии: «Таким образом социологическая теория связывалась одновременно с определенным формальным способом аргументации, с будущими сценариями социального развития, антиципированными в качестве логических, и с идеологически доминирующим, политически и мировоззренчески обоснованным главным проектом человеческого мира»[22].

Социальная теория вне канона и энциклопедии

Что же подтверждает «теоретичность» понятийных систем объяснения социального мира? В настоящее время в социологии сложились следующие способы употребления термина «теория»:

1. Строго эмпиристский способ отнесения определенных суждений к упорядоченной системе ранее проверенных положений и гипотез. Главными элементами социологической теории являются обобщенные гипотезы или утверждения, указывающие на применимость (неприменимость) данных гипотез к определенным элементам действительности.

2. Логически непротиворечивое причинно-следственное объяснение.

3. Теоретическая установка (способ подхода к социальной реальности) и извлечение из нее множества свойств (например, отношений конфликта, символического порядка взаимодействия, стремления к восстановлению равновесия и т.п.)[23].

Однако читатель трудов по теории социологии вряд-ли найдет детальное и убедительное определение ее предмета. П.Штомпка отмечает, что в ходе исследований он обнаружил около двух десятков дефиниций социологической теории, но ни одна из них является строгой, простой и общепринятой. «Социальная теория в XX в. сформировалась в трудном диалоге между пессимизмом и оптимизмом, разумом и бессмыслицей (unreason), а роль теоретика сводится к медиации между данными дихотомиями»[24]. Г.Ритцер определяет социальную теорию как «широкую систему идей, связанных с центральными и важными проблемами социальной жизни»[25]. К.Лемерт указывает: «Социальная теория есть то, что мы делаем, когда утверждаем, что можем выразить словами то, о чем никто другой не желает упоминать»[26].

Установлено, что большинство понятийных систем и доктрин не удовлетворяют критериям формальной дефиниции: «Социологическая теория есть множество взаимосвязанных утверждений, обеспечивающих возможности систематизации знания, объяснения, предвидения социальной жизни и выдвиже-

[22] Ashley D., Orenstein D. Sociological Theory. Classical Statement. Boston & London, Allyn & Bacon, 1998, p.1

[23] См.: Calhoun C. Critical Social Theory. Oxford UK, Cambridge USA, Basic Blackwell, 1995, p.5-6

[24] Alexander J., Sztompka P. (red.). Rethinking Progress. Movements, Foeces and Ideas of the 20th Century. Boston, Unvin Hyman, 1990, p.33

[25] Ritzer G. Contemporary Sociological Theory. New York, McGraw Hill, 1992, p.4

[26] Lemert C. Social Theory. Boulder, Co & Oxford, UK, Westwiew, 1993, p.23

ния новых исследовательских гипотез. Причиной указанного недостатка является распространенное мнение, что социологическая теория есть специфический способ интерпретации, который предлагает социология как академическая институционализованная дисциплина»[27].

На протяжении 1990-х гг. возрастала критика минималистской интеллектуальной традиции как «…продукта внутренних трансформаций европейского общества и текстов, определяющих границы дисциплины, написанных узкой группой блестящих авторов»[28]. Данная традиция есть следствие исторического процесса генезиса академической социологии. В итоге социологическая теория вначале сформировалась как гегемонистский канон, а затем - как энциклопедический подход к широкому кругу социальных явлений и процессов.

В настоящее время опять дебатируется проблема объяснения социальной реальности. Понятие теории относят к способу конструирования и объяснения социальных фактов и объясняют этот процесс как коллективную интенциональность[29]. В этом процессе возникает понятие теоретически обоснованных социальных фактов - понятий, имеющих надлежащий теоретический статус. Большинство фактов в сфере социальных наук, а также критерии их оценки и объяснения есть продукт теории. Формально-логическое понимание термина *теория* ограничивает его значение определенным множеством структурных условий интерпретации, характерных для интеллектуального наследства неопозитивизма.

Указанное понимание все более конкурирует с креативно-нарративным пониманием: «Теория вытекает не только из попытки индуктивного объяснения воспринимаемого мира эмпирических наблюдений. Она дает также возможность осуществлять наблюдения и конвертировать ощущения в форму понимания, которому можно придать форму факта. Теория вырабатывает способы осмысления эмпирического мира, проведения наблюдений и формулировки тестов, а не только объяснения результатов тестов и поиска корреляций эмпирических наблюдений»[30]. Все чаще выдвигается постулат: социологическая теория как определенная практика должна быть заменена социальной теорией, учитывающей труд множества интеллектуалов. Они создали теории общества, относящиеся к исторически сформированным практикам, которые сделали это общество возможным.

Что же такое социальная теория? Я сознательно использую термин социальная, а не социологическая теория. Концепт социальной теории относится к теоретическому отражению социального мира, в котором живут люди. В современной философии и методологии науки под концептом понимается акт схватывания смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания. Концепт включает следующие параметры: полнота смысла выражения в целостном про-

[27] Ritzer G. Op.cit., p.4
[28] Conell R. Why Is Classical Theory Classical? // American Journal of Sociology. 1997, vol.102, N 6, p.1513
[29] Searle J. The Construction of Social Reality. New York, London, Free Press, 1995, p.37
[30] Calhoun C. Op.cit., p.6

цессе произнесения; субъектность, смыслоразделительная функция и смысловое единство речи; в отличие от понятия концепт есть продукт возвышенного ума (духа), который способен творчески воспроизводить и собирать смыслы; концепт предельно субъектен и предполагает другого субъекта (слушателя, читателя), актуализируя смыслы в ответах на вопросы и рождает диспут; память и воображение; направленность на понимание здесь и теперь; синтез способностей души (как акт памяти концепт ориентирован в прошлое, как акт воображения – в будущее, как акт суждения – в настоящее)[31].

Тогда как понятие социологической теории относится к конкретным схемам объяснения, которые использует социология как академическая дисциплина. Например, функционализм как определенный теоретический подход возник на почве социологии и антропологии. Я использую термин теория в смысле социологической теории общества определенного типа. Ч.Лемерт указывает, что социальная теория есть элементарный навык выживания в современном познавательно-сложном мире и одновременно источник интеллектуального удовольствия[32]. На мой взгляд, теория – это динамичное исторически изменчивое видение общества и человека как его активного элемента. Она есть также систематизированная перспектива рассмотрения определенной исторической формы общества – способ видения, мышления и описания социального мира, замкнутого в рамках определенного пространства и культуры. Такое описание может осуществляться в пользу автора или других людей. Цель описания - влияние на человеческое понимание мира, способ его устройства или частичное удовлетворение универсального человеческого интереса к миру.

Строение социальной теории – это процедура, благодаря которой устанавливаются образцы зависимости между отдельными социальными процессами (процессами производства общества) и следствиями коллективных действий. Тогда как практика строения «социологической теории» обычно сводится к конструированию таких схем интерпретации, которые связаны посредством «семантических нитей» с априорными принципами способа устройства социального мира.

Например, главный тезис марксистской теории - принцип неизбежности социальных изменений на основе классовой борьбы как базиса любого конфликта. Основание функционалистской теории - принцип гомеостазиса (т.е. неизбежности возврата социальной материи в состояние покоя). Неопозитивистская социологическая теория - это комплекс суждений наблюдения о возможности сосуществования фактов и событий.

Тогда как конструирование социальной теории позволяет заменить данный комплекс дискурсивным анализом факторов, детерминант, результатов и вероятности появления определенных витальных социальных явлений в формах коллективного поведения, исторических процессов или синдромов (комплек-

[31] См.: Неретина С.С Концепт // Новая философская энциклопедия в 4-х томах. Т.2. М., Мысль, 2001, с.306-307

[32] Lemert C. Op.cit., p.1

сов) явлений, связанных с универсальными свойствами социального положения акторов социальной жизни: «Теория – это ментальная реконструкция своего времени, саморефлексия, а не рефлексия»[33]. Социальная теория – это определенный интеллектуальный проект интерпретации. Она объясняет как, в какой степени, при каких условиях различные процессы и формы поведения становятся взаимозависимыми и доминирующими в определенном историческом контексте.

Социальная теория – это не исповедание веры в вечные ценности и не подтверждение нефальсифицированной истины, остающейся таковой при любых условиях. Разработка социальной теории – это процесс осмотрительного и осторожного выдвижения определенных пространственно-временных наблюдений и связывания гипотез в объясняющие цепи таким образом, чтобы они с большой степенью вероятности относились к определенным исторически детерминированным социальным фактам. Современная социальная теория - неотъемлемая часть проекта модерна как способа устройства мира. Этот проект открыт, допускает конкурирующие гипотезы и объяснения для роста понимания социальной реальности.

Например, К.Кобрин характеризует книгу В.Михайлина как «один из последних модернистских проектов в гуманитарных знаниях»[34]. В.Михайлин пишет, что его книга – результат пяти лет работы с комплексом гипотез в исторической, культурной и социальной антропологии под рабочим названием «пространственно-магистического подхода». Суть подхода сводится к детерминации различных культурных практик (поведения, социальной самоорганизации, кодовых систем, способов мировосприятия) той территорией, на которой в данный момент находится индивид или группа индивидов. При этом термин «территория» (или «зона») понимается не с пространственной, а с культурно-антропологической точки зрения. Для обоснования В.Михайлин использует гипотезу Оуэна Лавджоя о факторах, породивших человека как биологический вид. Тот считал определяющим фактором изобретение «детского сада», в котором несколько теток заняты присмотром за всеми детьми племени. Тогда у большинства стаи снимается ограничитель рождаемости и развязываются руки для иных способов потребления территории. В результате возникают три зоны: центральная соответствует территории проживания всей группы, на которой находятся нуклеарные семьи; серединная соответствует женской пищевой территории; окраинная пищевая территория принадлежит самцам. Суть дела в том, что каждая культурно маркированная территория автоматически включает адекватные ей формы поведения и исключает все остальные, не совместимые с ней. Магистика – это власть кода над человеком. Внутри современного го-

[33] Alexander J. Fin de Siecle Social Theory, p.65

[34] См.: Михайлин В. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные коды в индоевропейской традиции. М., НЛО, 2005, с.10

родского человека плещется «культурный коктейль» из указанных зон, который и предлагает изучать автор[35].

Нетрудно понять, что В.Михайлин предлагает переодеть типичную для Х1Х в. теорию факторов в одежды модного теперь в России культурного детерминизма. При этом упускается из виду, что даже в самых рафинированных формах (типа философии культуры Э.В.Ильенкова) этот проект потерпел крах[36]. Проблема осложняется еще более, если территориализм, гегемонизм и капитализм рассматривать как взаимосвязанные системы власти, которые порождают ловушки имперского перенапряжения[37].

Дело в том, что социальная теория возникла между религией и политикой, но ее язык отличается от религиозного и политического языка. Религия и политика оперируют иерархиями ценностей - вербальными формулами, моральными и этическими убеждениями. Предлагают абсолютную систему убеждений о должном устройстве социального мира. Социальная теория дает относительное (вероятное) знание о прошлом, настоящем и будущем мире. Это знание соотнесено с актуальными способами социологического анализа, сферой и степенью концентрации теории на условиях бытия человека в современном мире и условиях производства этого мира людьми.

Итак, антропоцентричная и социоцентричная перспективы влияют на способ социологического теоретизирования. Антропоцентризм – это взгляд назад, рассказ о накопленном людьми в прошлой жизни опыте, интерпретация прошлого опыта и способа его влияния на современное поведение людей. Социоцентризм – это взгляд вперед, в будущее несовершенное время, мир возможных событий и способов социального устройства. Как показал Ф.Бродель, разработка социальной теории опосредована параметром времени, включенного в дефиницию общества. В основе любой социальной теории лежит исторически сформированная дефиниция общества.

Социальная теория и историческое ускорение

Значение теоретического мышления и вытекающих из него пропозиций в социологии зависит от ритма и темпа социальных преобразований. По мере ускорения изменений теряют истинность теории, которые сформулированы во времена медленных изменений (профаны в социологии считают их временами стабильности). Поэтому доминирующие теоретические ориентации затрудняют понимание темпа исторических процессов.

К.Ганн критически оценивает способность ранее доминирующих канонов социальных наук (особенно антропологии) включать в свой состав элементы

[35] Михайлин В. Указ.соч., с.11-14

[36] См.: Межуев В.М. Эвальд Ильенков и конец в России классической марксистской философии // Эвальд Васильевич Ильенков в воспоминаниях. Под ред. Г.В.Лобастова. М., 2004

[37] См.: Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М., Изд. дом «Территория будущего», 2006, с.68-78

времени и истории. Теории, выдвинутые во времена надежды (политики называют их эпохой революции), обесцениваются при замедлении или компрометации проекта революционных изменений. Теории, построенные во времена доминирования одного локомотива прогресса (который привлекает общее внимание, концентрирует финансовые и организационные средства), преувеличивают значение процессов, которые затухают при исчерпании вначале витальных социальных сил.

Например, К.Поланьи описал ускорение, вызванное «великой системной трансформацией»[38]. Теории отдельных дисциплин социальных наук (социологическая, антропологическая, экономическая и т.д.) обычно принимают или отвергают тенденцию тотальных социальных изменений. Их авторы забывают, что «…глубокое и полное изменение невозможно. Для одновременного изменения и сохранения общества одни вещи должны меняться быстрее других. Периодически определенные изменения ускоряются, а затем темп социальных изменений замедляется… Причины и следствия исторического ускорения различны. Но после распада государственного социализма процессы политических изменений создали почти клинические условия для ускорения социальных процессов. Это ускорение превышает меру их понимания индивидами»[39]. Поэтому важным элементом конструирования социальной теории является аргумент об историческом ускорении как росте темпа изменений.

В такие моменты истории возникают когнитивные и нормативные предпосылки разрывов между способами интерпретации социальной жизни. К.Мангейм указывал, что способы теоретического мышления могут быть истинными, хотя и противоречивыми. Действующие люди так или иначе развивают множество методов опытного и рационального анализа мира. Если же человеческая деятельность длительное время не подлежит рациональному контролю или критике, тогда эти методы становятся бесполезными. Возникает ситуация компенсации прежнего неравенства, когда одна теория длительное время доминировала над другими, а все социальные науки метафорически смотрели в одном направлении.

Историческое ускорение подрывает прежние гегемонистские интерпретации социальной жизни. Оно полезно для социальной теории, поскольку господство одной эпистемологии выражает ортодоксальный консенсус, предшествующий историческому ускорению[40]. Вытекающие из ортодоксального консенсуса теоретические пропозиции обладают встроенными в дискурс постулативно-аксиологическими модулями. Они предписывают, как должна выглядеть социальная жизнь, если бы социальные процессы протекали по указаниям теоретика. В истории социальных наук до сих пор доминировали унылые периоды консенсуса. Но рано или поздно наступали периоды, в которых мно-

[38] См.: Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени // Пер. с англ. А.А. Васильева и др. Под общ. ред. С.Е. Федорова. СПб.: Алетейя, 2002

[39] См.: Hahn C. Op.cit., p.54, 8

[40] McNall S., Howe G. (red.). Current Perspectives in Social Theory. Greenwich, CT, JAI Press, 1981, p.3

жество интерпретаций не создавало чувства угрозы для теоретиков, политиков, социальных практиков. Темп изменений вел к тому, что новые способы интерпретации общества быстро находили щель, в которую могли пролезть.

Отсюда вытекает, что укорененная в интеллектуальной, политической и научной практике социальная теория принимает форму дискурса, подрывающего любое доминирование любой ортодоксии, хотя иногда социальная теория сама кажется догматом. Монотонность и скука социальной теории преходяща. Темп социальных изменений разрушает идентичность и гомогенность понятийного аппарата и постулатов о природе социальной действительности. В социальных науках существует множество дискурсов. Многообразие теоретических подходов особо значимо для анализа социальных изменений. А.Шеффле показал, что Мангейм выделил два аспекта социальной жизни: рутинное состояние вещей (laufendes Staatsleben) и политические процессы: «Первый аспект – это ряд социальных событий, которые обрели форму относительно устойчивого образца. Они образуют предмет нетеоретического описания, концентрирующегося на фактах. Второй аспект - это события и процессы, находящиеся в процессе становления. Для понимания их надо объяснить на фоне других событий и процессов. Это осуществляется путем контрастного или причинно-следственного сопоставления с цепями частично известных, описанных и объясненных событий, относительно которых существует убеждение в их принципиальной объяснимости»[41].

Теория - функция процесса становления. Прежде всего она глубоко укоренена в социальной действительности. Затем порождает такой тип социального действия, которое выходит за рамки одного канона. Наконец, действие изменяет действительность, а при поражении вынуждает пересмотреть теорию. Обусловленное действием изменение актуальной ситуации ведет к новой теории. Характерно, что столь разные мыслители, как Г.Лукач и Т.Кун описывали эту ситуацию как предпосылки смены парадигмы.

Теоретическая и языковая практика социологии включает две формы объяснения: описание прошлого и настоящего социальных институтов и норм; описание процесса становления: «Большинство социальных наук есть описание известного социального мира в рамках небольших контекстуальных и частных дифференциаций… Мы трудолюбиво накапливаем и проверяем факты, чтобы быть уверенным в их обоснованности, а затем сортируем их в группы в соответствии с установленным образцом… И только от случая к случаю систематизируем знание более теоретическим способом, - так, чтобы выводы о порядке вещей не сводились к поверхностной характеристике вещей, к которым они относятся»[42].

Указанные формы социальной теории определяются способом ее концентрации на процессах изменений. Предмет первой - рутинное состояние вещей (в

[41] Schaeffle A. Uber den wissenschaftlichen Begriffe der Politik // Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft. 1987, vol. 53, s.59

[42] Calhoun C. Op.cit., p.3

смысле Мангейма), предмет второй - процессы преобразований. Ортодоксальный консенсус легче обосновать на почве первого типа объяснения, поскольку взгляд назад способствует априорному решению проблемы причин и следствий. Второй тип объяснения направлен в будущее неопределенное время и ведет к теоретической формулировке критических суждений.

В современной социологии все чаще высказывается мнение о том, что социальная теория должна выполнять интегративную функцию во всем круге социальных наук. Но одновременно фиксируются две эпистемологические проблемы: теоретик пытается перейти от эмпирических данных к теории, но не находит общего знаменателя для больших баз эмпирических данных, теоретических понятий и критериев; теоретик пытается перейти от теории к оперативным критериям, но не находит опосредующего звена. Обе проблемы ограничивают возможность конструирования социальных теорий. В результате падает критическая поисковая функция социальной теории. Растет популярность определенной ортодоксальной парадигмы объяснения социальной реальности. Только историческое ускорение стимулирует потребность в такой социальной теории, которая отвергает каноны и догмат консенсуса.

Длительное время социальная теория оценивалась с точки зрения эмпирической проверки утверждений, соответствующих догмам прошлых времен. Теория рассматривалась как модель, которая включает главные принципы конституирования, действия и преобразований общества. Вследствие нерешенности первой проблемы множество теорий отбрасывались, поскольку другие временно давали более убедительные эмпирические объяснения. Вторая проблема связана с наплывом теоретических достижений, установок, моделей, методов, дефиниций и шума, который вносили теоретические работы. Вследствие этого падает значение критерия истинности. Но критерии истинности современного теоретического дискурса выходят за рамки эмпирической адекватности утверждений о природе и следствиях адекватности теорий, моделей и дефинитивных коннотаций: «Степень их эксплицитности определяется усилиями по рационализации и систематизации интуитивно схватываемых сложных аспектов социальной реальности. Современные дебаты между причинно-следственной и интепретационной методологией, утилитарной и нормативной концепциями действия, моделями равновесия и конфликта, радикальными и консервативными теориями социальных изменений отражают стремление сформулировать научные критерии истинности утверждений, выведенных из неэмпирических сфер анализа»[43].

До недавних пор социальная теория увлекалась обширными базами количественных данных. Современная социальная теория формулирует объяснения на основе индуктивного выведения из качественных данных. Такой подход требует критического участия исследователя в делах социального мира. И крити-

[43] Giddens A., Turner J. Op.cit., p.26

ческого расчета с историческими и культурными условиями, влияющими на интеллектуальную деятельность. Эмпирическую гипотезу проверить нетрудно. Зато в сфере качественных объяснений намного труднее обосновать ортодоксальный консенсус. Здесь теоретизирование требует постоянной конфронтации с альтернативными способами объяснения.

Социальная теория и проблема дефиниции общества

Э.Гидденс предлагает рассматривать конструирование социологической теории как иерархию практики постановки вопросов, когда один тип вопроса влечет за собой следующий тип. Эта интерпретация отражает познавательный аспект социологического теоретизирования, поскольку речь не идет об отдельных вопросах и ответах. Практика постановки вопросов пронизывает социальную действительность ради получения теоретического знания. Все вопросы делятся на четыре типа: фактуальные (что происходит?); компаративные (известны ли аналогичные процессы где-либо еще?); исторические (имели ли место ранее подобные процессы?); теоретические (что образует основу таких процессов?). Конструкция теории есть результат удовлетворительного ответа на вопросы низшего порядка[44].

Иначе говоря, концентрация на практике постановки вопросов ведет к тому, что создание теории становится организованным предприятием. В итоге автор конструирует определенное видение (версию) социальной реальности: «Теории позволяют осмысливать эмпирический мир, дают способы проведения наблюдений и формулировки тезисов, а не только объяснения результаты тестов и корреляции эмпирических наблюдений»[45].

Ключ к построению современной социологической теории – ответ на вопрос: что такое общество? Социальная теория – это теория исторически образовавшегося общества. Новое поколение социологов 1990-х гг. вынуждено решать новые проблемы определения своей идентичности. Одновременно множество прежних проблем уже решены на основе ревизионистского структурализма, который анализирует большие структурные перемены XX в. - революции, войны, социальные движения[46]. Для теоретических потребностей можно предложить следующую дефиницию общества:

Общество – это группа людей, конституировавшаяся на основе истории и опыта. Их жизнь и существование организованы территорией, которую они считают своей колыбелью. Создавая материальную и нормативную культуру, они вносят параметр прошлого в повседневный опыт. А поскольку производство культуры всегда происходит в настоящем, люди обычно ссылаются на уникальность своей исторической традиции. Повседневная экономическая, политическая и культурная деятельность способствует тому, что люди поглощены

[44] См.: Giddens A. In Defence of Sociology: Essays, Interpretations and Rejoinders. Cambridge UK, Polity, 1996
[45] Calhoun C. Op.cit., p.6
[46] Lemert C. Sociology After The Crisis, p.202

процессом становления. В этом становлении они образуют устойчивые конфигурации (структуры) статусов и ценностей. Этот процесс порождает оперативные следствия в отношении современности, а также (по мере преобразования мира) длительные следствия для будущего. По мере того, как общество контролирует повседневную жизнь, оно стремится лучше понять свое историческое продолжение - из прошлого через настоящее к будущему. Такое понимание способствует росту заботы о своем будущем и будущем еще не рожденных поколений.

Общество функционирует одновременно в трех измерениях времени – прошлом, настоящем и будущем. Социальная теория должна учитывать эту трехмерность. Причинно-следственное объяснение выходит за рамки оперирования цифрами. Теоретическое объяснение зависит не только от числа учитываемых факторов, но и от осознания того, что они могли сложиться совсем иначе: «История есть рассказ о том, что произошло. Кроме того, мы стремимся понять то, что могло произойти. Эта информация является ключевой, ибо без нее невозможно понять текущие решения»[47]. Аналогично высказывается другой автор: «Воображение - это восприятие сегодняшнего дня. Только при условии воображения возможного мира мы можем познать истину сегодняшнего дня»[48]. Тем самым социальная теория определяет способ восприятия социального мира и возможность освоения ученым новых фактов и проблем.

Социология возникла из рассказа о том, как люди судят об устройстве мира, но «…стремится преодолеть свое первичное убожество знания, понятий и идей. С учетом повествования о сформировавшихся социальных структурах социология неизбежно является теоретической наукой»[49]. Одновременно социология есть нарратив, повествующий о несостоявшихся социальных мирах, бесповоротно утраченных для истории и человеческого воображения. Социология - это теория потерянного и никогда не достижимого рая.

Прошлый аспект классических подходов как способов видения потерянного рая есть одновременно достоинство и недостаток социальной теории. Нетрудно упростить язык и понятия, увеличивающих шанс понимания предмета. Но всякое упрощение ведет к ортодоксальному консенсусу. Сталкивает социологическую теорию на уровень еще одного скучного и архаичного романа. Одна из причин такого положения вещей - нормативный заряд отдельных теорий, которые базируются на неполной дефиниции общества. Как правило, она ограничена одним-двумя временными измерениями. И нередко приписывает человеку неспособность ориентироваться в истории, потерю и отсутствие идентичности. Однако идентичность человека не ограничивается одной-двумя сферами. Чувство идентичности - свойство общества и противовес социальным из-

[47] Calhoun C. Op.cit., p.9

[48] Furth H. Desire for Society. Children's Knowledge as Social Imagination. New York & London, Plenum, 1996, p.246

[49] Lemert C. Op.cit., p.18

менениям. Чем быстрее происходят и глубже проникают социальные изменения, тем более социальная идентичность содержит три временных измерения.

А.Гоулднер почти сорок лет назад описал кризис западной социологии, которая не могла ответить на вопрос об идентичности людей – кто они есть в мире резко меняющейся действительности, к чему стремятся и какое вероятное будущее ожидает их потомков. Такая социология вытекала из эмпиристски ориентированных обширных баз данных, а социологическая теория опиралась на цитаты классиков (Э.Дюркгейма и М.Вебера на Западе, К.Маркса - на Востоке). Она говорила о вещах, непонятных для обычного человека. Формулировала зависимости на основе статистических факторов, которые никак не переводились на повседневный язык и дела. Позволяла доминировать канонам функционализма и неопозитивизма на Западе, детерминистского структурализма на Востоке. Поэтому прежняя социология дает лишь одно монополистское видение человеческого мира.

Однако социология должна давать людям множество возможностей познания и понимания мира, множество взглядов, интерпретаций человеческих представлений о социальном мире: «Ответы на вопрос «Если социальный мир разнообразен, то кем являюсь Я?» многообразны и вытекают из множества возможных точек зрения. А функцией вопроса об идентичности есть очередной вопрос: «Если социальный мир дифференцирован, то где в этом мире нахожусь я и где мое место?»[50]. Ответы на эти вопросы не могут даваться только в прошлом несовершенном времени, но должны формулироваться в будущем времени, условном, но все же возможном.

Социальная теория новой социологии поколения 1990-х гг. – это лекарство от теоретических слабостей социологии 1970-х гг. Новое поколение сделало идею множества социальных миров и образов реальности орудием социологического познания. Переписало заново дефиницию общества и поставило под вопрос избитые истины модерна и постмодерна. Социальные изменения рубежа 1980-1990-х гг., а также рубежа XX-XX1 вв. способствуют такому обновлению. Эти изменения поставили под сомнение и революционизировали глобальное чувство идентичности многих обществ, а также прежних неколебимых и несомненных видений человеческого мира. В Восточной Европе, Палестине, Израиле, Ираке, Иране и Японии рухнули истории целых поколений. Так было введено многообразие в единообразные и нередко навязанные силой образы социальной реальности.

Например, новая теория стран Латинской Америки занимается проблемами восстановления гражданского общества, закрытости-открытости гражданского статуса, изменения роли государства, определения социальных прав, территориальных и региональных параметров при строительстве общества и т.д. Новые исследования культурных параметров этнического насилия показывают, как изменения процессов сознания на Западе стимулировали появление

[50] Lemert C. Op.cit., p.38

механизмов насилия на пространстве прежней Югославии и СССР. Не менее интересны работы, обсуждающие проблемы хаоса и парадигматического кризиса[51]. Правда, старая социологическая теория все еще стремится выработать общеобязательный канон[52]. Но труды нового поколения социологов производят впечатление новизны, освобождая читателя от фрустрации, обусловленной непониманием предмета дискурса.

Короче говоря, на рубеже XX-XX1 в.в. рождается новая социальная теория. Это - нарратив индивидуальных и групповых чувств и опыта, в результате которых жизненные пути людей деформируются под воздействием социальных структур, великих исторических событий и фундаментальных изменений. В итоге люди не могут реализовать свободу выбора жизненного пути. Не следует забывать: социология - «дитя революции» и социальных изменений; наиболее интересную интеллектуальную форму она принимает в периоды резких изменений.

Резюме

Падение государственного социализма в СССР и Восточной Европе, стремление руководителей ряда евроазиатских стран создать неосоветизм, глубокие изменения западного капитализма, новые драматические социальные процессы в форме механизированного геноцида на Балканах, в России и на Кавказе, миллионных исходов в Африке, негаснущих этнических конфликтов на Ближнем Востоке – все это создает продуктивную почву для появления новой теории. Теперь она свободна от доминанты антропоцентризма и ложной обязанности доказывать преимущество одного канона над другим. У теоретической социологии появился исторический шанс – выработать интеллектуально продуктивные способы видения мира, которые позволяют успешно преобразовывать социальную среду посредством власти над нею.

Отсюда вытекает капитальная проблема: насколько этот шанс реализуется в социальных науках России? Первые ласточки для ее обсуждения уже появились и требуют особого анализа[53].

[51] См.: Alvarez S., Dagnino E., Escobar A. Cultures of Politics, Politics of Cultures. Boulder&Oxford, Westview, 1998; Mestrovic S. Postemotional Society. London, Sage, 1997; Eve et als. Op.cit. 1997; Ophulus W. Requiem for Modern Politics. The Tragedy of the Enlihgtement and the Challenge of the New Millenium. Boulder & Oxford, Westwiew, 1998

[52] См.: Touraine A. What is Democracy? Boulder & London, Westwiew, 1997

[53] См.: Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М., Наследие Евразии, 2006

General Problems of Political Conceptology

TECHNOLOGICAL DISPLACEMENT AND CAPITALIST CRISES: ESCAPES AND DEAD ENDS

R. Collins
University of Pennsylvania (USA)

Plenary address to the Hundredth Anniversary Sociological Review Conference, Billesley Manor, UK, June 2009

Current world economic crisis ought to remind us of Marx. This is an intellectual call, not a call to remobilize old party organizations. Marxism as politics had its high points and its low points, and I do not propose returning to the era of ideological battles and factional struggles. I call on Marxism here not as practice, but as an intellectual tool that we as sociologists very much now need.

I make no claims for the purity or authenticity of the lesson that I draw from Marx. Sociology today, if it believes in anything, believes in multiple processes, multiple causes, and multiple paradigms for dealing with our chosen aspects of the world. In an important sense, in sociology Weber has triumphed over Marx, and we all talk about the interpenetration of class, politics, and culture, and of gender too. Nevertheless, there are moments when the key feature of long-term structural change is at issue – and above all the issue of structural crisis. Here, for all our multi-disciplinarity and our celebration of intellectual diversity, is an occasion when it seems to me one line of theory stands head and shoulders above all others in dealing with the mechanisms of crisis and the direction of very long-term structural change. The theory I will extol is a stripped-down version of Marxism, the fundamental insight that Marx and Engels formulated already in the 1840s. The key mechanism I will call technological displacement.

It is a stripped-down Marxism indeed. No labour theory of value, no reference to expropriation of labour from the means of production, no alienation from species being. It makes no ontological claims and does not posit any deep emancipation at the end of the crisis. I have stripped it down to a theory of longterm economic crisis; we need other lines of sociology for what happens in response to the crisis, and what arises politically and socially afterwards. Moreover, it is not a theory of the conquest

of the state as result of economic crisis, not by itself alone a theory of revolution – although at the end I will discuss what sociologists have learned about the causes of revolution. And although it has implications for the future of socialism, it is not a theory of socialism and what would make socialism work better in the future than it did in the past. No, it is a theory of crisis first and foremost.

Technological displacement is the mechanism by which innovations in equipment and organization save labour, thereby enabling fewer employed persons to produce more at lower cost. Marx and Engels argued that capitalists strive to increase profit in competition with each other; those who fail to do so are driven out of the market. But as labour-saving machinery replaces workers, unemployment grows and consumer demand falls. Technology promises abundance, but the potential product cannot be sold because too few persons have enough income to buy it. Extrapolating this underlying structural tendency, Marx and Engels predicted the downfall of capitalism and its replacement by socialism.

Why has this not happened in the 160 years since the theory was formulated? As is well known, where socialist regimes have come into power, the transition was not driven by capitalist economic crisis – nor indeed when they have fallen out of power. My point here, is the absence of definitive capitalist breakdown through technological displacement. Marx and Engels focused on the displacement of working class labour; they did not foresee the rise of the massive middle class of white-collar employees, of administrative and clerical workers and educated professionals. But this is why I now argue for the return of technological displacement crisis. Until the 1980s or 90s, mechanization chiefly displaced manual labour. In the most recent wave of technology, we now have the displacement of administrative labour, the downsizing of the middle class. Information technology is the technology of communications, and it has launched the second great era of contraction of work, the displacement of communicative labour, which is what middle-class employees do. Mechanization is now joined by robotization and electronicization – an ugly and ungainly term to add to our vocabulary of ugly terms for ambiguous social processes dictating our longterm future.

As the working class shrunk through mechanization, capitalism was saved by the rise of the middle class. Now computerization, the internet, and the wave of new micro-electronic devices are beginning to squeeze out the middle class. Can capitalism survive this second wave of technological displacement?

In the past, capitalism has escaped from technological displacement crises by five main escape routes. I will argue that all five of these now are becoming blocked – dead ends.

Escape Number 1 : New technology creates new jobs and entire new job sectors. Pessimism about new technology has long been considered futile and wrong-headed. The Luddites in 1811 who broke machines that destroyed the jobs of handicraft workers did not see that their system of production was giving way to a factory system which would vastly expand industries and increase, for over a century, the numbers

of factory workers. Development theory, formulated in mid-20th century, holds that the natural tendency is to move through the stages of primary, secondary, and tertiary labour sectors – i.e. extractive, manufactoring, and administrative or service work. But development theory was just an empirical generalization from a particular time in history; there is no guarantee that this process will go on forever.

Schumpeter, the best theorist of capitalist innovation, theorizes that new products – and hence the major sources of profit – come on the market by reorganizing the factors of production into new combinations; this always involves what Schumpeter called "creative destruction". Nevertheless, Schumpeter-inspired economists too rely on nothing more than extrapolation of past trends for the argument that the number of jobs created by new products will make up for the jobs lost by destruction of old markets.

None of these theories take account of the technological displacement of communicative labour, the escape valve that in the past has brought new employment to compensate for the loss of old employment. It has been argued that as telephone operators and file clerks lose their jobs to automated and computerized systems, an equal number acquire jobs as software developers, computer technicians, and mobile phone salespersons. But no one has shown any good theoretical reason why these numbers should be equal; much less why the automation of these kinds of technical and communicative tasks – for instance by shopping on line – cannot drive down the size of the white collar labour force. Technological displacement of middle class labour is still in its early stages – on the whole, not much more than 20 years old; whereas it took about 120 years to destroy the working class labour force. I don't think that it will take anything near 120 years to destroy the middle class.

Escape Number 2 : Geographical spread of markets. We tend to think of this as globalization, but globalization is only a quantitative difference in degree, not a qualitative difference in kind. Even within the confines of state borders, markets have grown by spreading to regions where a product was initially unknown; thus local conditions favored profit for the innovator coming from elsewhere. Geographical spread works in tandem with product innovation, keeping up the ongoing existence of market frontiers. Dynamic markets always have the buzz of newness, the cultural prestige of being a center or keeping up with a center, or the negative prestige of striving to escape from backwardness. The liberal version of this mechanism, on the global or inter-state scale, is modernization theory or development theory; each part of the world successively ascends the stages, until presumably all will be fully developed, tertiary-sector service economies. We are now seeing this come into being, the argument goes, in India and China, the big nations of the Third World making their way inexorably to modernity.

The Neo-Marxist version of this process is World-System theory. This is a less benign version of the geographical spread of capitalist markets; world market domination is buttressed by military power and political influence; the hegemonic center exploits the labour or raw materials of the periphery, with the aid of a trans-

mission belt of semi-peripheral regions. World-system theory complicates the pattern by a succession of hegemonies marked by major wars, and keyed to long Kondratieff waves of relative expansion and stagnation in world markets. But these cycles of serial hegemons – Spain, Holland, Britain, the United States, conjecturally China – logically come to an end when the periphery is exhausted, and every region of the globe is fully brought into the capitalist market. There is no more safety-valve, no more regions for exploitation; capitalist profit dries up.

Leaving aside the specific merits of world-system theory predictions, the point I would emphasize is that globalization of markets is now undercutting middle class jobs. Internet technology makes it possible for white collar workers in India – or anywhere else – to compete for jobs in servicing computerized businesses in the core capitalist regions of the world. Whereas in the past middle class workers have been protected from competition to a greater degree than manual workers, this is no longer true; the internet creates a much wider pool of workers who can access available jobs, especially if they do not have to physically move to a distant place of work. To be sure, contemporary globalization also involves much more rapid international travel. Managerial and professional workers physically move their expertise and their negotiating skills to entrepreneurial sites around the globe; this has the further effect of homogenizing upper-middle class labour into a single labour market, raising the prospects of cheapening management costs, and displacing even high-level technocratic labour. Greater connectedness leads to greater competition for jobs, undercutting middle-class salaries. Again I would emphasize that this process is relatively recent; the jet-set boom of the upper-middle class in recent decades is becoming vulnerable to the same structural displacement that the experts have visited upon their employees.

In the past, international migration provided cheap labour for centers of manufacturing, and more recently for the lower levels of the advanced service economies, thereby undercutting the working class of wealthier nations. Now as communications technology tends to spread cultural capital more homogeneously around the globe, it is middle and upper middle class labour that is being undercut.

Escape Number 3 : Meta-markets in finance. If working class and then middle-class labour are technologically displaced, can the slack be taken up by everyone becoming a capitalist? This argument has been advanced as employee pension funds came to play a large role in financial markets, and as financial services firms have expanded, and have aggressively marketed investments to a larger constituency. In countries like the US, where home ownership is widespread, the inflation of housing prices brought opportunities, not only to treat home ownership as a speculative investment, but to withdraw equity from inflated housing prices in the form of cash for consumer spending. These financial practices have been among the short-term sources of the current economic crisis and especially the financial meltdown of 2008.

I am not proposing that our current crisis is the beginning of the end of capitalism. We will no doubt ride out this crisis, like other crises, in the short run, while

leaving a certain amount of longterm damage. But recent financial manipulations are examples of a deeper structural tendency in capitalism: the pyramiding of meta-markets upon each other in financial markets. Capitalism, ever since it entered its phase of self-sustaining growth or internally-driven expansion, has connected markets for material goods and services with markets for financial instruments. Schumpeter defined entrepreneurial capitalism as enterprise carried out with borrowed money. Static markets merely reproduce existing stocks and work forces, unless new combinations are taken out of the circular flow of reproduction; this is done by borrowing against the future. Thus in Schumpeter's view, banks are the headquarters of the capitalist system, deciding where new allocations for development will be made. But since financing is intrinsically speculative, its relationship with existing material arrangements can vary enormously. The upper atmosphere of the financial system can have many multiples of the value of what is actually bought and sold in material goods and services; we see this, for instance, in the vast amounts of money in international currency speculation, in relation to the size of GDP, or the extraordinarily inflated sums in hedge funds, especially before the 2008 crash.

By pyramiding meta-markets I mean the historical tendency for any given financial market to give rise to a higher-order market in lower-order financial instruments. In real social practices, all monies are promises to pay in the future. Thus financial specialists can create promises to pay promises to pay, and so on up to almost any level of complexity. Loans, liens, equities, bonds, all these are relatively low levels of pyramiding. Short-selling stock market shares, bundling mortgages for secondary resale markets, leveraged buyouts, mutual funds, hedge funds, and other complex trading schemes are higher-order markets upon the instruments of exchange. The latest fad is so-called ETFs, exchange traded funds, as touted in the June 1, 2009 Financial Times: "Leveraged and inverse ETFs – which claim to generate two or three times the return of an underlying index or a multipl eof the inverse of the index... now account for 40 per cent of the volume of US equity trading. But many of these ETFs spectacularly fail to provide the expected return if held for more than a very short period – typically more than a day for equity-based funds." There is in principle no upper limit to how many layers can be added. Very large sums can be generated at higher levels, although the conversion of these monies into low-level goods and services is problematic. The illusion is created because they are all designated by the same unit of account – dollars, pounds, Euros – but these nominal amounts can rise so high that cashing them out in the real material world is literally impossible.

Pyramided financial markets have a high degree of social constructedness. Of course almost everything is socially constructed in some way, but some are much more remotely connected to material constraints than others. An army, for instance, has an important degree of social constructedness, especially in combat, where as Napoleon said, the moral is to the material as three to one; nevertheless, an army with five times the size and weaponry of its opponent will almost always win, provided it

maintains some minimal degree of social cohesion. In the world of pyramided financial instruments, the moral – i.e. the interactional processes of the network and its emotional moods – is to the material economy as something on the order of from 6 to 1 (which is the ratio between money loaned out and actual bank deposits), up to quite possibly hundreds or thousands to one in highly leveraged financial manipulations. As sociologists, we need to look at social constructedness not as a philosophical constant but as a set of variations, which can be theorized both in their static relationship to network structures, and in their dynamics of boom and bust over time.

My chief point here is that the more pyramided financial meta-markets are, the more volatile and crisis prone they are, with booms and busts far out of proportion to what is happening in the low-level material economy. But there is an optimistic side as well – optimistic if you would like to preserve capitalism. Financial markets are intrinsically flexible, like giant balloons made out of magic material that can inflate to any size at all. This lends plausibility to the idea that everyone can become a finance capitalist, playing the great game of financial markets. And indeed popular participation in financial markets has grown a good deal during the late 20th century and the early 21st, through employee pension funds, millions of small stock market investors, and speculating through mortgaged home ownership in the Ponzi scheme of the inflationary housing market.

How far can this go? Can it save capitalism? There are at least three drawbacks: First, the inherent volatility of financial markets, their tendency to booms and busts. This has been a long-term historical pattern, ever since the Dutch tulip investment mania in 1637 and the South Sea bubble in 1720. Speculative collapses have been so common that Schumpeter regarded business cycles as intrinsic to capitalism, and their presence a historical marker of the existence of self-driven capitalist dynamics. One could turn the historical argument around; speculative busts have always bottomed out and eventually financial markets have gone up again. Financial crises are in the nature of the capitalist beast, and the historical record suggests that we will always recover from any financial crisis. Again we have an empirical generalization without good theoretical basis. What happens when financial crisis is coupled with structural depletion of middle class jobs, a technological displacement crisis throughout virtually the entire labour force? Can income from the financial sector reach so far that it supplants salaries and wages as the primary source of income for everyone?

There are two subpossibilities here: either everyone becomes a capitalist living off of investment returns; or the financial sector itself becomes the major area of employment – the growth of financial labour. Taking the first of these, it is hard to envision a future in which everyone lives as a financial investor. It takes some initial accumulation of funds for your initial bankroll in order to start investing, the gambling stakes to get into the game. Small investors get started with their salaries, savings, and pensions; but these are just what would dry up under the technological displacement scenario. We are at the theoretical frontier here, and the future of political eco-

nomy may well include things undreamed of in your philosophy, Horatio; but is it conceivable that in the future when everything is automated that entire populations will spend their lives as financial investors, a reserve army of gamblers in life-long casinos? Not everyone goes on making money throughout their investment career; some people lose their investments even in good times, and during a speculative bust many people do. And once they wash out of the speculative market, do they ever get back in, barring gainful employment on their own?

Moreover, financial markets are intrinsically inegalitarian, concentrating wealth in the small number of big players at the top of pyramid. It is precisely the advantage of better networking, insider viewpoint, first mover advantages, and ability to ride out fluctuations better than small players that gives the players in higher meta-markets their capacity to make profits from the medium and small players in lower-order markets. Pyramided levels of monies illustrate Viviana Zelizer's theory that money is not homogeneous but plural, diverse sets of specific currencies circulating within their own social networks. Those who play in the circuit of hedge funds, for instance, are a very restricted group of persons and organizations; small players are not even legally allowed into these markets. Now perhaps this is beside the point; in the idyllic financial utopia of the future, core investors will become mega-rich, but smaller investors will get their share. Will this be enough to sustain consumer spending throughout the entire economy and thus keep the machinery of capitalism going? One suspects a Marxian process will be at work, such that financial markets tend towards ever-greater concentration, driving out the smaller participants at the bottom. As yet we do not know how to prove this; but it deserves most serious consideration.

A further drawback: technological displacement can be expected to make inroads into employment in the financial sector. As I mentioned in the optimistic capitalist scenario, the financial market can prop up an otherwise diminishing middle class either by making everyone a capitalist, or making everyone an employee of the financial sector. Is this latter plausible– when all other work is technologically displaced, financial work will take up the slack? But why should technological displacement not take place within financial employment itself? We have seen a low-level version of this already, with online banking eliminating bank tellers and clerks, and banks downsizing their work forces even as they handle larger amounts of monetary instruments. The mantra of capitalist economists is that unskilled labour is displaced by more highly skilled professionals. But how far can the sector of financial professionals expand? Temporary run-ups such as seen during the 1990s may well prove to be a passing phase; and in any case it is hard to imagine that anything near a majority of workers in an automated future will have jobs as hedgefund managers. Still, this may be the best dream future capitalism has to offer– no one doing any real productive labour, everyone living as a financial manipulator. Maybe we will experience a phase of this, sometime later on in the 21st century; if so I would predict it will be the runup to the last crash of capitalism.

Escape Number 4: Government employment and investment, the Keynesian welfare-state solution. Now we come to escape routes that are not intrinsic to capitalism itself, but salvation from outside. It was widely argued, 50 years ago, that capitalism was saved by the welfare states of the 1930s, 40s, and 50s – the liberal Left saving capitalism when the ideological Right proved incapable of saving itself. Can government spending solve the technological displacement of the middle class?

The main form of direct government hiring has been middle class administrative jobs; thus any continuation of the trend to automate and computerize such jobs would contract government employment too. A sufficiently resolute political regime could resist this by refusing to automate jobs away; nevertheless this kind of neo-Luddite policy seems likely to invite satirical denunciation [to get an idea of this, check out the 1959 Peter Sellers film, *I'm All Right Jack* – which is about British trade unions at the height of their power]. Staying technologically backwards for the sake of protecting employment would probably be demoralizing and politically unviable. Another version which has worked in the past has been military Keynesianism, the buildup of employment in military forces along with stimulating the economy through military production. But the contemporary military has gone high-tech, promoting transformation into smaller fighting forces coordinated by computers, satellites, aerial sensors, and remote control surveillance and targeting devices. The military is the leading edge of robotization, and it is doubtful that even a World War-style all-out mobilization would ever produce the kind of massive militaries seen in the 20th century.

Besides direct government employment, there is government spending, the favorite tool of today's stimulus packages. Most of those invest in material infrastructure – roads, bridges, airports, energy, as well as the so-called information highway. But these areas too undergo computerization and automation, adding to the trend of technological displacement. Even less likely to stem the tide of job displacement is government investment in the private sector. Especially with the mantra to carry out such investments efficiently, government assumes the role of capitalist or at least capitalist overseer, all too willing to cut labour costs, and therefore to cut employment.

Another version of market intervention is regulation of the private marketplace, mandating a shorter work week, and protecting jobs from cuts. These policies have been widely practiced by Continental states, but have not done much more than slow the drift to technological displacement. On the whole, such policies tend to protect existing job-holders, but to freeze out youth. That problem could be solved by government deliberately hiring youth in massive numbers; this has rarely been attempted [except in the military version], although in Escape #5 I will suggest that this has been done surreptitiously through inflating educational credentialling.

In principle, political policies could do anything whatsoever, constrained only by political will, which is to say mobilized political power and its vision as set by political cultures. Obviously political cultures have a long way to go from here if the state is going to do anything significant about technological displacement of the middle class. I am not saying that mixed "liberal" government policies propping up

the private economy won't keep capitalism from limping along quite a way into the future. But the mixed approach is not likely to solve the longterm problem of technological displacement, as long as private profit-making drives the economy.

Escape Number 5: Educational credential inflation, and other hidden Keynesianism. Credential inflation is the rise in educational requirements for jobs as a rising proportion of the population attains more advanced degree. The value of a given educational certificate or diploma declines as more people have them. In the US, high school diplomas (i.e. 12 year secondary school) were comparatively rare before World War II; now high school degrees are so commonplace that their job value is worthless. University attendance is now over 60% of the youth cohort, and is on the way to the same fate as the high school degree. The main thing that inflated degrees are worth is to plough them back into the educational market, seeking still higher degrees. This in principle is an endless process; it could very well reach the situation of the Chinese mandarin class during the later dynasties, when students continued sitting for exams into their 30s and 40s– only now this would affect the vast majority of the population instead of a small elite. Different countries have gone through educational inflation at different rates, but from the second half of the 20th century onwards, all of them have followed this path.

Educational degrees are a type of currency of social respectability, traded in for access to jobs; like any currency, it inflates prices [or reduces purchasing power] when autonomously driven increases in monetary supply chase a limited stock of goods, in this case chasing a diminishing pool of middle class jobs. Educational inflation builds on itself; from the point of view of the individual degree-seeker, the best response to its declining value is to get even more education.

Although this is the primary mechanism of educational expansion, it is bolstered by prevailing technocratic ideology. Rising technical requirements of job drive out unskilled labour, the argument goes, and today's high-skilled jobs demand steadily increasing levels of education. Thirty years ago, in my book *The Credential Society* [Collins 1979], I assembled evidence to show that technological change is not the driving force in rising credential requirements. The content of education is not predominantly set by technological demand; most technological skills– including the most advanced ones – are learned on the job or through informal networks, and the bureaucratic organization of education at best tries to standardize skills innovated elsewhere. In updated research on credential inflation vis-a-vis technological change [refs...], I have seen nothing which overturns my conclusions published in 1979. It is true that a small proportion of jobs benefit from scientific and technical education, but that is not what is driving the massive expansion of education. It is implausible that in the future most persons will be scientists or skilled technicians. Indeed, the biggest area of job growth in rich countries has been low-skilled service jobs, where it is cheaper to hire human labour than to automate.

Although educational credential inflation expands on false premises – the ideology that more education will produce more equality of opportunity, more high-tech

economic performance, and more good jobs – it does provide a solution to technological displacement of the middle class. It does this by keeping more people out of the labour force; if students receive a financial subsidy, either directly or in the form of low cost (and ultimately unrepaid) loans, it acts as hidden transfer payments. In places where the welfare state is ideologically unpopular, the mythology of education supports a hidden welfare state. Add the millions of teachers in elementary, secondary, and higher education, and their administrative staffs; the hidden Keynesianism of educational inflation may be said to keep virtually the capitalist economy afloat. There is the danger, of course, of technologizing education, displacing teachers with computers; if this were to proceed far, education would be less of an escape from technological displacement. Barring this, is continued educational expansion a likely route to a Keynesian solution to technological displacement?

Educational is a major cost of government, and this tends to limit future expansion. With higher costs, there are pressures to privatize, shifting the burden of funding to students or parents; but this too faces a limit as the middle class is economically squeezed. An expanding educational system driven by credential inflation reaches a potential crisis point within the educational system itself. This is not necessary final. One can envision a series of such plateaus, stopping and restarting as our secular faith in salvation through education goes through disillusionment and revival.

This affects ourselves particularly, as university teachers. Even though the educational system is based on false premises, I felt badly about publishing my critique of educational inflation, since most of my colleagues depend on it for jobs. After finishing my 1979 book, I actually quit the university and became a fulltime writer; but teaching is more remunerative, and now I'm back. Everything has to draw its resources from somewhere, and that is true for the existence of sociology itself. Ironically, sociology exposes the falses premises which ideologically protect its own material base. Would mass political opinion continue to support education if it did not have utopian beliefs about it? Perhaps, one of these decades, we shall see.

Finally, the denouement. Where is it all tending? I have stressed that this is not a theory of revolution but a theory of crisis. If crises of technology displacement get bad enough – a highly automated, computerized world in which very few people work, and most of the population is unemployed or competing for menial lowpaid service jobs – would there be a revolution?

Here we must leave economic crisis theory and examine theory of revolution. Since the 1970s, the theory of revolution has been revolutionized. Theda Skocpol, Jack Goldstone, Charles Tilly, Michael Mann and others, by their comparative researches on the rise and fall of state regimes, have established what can be called the state breakdown theory of revolution. Successful revolution starts at the top, not from disaffected and impoverished masses from below. The chief ingredients are: first, a fiscal crisis of the state; the state becomes unable to pay its bills, and above all to pay its security forces, its military and police. State fiscal crisis becomes lethal when it is

joined by the second ingredient, a split among elites over how to deal with it. We could add secondary factors, back in the chain of antecedents, typically although not always including mililtary causes; a state fiscal crisis often comes from accumulated military expenses, and elite deadlock is especially exascerbated by military defeat, which delegitimates government and provokes calls for drastic reform. Splits among elites paralyze the state and open the way to a new coalition with radical aims. It is into this power vacuum – what social movement theorists now call the political opportunity structure – that social movements are sucessfully mobilized. Often they do so in the name of grievances from the bottom, but typically such radical movements are led by upper-middle class fractions with the best networks and organizing resources. As Tocqueville recognized long ago, the radicalism of a movement is not correlated with the degree of immiseration; exactly what does determine the degree of radicalism is more in the realm of the ideological and emotional dynamics of exploding conflict, although just how to theorize this remains unfinished.

To reiterate: virtually all known revolutions, up to this point in history, have come not from economic crisis of capitalist markets, but from government breakdown; there is fiscal crisis in the government budget itself, but this is usually independent of major crisis in the larger economy. This means revolutions can continue to happen in the future, through the narrower mechanism of state breakdown, the state-centered fiscal crisis, elite deadlock, and ensuing paralysis of state enforcement apparatus. State crises are more frequent than full-scale economic crises. What happens when we put this in the context of the longterm trend to technological displacement of the labour force? Several things are possible: revolutions can happen in particular states, not necessarily those with the greatest amount of technological displacement. Or, revolutions can happen that do not act on a policy of solving technological displacement. But also, revolutions can happen which do take an explicitly anti-capitalist turn.

Since history is driven by multiple causes, the future is like rolling multiple dice, as in the Chinese game Yahtzee – waiting, let us say, for sixes to come up on all five dice simultaneously. Thus we could have the general anti-capitalist revolution some time in the future, through the right combination of state breakdown, perhaps with war defeat, plus the omnipresent technological displacement.

Alternatively, technological displacement may become so obvious and refractory that a political party might win electoral power on an anti-capitalist program. I am not sure how to judge the chances of this happening – perhaps less than the chances of rolling sixes all the way around.

Will the anti-capitalist revolution be the end of history? Certainly not. It will not eliminate politics. Even if it is socialist, it likely will not end economic inequality. Past experience with socialist regimes shows they have cut the level of inequality by about one-half – compare Gini coefficients of socialist and capitalist societies, and the drastic increase in inequality after the downfall of the USSR.

Will the anti-capitalist revolution make people happy? Durkheim argued that the level of happiness in human history is always about the same; new situations create new desires and new levels of comparison. And in any case, conflict seems intrinsic to human organization. One thing we have learned from the history of socialist regimes in the 20th century is that they have their own struggles, and that we should not expect too much from them. Chiefly they have the merit of not being capitalist, the merit of escaping from capitalist crisis.

I would not even predict that anti-capitalist regimes would be permanent. It is quite possible they themselves will change, either through electoral shifts, or future revolutions another 50 or 100 years down the road. I see no deep reaon why socialist regimes should be more peaceful than capitalist ones; as Max Weber argued, all organizations of state power strive for power prestige, when opportunities in the world-arena exist; and the military-expense path to revolution can be repeated again – in fact it was what brought down the USSR. [Collins 1999] Far from the end of history, future centuries may well see a series of oscillations between capitalist and socialist forms, and perhaps others as yet unenvisioned.

Turning back to the most imminent crisis, our current trajectory towards technological displacement of the middle class: How long into the future is this projected? I don't think the fullscale crisis will be here before the next 20 years; but our descendents ought to be surprised if it does not happen by the second half of the 21st century.

There are of course a host of other processes and problems that will complicate the future: ecological crisis, aging populations, explosion of medical costs, huge intercontinental migrations, ethnic and religious conflict and violence, perhaps new gender and sexual preference conflicts. To keep the focus on the central point here: how will these affect the technological displacement crisis? Some of them will exascerbate it; some of them add pressures for state breakdown and thus raise the chances of revolutions, the rolling of mutiple sixes on the dice. Will any of these turn back technological displacement, increasing middle class employment, creating new jobs to offset automation and computerization? Some of them may, but to what degree? I see no well substantiated theory – indeed, hardly any well-reasoned theory at all, to suggest that we will evade the technological displacement crisis looming sometime in this century.

I could be wrong. Believe me, I am not wishing for a crisis of this magnitude, just in order to be true to Marx. What I have argued is put together from what sociologists have learned in the century that we have been in existence as a discipline. I am certain that the chief alternative theory, the technocratic utopia, is quite wrong; it comes from the pre-history of sociology, the dream of Saint-Simon, back in the 1820s. The lineage from Marx, Weber, Durkheim, and Simmel, and their further continuation by such as Skocpol, Tilly, Mann and many others, has given us a more hard-nosed, realistic way of seeing the world. Clearly we have not seen enough. But we have something to stand on; further generations of sociologists have serious work to do, and will see better than we have.

Общие проблемы политической концептологии

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ И КРИЗИСЫ КАПИТАЛИЗМА: ВЫХОДЫ И ТУПИКИ

Р. Коллинз
Университет Пенсильвании (США)

Пленарный доклад к столетию Sociological Review Conference, Биллесли Мэнор, Великобритания, июнь 2009

Нынешний мировой экономический кризис должен напомнить нам о Марксе. Однако это лишь интеллектуальный призыв, а не воззвание к очередной мобилизации старых партийных организаций. Марксизм как политическая деятельность пережил свои взлеты и падения, и я не предлагаю вернуться к эпохе идеологических баталий и фракционных сражений, - напротив, я буду говорить о марксизме не как о практике, а как об интеллектуальном инструментарии, который нам, социологам, сейчас чрезвычайно необходим.

Я не претендую на чистоту или аутентичность своего понимания Маркса. Если в сегодняшней социологии и есть какие-либо убеждения, то это убежденность в том, что для исследования выбранных нами аспектов мирового целого требуются множественность процессов, множественность причин и множественность парадигм. В некотором важном смысле над Марксом в социологии взял верх Вебер, так что теперь все мы говорим о взаимопроникновении класса, политики, культуры, а также гендера. Тем не менее существуют такие моменты, когда в проблемном поле оказывается ключевой аспект долговременных структурных изменений, в первую очередь проблема структурного кризиса. Вопреки пресловутым полидисциплинарности (multi-disciplinarity) и торжеству интеллектуального плюрализма, именно здесь тот случай, когда мне представляется, что в объяснении механизмов кризиса и направления особо длительного (very long-term) структурного изменения одна теоретическая линия оказывается гораздо предпочтительнее (head and shoulders) других. Теория, которую я намерен предпочесть всем прочим, - это, если можно так выразиться, «обнаженная» версия марксизма, та фундаментальная догадка, которую сформулировали Маркс и Энгельс уже в 1840-х годах. Речь идет о ключевом механизме, который я буду называть технологическим замещением.

На самом деле это и есть марксизм в чистом виде – ни трудовой теории стоимости, ни указаний на отделение труда от средств производства, ни отчуж-

дения от человеческого бытия. Этот вариант марксизма не содержит каких-либо онтологических претензий и не обещает никакого серьезного освобождения в конце кризиса. Таким образом, я сорвал с марксизма все одежды, и в итоге осталась лишь теория длительного экономического кризиса, хотя для объяснения того, что произойдет в ответ на кризис, а также его политических и социальных последствий нам понадобятся другие направления социологии. Кроме того, данная версия марксизма не является теорией захвата государства в результате экономического кризиса, то есть теорией революции как таковой, хотя в конце я буду говорить о том, что социологам уже известно о причинах революций. Несмотря на то, что излагаемая здесь теория имеет также определенные последствия для будущего социалистической доктрины, она не является теорией социализма или же чем-то, что в будущем заставит социализм заработать лучше, чем раньше. Итак, это прежде всего теория кризиса.

Технологическое замещение представляет собой механизм, с помощью которого инновации в оборудовании и организации процессов экономят трудовые ресурсы, тем самым позволяя меньшему количеству работников производить больше продукции по меньшей цене. Маркс и Энгельс доказали, что в процессе взаимной конкуренции капиталисты стремятся увеличить прибыль и те, кому это не удается, должны уйти с рынка. Однако по мере того, как машины замещают рабочих, растет безработица и падает потребительский спрос. Технология сулит изобилие товаров, но произведенный продукт оказывается невозможным продать, поскольку слишком мало людей имеют достаточно средств, чтобы его купить. Экстраполируя в будущее эту основополагающую структурную тенденцию, Маркс и Энгельс предсказали крах капитализма и приход ему на смену социализма.

Почему же этого не случилось за 160 лет с тех пор, как была сформулирована данная теория? Как хорошо известно, социалистические режимы приходили к власти вовсе не на волне кризисов капиталистической экономики – и падение этих режимов фактически также не было сопряжено с такими кризисами. Моя точка зрения заключается в том, что окончательный крах капитализма не произошел именно благодаря технологическому замещению. Маркс и Энгельс сфокусировали внимание на вытеснении машинами труда рабочего класса, однако они не предвидели подъем мощного среднего класса «белых воротничков» - административных и офисных работников и образованных профессионалов. Но именно поэтому я утверждаю, что сегодня кризис технологического замещения возвращается. Если до 1980-х или 90-х механизация главным образом замещала ручной труд, то в последней технологической волне мы наблюдаем вытеснение уже управленческого труда, сокращение среднего класса. Информационные технологии – это технологии коммуникаций, которые запустили вторую великую волну сокращения труда, на сей раз технологическому замещению подвергается коммуникативный труд, то есть труд работников среднего класса. К механизации теперь добавились роботизация и электронизация – неловкий и неуклюжий термин, который нужно добавить набору других столь же нескладных понятий,

описывающих неоднозначные социальные процессы, которые диктуют наше будущее в долгосрочной перспективе.

Пока рабочий класс сокращался посредством механизации, капитализму удавалось выживать благодаря подъему среднего класса. Теперь же компьютеризация, Интернет и нашествие новых микроэлектронных приборов начинают вытеснять на обочину средний класс. Сможет ли капитализм пережить эту вторую волну технологического замещения?

В прошлом существовало пять основных путей выхода капитализма из кризиса технологического замещения. Далее я покажу, что сейчас все они оказываются заблокированными, то есть превращаются в тупики.

Выход 1. **Новые технологии создают новые рабочие места и целые сферы новых видов трудовой деятельности.** Долгое время пессимизм по поводу новых технологий считался напрасным и неверным умонастроением. Луддиты, которые в 1811 году разрушали машины, уничтожавшие труд ремесленников, не видели, что на смену старым производственным отношениям идет фабричная система, благодаря которой широко распространится индустриальное производство, а численность заводских рабочих будет увеличиваться в течение более чем ста лет. Теория развития (девелопментализм), сформулированная в середине XX века, полагает, что естественной тенденцией развития экономики является ее движение через стадии первичного, вторичного и третичного трудового секторов, т.е. добывающей, обрабатывающей и административной (сервисной) деятельности. Однако данная теория была лишь эмпирическим обобщением на материале отдельного отрезка истории, так что нет гарантий, что этот процесс будет продолжаться вечно.

Шумпетер, лучший теоретик капиталистических инноваций, сформулировал концепцию, согласно которой новые продукты – и, соответственно, основные источники дохода – появляются на рынке в результате реорганизации факторов производства в новые комбинации; последнее всегда предполагает то, что Шумпетер называет «созидательным разрушением». Тем не менее вдохновленные Шумпетером экономисты слишком полагаются на простую экстраполяцию прошлых трендов для доказательства того, что множество рабочих мест, созданных для производства новых продуктов, восполнит рабочие места, утраченные при разрушении старых рынков.

Ни одна из подобных теорий не принимает в расчет технологическое замещение коммуникативного труда, который в прошлом был своего рода выпускным клапаном, обеспечившим новую работу тем, кто потерял прежнюю. Утверждалось, что когда автоматизированные и компьютеризированные системы придут на смену телефонным операторам и делопроизводителям, то последние переквалифицируются в софтверных разработчиков, специалистов по компьютерной технике и продавцов мобильных телефонов. Однако никто так и не сформулировал сколько-нибудь убедительный теоретический аргумент, почему в обоих случаях количество рабочих мест должно быть одинаковым, и в еще меньшей степени – почему автоматизация указанных типов технических и коммуни-

кативных задач (например, с помощью онлайн-торговли) не сможет снизить численность «белых воротничков». На данный момент технологическое замещение среднего класса все еще находится на ранней стадии – в целом этот процесс начался не ранее 20 лет назад, в то время как разрушение рабочего класса как значимой социальной группы заняло 120 лет, однако я не уверен, что на разрушение среднего класса потребуется примерно столько же.

Выход 2. **Географическое расширение рынков**. Мы склонны осмыслять этот процесс как глобализацию, однако последняя есть лишь количественный показатель интенсивности процессов, но не качественное различие в сути происходящего. Рост рынков происходил даже в жестких рамках государственных границ, распространяясь в направлении регионов, где некий продукт был изначально неизвестен - тем самым локальные условия обеспечивали прибыль инноватору, который мог прийти откуда угодно. Географическое расширение действует в паре с производственными инновациями, вплоть до настоящего времени и поддерживая существование различий между рынками. Динамичным рынкам всегда присущи эйфория новизны, культурный престиж осознания себя центром происходящего или движения в ногу с этим центром либо же эффект негативного престижа, иными словами, стремление преодолеть отсталость. Либеральной интерпретацией этого механизма на глобальном или межгосударственном уровне является теория модернизации, она же теория развития, согласно которой каждая часть света последовательно проходит указанные выше стадии, пока все экономики гипотетически не станут развитыми хозяйствами «третьего», сервисного сектора. Сейчас, утверждает данная теория, мы видим, как это происходит в Индии и Китае: крупные нации третьего мира неуклонно движутся к современности.

Неомарксистской интерпретацией того же процесса является миросистемная теория. Согласно этой, не столь благодушной версии географического расширения капиталистических рынков, доминирование на мировом рынке обеспечивается военной силой и политическим воздействием, при этом центр-гегемон эксплуатирует трудовые или сырьевые ресурсы периферии при помощи приводных ремней полупериферийных регионов. Миросистемная теория усложняет модель, вводя в нее фактор перемещения центра глобальной гегемонии, происходящего в результате важнейших войн и совпадающего с длинными кондратьевскими волнами относительной экспансии и стагнации мировых рынков. Однако эти циклы последовательно сменяющих друг друга гегемонов – Испании, Голландии, Британии, США, а теперь, предположительно, Китая – логичным образом кончаются, когда периферия истощена, а каждый регион мира полностью вступил в капиталистический рынок. Когда больше нет запасного выхода в виде новых регионов для эксплуатации, капиталистическая прибыль иссякает.

Если оставить в стороне своеобразные достоинства предсказаний миросистемной теории[1], то я хотел бы подчеркнуть, что сегодня глобализация рынков подрывает труд среднего класса. Интернет-технологии позволяют «белым воротничкам» из Индии, да и вообще откуда угодно, конкурировать за рабочие места в области обслуживания компьютеризированных предприятий в центральных (core) капиталистических регионах мира. Если в прошлом работники среднего класса были гораздо более защищены от конкуренции, чем работники ручного труда, то теперь эти времена кончились: Интернет создает широчайший резерв кадров, способных получить доступ к работе, особенно если они могут выполнять ее дистанционно. Разумеется, современная глобализация предполагает и куда более быстрые международные путешествия. Перемещаясь по миру, менеджеры и профессионалы приносят в места предпринимательской активности свой опыт и навыки переговоров, что, в свою очередь, влечет за собой гомогенизацию труда высшего среднего класса в рамках единого рынка вакансий. Последнее повышает перспективы снижения управленческих издержек, поскольку теперь можно замещать даже высококвалифицированный технократический труд. Бóльшая территориальная связность ведет к более острой конкуренции за работу, сокращая заработки среднего класса. Я вновь хотел бы подчеркнуть, что это сравнительно недавний процесс: оказалось, что бум элиты высшего среднего класса последних десятилетий подвержен воздействию со стороны точно такого же структурного вытеснения, которым прежде эксперты вознаграждали своих подчиненных.

В прошлом международная миграция обеспечивала дешевый труд для центров производства, а сравнительно недавно – для низших уровней более продвинутой экономики услуг, тем самым подрывая рабочий класс более богатых наций. Сейчас, когда коммуникационные технологии ведут к более равномерному распространению культурного капитала по всему свету, это подрывает уже труд среднего и высшего классов.

Выход 3. **Метарынки в финансовой сфере.** Если труд рабочего, а затем и среднего класса подвергается технологическому вытеснению, то нельзя ли компенсировать пропавшие рабочие места тем, что каждый станет капиталистом? Этот аргумент был выдвинут, когда значительную роль на финансовых рынках стали играть пенсионные фонды (employee pension funds). При этом расплодились финансовые компании, которые агрессивно продавали инвестиционные продукты все более широкой публике. В таких странах, как США, где много домовладельцев, рост цен на недвижимость предоставил возможность не только рассматривать ее приобретение в качестве спекулятивной инвестиции, но и позволил извлекать из растущих цен на жилье наличную прибыль (equity) на потребительские расходы. Эти финансовые практики оказались одними из непосредственных причин текущего экономического кризиса, в особенности финансовой катастрофы 2008 г.

[1] Коллинз иронически намекает на то, что адепты миросистемного анализа, прежде всего И. Валлерстайн, не смогли предсказать крах Советского Союза и социалистического лагеря, в то время как сам Коллинз сделал такой прогноз еще в 1980 г.

Я не утверждаю, что нынешний кризис – это начало конца капитализма. Мы, несомненно, вскоре сможем из него выйти, как выходили из других кризисов (определенный ущерб от кризиса в долгосрочной перспективе пока оставим в стороне). Тем не менее недавние финансовые манипуляции являются примером более глубинной, структурной тенденции капитализма: в финансовой сфере громоздятся друг на друге пирамиды метарынков. С тех пор, как капитализм вступил в фазу самообеспечивающего роста, или же движимой изнутри экспансии, рынки материальных товаров и услуг оказались связанными с рынками финансовых инструментов. Шумпетер определил предпринимательский капитализм как предприятие, осуществляемое на заемные средства. Статичные рынки просто воспроизводят уже существующие ассортимент и рабочую силу, пока, наконец, в этом цикле репродукции не возникают новые комбинации – последнее происходит в результате заимствования за счет будущего. Поэтому, с точки зрения Шумпетера, банки являются штаб-квартирами капиталистической системы, решающими, где будут находиться новые точки роста. Однако, поскольку финансы по сути своей являются спекулятивным инструментом, их отношения с налично существующими, материальными вещами могут варьироваться в аномальной пропорции. То, что действительно продается и покупается, то есть материальные товары и услуги, в заоблачной атмосфере финансовой системы может многократно увеличиваться в стоимости – достаточно всего лишь сравнить размер мирового ВВП и те огромные объемы денег, что вовлечены в международную валютную спекуляцию, либо чрезмерно раздутые суммы в хедж-фондах, особенно до краха 2008 года.

Под нагромождением пирамид метарынков я имею в виду характерную для любого финансового рынка историческую тенденцию порождать рынок более высокого порядка с финансовыми инструментами низшего порядка. В реальных социальных практиках все деньги представляют собой отсроченные платежные обязательства. Поэтому профессионалы в области финансов могут создавать такие обязательства, которые обязуются оплатить другие обязательства и так далее вплоть до любого уровня сложности. Займы, залоги, обычные акции (equities), облигации – все это сравнительно низкие этажи пирамиды. Краткосрочные ценные бумаги без покрытия (short-selling stock market shares), ипотечные пакеты для вторичного рынка закладных (bundling mortgages for secondary resale markets), операции выкупа акций долговым финансированием (leveraged buyouts), взаимные фонды, хедж-фонды и другие сложные трейдинговые схемы представляют собой рынки высшего порядка, которые возвышаются над простыми инструментами обмена. Последний писк – это так называемые биржевые индексные фонды (ETF)[2], о которых Financial Times от 1 июня 2009 г. сообщает:

[2] **Exchange-Traded Funds** (дословно “фонды, торгуемые на бирже”), или ETF, представляют собой особую разновидность фондов, паи которых свободно обращаются на биржах, как акции, и их стоимость изменяется в реальном времени. При этом если стоимость обычных акции на бирже определяется только спросом и предложением, то стоимость акций-паёв ETF в первую очередь зависит от совокупной стоимости акций, которыми владеет фонд. Часто эти фонды называют индексными, поскольку обычно фонд владеет акциями, входящими в определённый индекс, например старейший из существующих ныне ETF SPDR Trust, образованный в 1993 году, следует за индексом S&P-500, а PowerShares QQQ Trust— за индексом NASDAQ. Существуют также так

«Усиленные (leveraged) и инверсные ETF, сулящие увеличение доходности базового индекса в 2 или 3 раза или доходность в случае обратного движения индекса,… сейчас составляют 40% всего объема биржевой торговли США. Очевидно, однако, что многие из этих инструментов не способны обеспечить ожидаемый доход, если держать их больше, чем очень короткий период – для фондов, основанных на акциях, этот срок обычно не превышает одного дня». Количество новых верхних уровней для деривативов в принципе ничем не ограничено. На более высоких уровнях могут создаваться очень крупные суммы, однако конвертация данных сумм в товары и услуги, находящиеся на более низшем уровне, проблематична. Благодаря тому, что все оценивается в одних и тех же единицах – долларах, фунтах, евро, возникает некая денежная иллюзия, однако эти номинальные суммы могут достигать таких размеров, что обналичить их в реальном, материальном мире фактически невозможно.

Пирамидообразные финансовые рынки обладают высокой степенью социальной сконструированности (constructedness). Разумеется, практически все в этом мире в каком-то смысле является социально сконструированным, но одни вещи связаны с материальным миром значительно более опосредованно, чем другие. Например, для армии характерна высокая степень социальной сконструированности, особенно в сражении, где, по словам Наполеона, моральное относится к материальному как три к одному. Тем не менее, если армия впятеро превосходит размером и вооружением противника, то при условии поддержания некоторой минимальной степени социальных связей она почти всегда одержит победу. Применительно к миру пирамидообразных финансовых инструментов оказывается, что «моральное» (т.е. процессы взаимодействия внутри финансового сообщества и его эмоциональные регистры) соотносится здесь с материальной экономикой в отношении примерно от шести к одному (таково соотношение между выданными банками займами и актуальными банковскими депозитами) до, вполне возможно, сотен и тысяч к одному в случае с финансовыми манипуляциями высокого уровня. Нам как социологам необходимо видеть в социальной сконструированности не философскую константу, но набор вариаций, которые можно осмыслить как в их статическом отношении к сетевым структурам, так и в динамике их взлетов и падений в течение человеческой истории.

Мой главный тезис в данном случае состоит в том, что чем более пирамидообразными становятся финансовые метарынки, тем больше их волатильность и кризисогенность с вытекающими отсюда подъемами и крахами, далекими от связи с происходящим на нижнем, материальном уровне экономики. Однако в то же время в этом есть и оптимистический момент – разумеется, если вы хотите сохранить капитализм. По своей сути финансовые рынки гибки, подобно гигантским воздушным шарам, сделанным из волшебного материала, который может раздуваться до какого угодно размера. Это придает достоверность соображению,

называемые инверсные, или обратные, ETF, цена которых изменяется противоположно индексу, к которому они привязаны, и усиленные (leveraged) ETF, цена которых изменяется в полтора, два и более раза сильнее. См. http://lxj.endofinternet.net/stocks/page/2/

что каждый может стать финансовым капиталистом, играя в великую игру финансового рынка. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия обычных людей в этой игре и правда стало значительно больше благодаря трудовым пенсионным фондам, миллионам мелких инвесторов на сырьевом рынке и ипотечным спекуляциям по схеме Понци[3] на растущем рынке недвижимости.

Как далеко может зайти этот процесс? Может ли он спасти капитализм? Для этого есть как минимум три препятствия. Во-первых, это волатильность, внутренне присущая финансовым рынкам, их склонность к бумам и крахам. Начиная еще с голландской лихорадки тюльпаномании в 1637 г. и пузыря Южноокеанской компании 1720 г.[4] эта тенденция представляет собой устойчивую историческую модель. Спекулятивные коллапсы стали настолько обычным делом, что Шумпетер считал бизнес-циклы присущими самой природе капитализма, а их наличие рассматривал в качестве исторического маркера существования капиталистической динамики, которая сама приводит себя в движение. Можно обернуть исторический аргумент вспять: спекулятивные банкротства всегда приводили финансовые рынки к некой низшей точке, после чего рынки фактически начинали расти снова. Финансовые кризисы заложены в природе капиталистического чудовища, и исторический опыт дает основания предполагать, что любой из них завершится восстановлением. Однако здесь перед нами вновь некое эмпирическое обобщение без хорошей теоретической основы. Что произойдет, если финансовый кризис будет сочетаться со структурным сокращением труда среднего класса, то есть если кризис технологического замещения коснется практически всей рабочей силы? Может ли доход от финансового сектора достичь такого уровня, что займет место жалования или заработной платы в качестве основного источника дохода для каждого?

Здесь возникают две дальнейшие возможности: либо каждый становится капиталистом, живя на доходы от инвестирования, либо же финансовый сектор сам по себе превращается в основную сферу занятости, т.е. происходит рост занятости в финансовой сфере. Что касается первого варианта, то трудно предвидеть такое будущее, где каждый является финансовым инвестором. Для начальных инвестиций требуются некоторые первоначальные фонды, первоначальный капитал - это своего рода заклад для вхождения в игру. Мелкие инвесторы начинают играть на свои заработки, накопления или пенсии, но как раз этим источникам и предстоит иссякнуть при разворачивании сценария технологического замещения. Здесь мы стоим у пределов теории, потому что в будущем политэкономии могут запросто произойти такие вещи, которые и не снились нашим мудрецам, Горацио. Но мыслимо ли то, что в полностью автоматизированном будущем все будут посвящать свою жизнь тому, чтобы стать финансовыми инвесторами, резервной армией игроков в пожизненном казино? Ведь не каждый

[3] Чарльз Понци (1882-1949) – создатель одной из самых громких финансовых пирамид в США (1919-1920), обещавшей доходность 150% за 90 дней, для американцев столь же нарицательное имя, как для россиян Мавроди и МММ.

[4] Подробно об этих спекулятивных кризисах см. Вебер М. История хозяйства. Биржа и ее значение. М., Гиперборея, Кучково поле, 2007. С. 263-266.

стремится делать деньги с помощью инвестиций; с другой стороны, некоторые теряют свои инвестиции даже в хорошие времена, а во времена спекулятивных банкротств проигрывают многие. И если однажды их выбросило со спекулятивного рынка, то вернутся ли они когда-нибудь обратно, разве что выгодно устроятся в качестве наемных работников в финансовой сфере?

Более того, финансовые рынки по своей природе неэгалитарны: богатство здесь концентрируется у небольшого числа крупных игроков на вершине пирамиды. Они обладают преимуществами вхождения в лучшие профессиональные сети и инсайдерской позицией, то есть преимуществами «первого хода», и способны справляться с флуктуациями рынка лучше, чем мелкие игроки. Все это дает игрокам метарынков более высокого уровня возможность получать прибыль за счет средних и мелких игроков на рынках более низкого порядка. Пирамиду денежных уровней иллюстрирует теория Вивианы Зелизер, согласно которой деньги не гомогенны, но имеют множественную природу; деньги - это широкий набор специфических валют, циркулирующих в различных социальных сетях. Например, игроки в контуре хедж-фондов – это очень ограниченная группа лиц и организаций, при этом мелким игрокам даже юридически не дозволено войти на эти рынки. Вспомним идиллическую финансовую утопию (хотя теперь это, наверное, уже и некстати), где в будущем не только ключевые инвесторы станут сверхбогатыми, но и мелкие инвесторы получат свою долю. Будет ли этого достаточно для поддержания потребительских расходов в экономике в целом, а стало быть, и для поддержания хода капиталистической машины? Можно предположить, что система скорее заработает по Марксу, то есть финансовые рынки будут стремиться к еще большей концентрации, оттесняя мелких игроков на дно. Несмотря на то, что непонятно, как доказать это предположение, оно заслуживает самого серьезного рассмотрения.

Следующее препятствие: можно ожидать, что технологическое замещение совершит посягательство на занятость и в финансовом секторе. Как я уже заметил, в оптимистическом для капитализма сценарии финансовый рынок может стать опорой для среднего класса, уменьшающегося при другом раскладе, двумя способами: либо все станут капиталистами, либо каждому будет обеспечена занятость в финансовом секторе. Убедительно ли последнее предположение, что финансовый сектор возместит ущерб, когда весь прочий труд постигнет технологическое замещение? Почему технологическое замещение не должно происходить в пределах самой финансовой сферы? Мы уже видели пример этого процесса на нижнем уровне: онлайн-банкинг устраняет необходимость в банковских кассирах и клерках, а банки сокращают численность персонала, даже несмотря на то, что они теперь располагают бóльшим набором финансовых инструментов. Мантра капиталистических экономистов состоит в том, что неквалифицированный труд вытесняется более опытными профессионалами. Но как далеко может расширяться сам сектор финансовых профессионалов? Временные разогревы системы наподобие бума 1990-х могут легко оказаться являются преходящей фазой, да и в любом случае трудно представить, что в автоматизированном буду-

щем почти все работники станут менеджерами хедж-фондов. Однако заветной мечтой, которую капитализм может предложить будущему, по-прежнему остается мир, где никто не занимается реальным производительным трудом, но все являются финансовыми манипуляторами. Возможно, в будущем мы столкнемся с этой фазой, и если это произойдет, то я утверждаю, что это будет началом окончательного краха капитализма.

Выход 4. **Правительство обеспечивает занятость и инвестиции**, т.е. решение в духе кейнсианского государства всеобщего благосостояния. Теперь перейдем к путям выхода из кризиса, которые не являются присущими капитализму как таковому, но выступают спасением извне. Полвека назад широко доказывалось, что капитализм был спасен государствами благосостояния 1930-х, 40-х и 50-х, т.е. капитализм спасали левые либералы, в то время как правая идеология доказала свою неспособность спасти саму себя. Могут ли теперь правительственные расходы решить проблему технологического замещения среднего класса?

Основной формой прямого правительственного найма стало административное трудоустройство среднего класса, поэтому любое развитие тенденции к автоматизации и компьютеризации подобных работ сократит в том числе и правительственную занятость. Достаточно решительный политический режим мог бы противостоять этому, отказавшись от автоматизации работ, однако же представляется, что этот своеобразный неолуддизм может вызвать лишь сатирическое порицание (для примера посмотрите фильм 1959 года с Питером Селлерсом «Я в порядке, Джек» о британских тред-юнионах в зените их могущества[5]). Сохранение технологической отсталости в целях защиты занятости, скорее всего, окажется деморализующим и политически безжизненным жестом. Еще одна версия подобной политики, работавшая в прошлом, - это военное кейнсианство, то есть создание рабочих мест в вооруженных силах одновременно со стимулированием экономики при помощи военного производства. Однако современная война стала разновидностью хай-тека, технологии способствуют трансформации армий в более мелкие боевые подразделения, которые координируются компьютерами, спутниками, воздушными сенсорами и устройствами контроля удаленного наблюдения и наведения. Вооруженные силы – это передний край роботизации, и поэтому даже всеобщая мобилизация в духе мировых войн вряд ли когда-нибудь воспроизведет ту же разновидность массовой армии, которая была в XX веке.

Помимо прямого государственного найма, существует также увеличение государственных расходов - приоритетный инструмент нынешних стимулирующих антикризисных пакетов. Большинство государственных инвестиций делается в материальную инфраструктуру – дороги, мосты, аэропорты, энергетику, а наравне с этим - в так называемую информационную магистраль (information highway). Но и эти отрасли подвержены компьютеризации и автоматизации, под-

[5] Герой фильма английского режиссера Джона Бултинга возвращается с войны в надежде сделать карьеру в крупной компании, однако вскоре обнаруживает, что является всего лишь инструментом в борьбе между менеджментом и профсоюзными лидерами. Фильм считается одной из лучших британских комедий.

держивая тем самым тренд технологического замещения. Еще менее вероятно, что противостоять волне технологического вытеснения труда будут правительственные инвестиции в частный сектор. С особой мантрой об эффективности подобных инвестиций государство берет на себя роль капиталиста или, как минимум, капиталистического инспектора – в любом случае целью этого является сокращение издержек на оплату труда, а стало быть, сокращение занятости.

Еще одним вариантом вмешательства в рынок является регуляция частных рынков, что подразумевает выдачу предпринимателям разрешений на использование неполной рабочей недели и защиту от сокращения рабочих мест. Такие меры широко практиковались континентальными странами, но смогли разве что замедлить движение в сторону технологического замещения. В целом такая политика стремится защитить уже имеющихся работников, но при этом отделаться от молодых. Эту проблему можно решить, если государство целенаправленно будет нанимать на работу много молодых людей – это редко пробовали сделать (за исключением военной версии кейнсианства), хотя ниже (выход 5) я предполагаю, что исподтишка это уже произошло посредством инфляции дипломов о высшем образовании.

В принципе, политическая власть может делать все, что угодно, ограничиваясь лишь политической волей (которая является, так сказать, мобилизованным политическим могуществом) и собственным образом (vision), определяемым соответствующей политической культурой. Очевидно, политическим культурам найдется достаточно применения, если государство собирается делать что-либо существенное с технологическим вытеснением среднего класса. Я не утверждаю, что неоднозначные меры «либеральных» правительств в области поддержки частной экономики не удержат капитализм от нетвердого движения в будущее. Однако этот неоднозначный подход вряд ли разрешит долгосрочную проблему технологического замещения, пока экономикой движет частная прибыль.

Выход 5. **Инфляция дипломов о высшем образовании и другие скрытые разновидности кейнсианства.** Инфляция дипломов представляет собой увеличение образовательных требований для занятия вакансий, поскольку растет доля людей с более высокими учеными степенями. Чем больше людей обладает некоторым образовательным сертификатом или дипломом, тем ниже падает его ценность. До Второй мировой аттестаты американской средней школы (high school) (т.е. 12-летней общеобразовательной школы) были сравнительно редкой вещью, теперь же они стали фактически всеобщими, поэтому для работодателя их ценность равна нулю. Среди молодежи доля учащихся в университетах уже превысила 60%, и университетский диплом поджидает та же участь, что ранее постигла аттестат средней школы. Подверженные инфляции образовательные степени достойны лишь того, чтобы снова вложить их в образовательный рынок в расчете на диплом еще более высокого ранга. В принципе, это бесконечный процесс, который может легко дойти до того, что было в Китае при поздних династиях, когда студенты-мандарины продолжали сдавать экзамены на четвертом

и пятом десятке, только теперь это коснется широкого большинства населения, а не небольшой элитной группы. Цена за прохождение через образовательную инфляцию для разных стран была разной, однако начиная со второй половины XX века все государства шли именно по этому пути.

Образовательные степени являются чем-то вроде валюты социальной респектабельности, используемой для получения доступа к вакансиям; как и для любой валюты, этой ее разновидности свойственно повышение цен (либо сокращение покупательной способности), когда самостоятельно растущее денежное предложение не поспевает за ограниченным набором товаров, в данном случае - за сокращающимся набором вакансий для среднего класса. Образовательная инфляция основана на самой себе: с точки зрения человека, стремящегося к ученым степеням, лучшей реакцией на их падающую ценность будет получить еще больше образования.

Этот исходный механизм образовательной экспансии поддерживается преобладающей сегодня технократической идеологией. Утверждается, что растущие технические требования к работникам вытесняют неквалифицированный труд, а сегодняшние высококвалифицированные вакансии требуют постоянно растущего уровня образования. Тридцать лет назад в книге «Общество дипломов» (The Credential Society) я собрал доказательства, демонстрирующие, что технологические изменения не являются движущей силой роста образовательных требований к соискателям. Содержание образование не обязательно устанавливается технологическим спросом; большинство технологических навыков – включая наиболее продвинутые – усваиваются непосредственно на рабочем месте либо через неформальные сети, а бюрократическая организация образования в лучшем случае пытается стандартизировать появляющиеся в том или ином месте новые квалификации. В своем новом исследовании проблемы инфляции дипломов в связи с технологическими изменениями, я не обнаружил ничего, что опровергло бы мои выводы, сделанные в 1979 г. Действительно, небольшая доля специальностей все же получает выгоды от научного и технического образования, однако не этот фактор движет столь широким распространением образования: невозможно поверить, что в будущем большинство людей станут учеными или квалифицированными техниками. На самом деле в богатых странах крупнейшей областью роста рабочих мест всегда были неквалифицированные сервисные работы, на которые дешевле нанимать людей, чем эти работы автоматизировать.

Несмотря на то, что рост инфляции дипломов основан на ложных предпосылках, идеология, согласно которой большее количество образования обеспечит более равные возможности, больше высокотехнологичных экономических решений и больше хороших рабочих мест, в действительности обеспечивает определенное решение проблемы технологического замещения среднего класса. Это происходит потому, что образование исключает все больше людей из числа актуальных работников; если же студенты получают финансовую субсидию – напрямую или в форме низкопроцентных (и в конечном итоге непогашаемых)

займов, то данная субсидия выступает в качестве скрытых транзитных платежей. Там, где государство благосостояния идеологически непопулярно, мифология образования поддерживает его в скрытом виде. Добавим к этому миллионы учителей в начальной, средней и старшей школе и ее административный персонал, и можно сказать, что в действительности капиталистическую экономику держит на плаву скрытое кейнсианство образовательной инфляции. Существует, конечно, опасность технологизации образования, замещения учителей компьютерами, и если этот процесс зайдет далеко, образование в меньшей степени окажется уходом от технологического замещения. За этим исключением, не является ли продолжающаяся экспансия образования вероятной траекторией для кейнсианского решения проблемы технологического замещения?

Образование – это основная сфера правительственных расходов, что указывает на будущий предел его расширения. Чем выше издержки, тем сильнее движение в сторону приватизации образования, перекладывающей ношу финансирования обучения на студентов или родителей, однако и здесь обнаруживается предел образовательной экспансии, поскольку средний класс экономически сжимается. Расширение образовательной системы, движимое инфляцией дипломов, достигает потенциально кризисной точки в пределах самой образовательной системы. Это не обязательно конец: можно предвидеть ряд последующих циклов остановки и перезагрузки процесса, когда наша извечная вера в спасение через образование сначала пройдет через освобождение от иллюзий, а затем возродится вновь.

Сказанное касается в том числе и нас, университетских преподавателей. Несмотря на то, что образовательная система основана на ложных предпосылках, я не считал публикацию своей критики образовательной инфляции благим делом, поскольку работа большинства моих коллег зависит от этого явления. Закончив свою книгу в 1979 г., я действительно покинул университет и стал заниматься только писательством, однако что скрывать: преподавание – более прибыльная вещь, и вот я вернулся обратно. Ничего не возникает из ничего, и это верно в том числе для социологии. По иронии судьбы, социология вскрывает те ложные основания, которые идеологически защищают ее собственную материальную базу. Стало бы политическое массовое сознание продолжать поддержку образования, если бы не имело утопической веры на его счет? – это мы, возможно, увидим в одно из ближайших десятилетий.

Наконец, подведем итоги. Куда все идет? Как уже было сказано, я изложил не теорию революции, а теорию кризиса. Произойдет ли революция, если кризисы технологического замещения будут развиваться по сравнительно плохому сценарию? – я имею в виду появление высокоавтоматизированного, компьютеризированного мира, где работают очень немногие, а большинство населения либо не работает вовсе, либо борется за место низкооплачиваемой обслуги в сфере сервиса.

В этом месте нам нужно оставить в стороне теорию экономического кризиса и расспросить теорию революции, которая начиная с 1970-х гг. сама револю-

ционизировалась. Благодаря сравнительным исследованиям подъемов и крушений государственных режимов Теды Скочпол, Джека Голдстоуна, Чарльза Тилли, Майкла Манна и других была сформулирована так называемая теория революции как распада государства. Ее центральное положение состоит в том, что успешная революция начинается сверху, а не снизу, со стороны недовольных и обнищавших масс. Основные составляющие этого процесса таковы. Во-первых, налоговый кризис государства: государство оказывается неспособным платить по своим счетам, а в конечном итоге, оплачивать свои службы безопасности, армию и полицию. Фискальный кризис государства ведет к летальным последствиям, если он сопровождается вторым компонентом – расколом в элите по поводу того, что делать. К этому можно добавить вторичные факторы, предшествующие основным двум и обычно (хотя и не всегда) включающие причины военного характера. Налоговый кризис государства часто становится следствием чрезмерных военных расходов, а элитный тупик особенно усугубляется военным поражением, которое лишает правительство легитимности и провоцирует призывы к решительным реформам. Раскол элит парализует государство и открываает путь новой коалиции с радикальными целями. Именно в этом вакууме власти – в том, что теоретики социальных движений теперь называют структурой политической возможности, – успешно мобилизуются социальные движения. Нередко они выступают во имя недовольных низов, но в общем случае эти радикальные движения возглавляются группами представителей высшего среднего класса, обладающими наилучшими социальными связями и организационными ресурсами. Как давно уже признал Токвиль, радикализм того или иного движения не соотносится со степенью обнищания масс - на самом деле то, что предопределяет степень радикализма, находится скорее в области идеологической и эмоциональной динамики возникающего конфликта, хотя теоретическое осмысление этого обстоятельства так и осталось незавершенным.

Повторим: вплоть до настоящего момента истории практически все известные революции стали следствием не экономического кризиса капиталистических рынков, а следствием краха правительств; налоговый кризис возникает непосредственно в государственном бюджете и обычно не зависит от экономического кризиса в более широком смысле. Это значит, что и в будущем революции снова могут совершаться посредством этого сравнительно ограниченного механизма распада государства, который включает в себя связанный с конкретным государством налоговый кризис, тупик элиты и следующий за ними паралич аппарата государственного принуждения. Кризисы государств происходят более часто, чем полномасштабные экономические кризисы. Что же произойдет, если поместить вышесказанное в контекст долгосрочной тенденции к технологическому вытеснению рабочей силы? Возможно несколько вариантов. С одной стороны, революции могут произойти в отдельных государствах, причем не обязательно в тех, где технологическое замещение будет наиболее сильным. С другой стороны, происходящие революции могут и не оказать разрешающего воздей-

ствия на эту проблему. Но могут случиться и такие революции, которые действительно примут выраженный антикапиталистический оборот.

Поскольку движение истории определяется множественностью причин, будущее подобно китайской игре в кости (yahtzee), где для победы на всех пяти кубиках должны одновременно выпасть шестерки, - так и для реализации определенного варианта будущего необходимо, чтобы на множестве брошенных костей выпали одинаковые цифры. Поэтому в одном из вариантов будущего мы можем получить общую антикапиталистическую революцию при правильном сочетании государственного распада (возможно, вкупе с военным поражением) и вездесущего технологического замещения.

С другой стороны, технологическое замещение может стать столь очевидным и настойчивым, что некая политическая партия сможет через выборы прийти к власти с антикапиталистической программой. Я не знаю, насколько велики шансы, что это произойдет, - возможно, еще меньше, чем то, на всех костях сразу выпадут шестерки.

Будет ли антикапиталистическая революция концом истории? - Конечно же, нет, ибо она не упразднит политику. Даже если это будет социалистическая революция, не похоже, что она покончит с экономическим неравенством. Предыдущий опыт социалистических режимов показывает, что они смогли снизить уровень неравенства примерно наполовину – сравним коэффициенты Джини социалистических и капиталистических обществ и резкий рост неравенства после распада СССР.

Сделает ли антикапиталистическая революция людей счастливыми? Дюркгейм доказывал, что на протяжении человеческой истории уровень счастья всегда примерно один и тот же; новые ситуации лишь создают новые желания и новые уровни для сравнения счастья и несчастья - в любом случае сущностной характеристикой человеческой организации представляется конфликт. Один из уроков, усвоенных из истории социалистических режимов XX века, состоит в том, что им присуща собственная внутренняя борьба, так что не стоит ожидать от них слишком многого. Главное, что у них есть, - это достоинство не быть капиталистическими, возможность избегать капиталистических кризисов.

Я даже не стал бы предсказывать, что антикапиталистические режимы станут постоянным явлением. Вполне возможно, что они сами изменятся - либо путем электоральных сдвигов, либо благодаря будущим революциям 50 или 100 лет спустя. Я не вижу серьезных причин, по которым социалистические режимы должны быть более миролюбивыми, чем капиталистические. Как доказал Макс Вебер, все формы государственной власти стремятся к престижу могущества, если для этого существуют возможности на мировой арене, поэтому путь к революции через военные издержки может повториться – фактически именно этот фактор низверг СССР [Collins 1999]. Далекие от конца истории, будущие столетия вполне могут продемонстрировать серию колебаний между капиталистическими и социалистическими формами, а возможно, и другими, которые пока не предсказаны.

Возвращаясь к наиболее неотвратимому кризису - нашему нынешнему движению в направлении технологического замещения среднего класса, зададимся вопросом: как далеко в будущее простирается этот процесс? Не думаю, что мы увидим полномасштабный кризис раньше, чем через 20 лет, однако нашим потомкам придется удивиться, если он не произойдет ко второй половине XXI века.

Конечно, существует целый ряд других процессов и проблем, которые усложняют будущее: экологический кризис, старение населения, бурный рост медицинских расходов, огромная межконтинентальная миграция, этнические и религиозные конфликты и насилие, кроме того, возможны неизвестные ныне конфликты, связанные с новыми гендерными и сексуальными предпочтениями. Однако объектив должен быть наведен на основную цель: как все это повлияет на кризис технологического замещения? Некоторые из названных факторов усилят кризис. Другие создадут нагрузку на государство, ведущую к его распаду, и тем самым повысят шансы революции - шансы, что сразу на нескольких костях выпадут шестерки. Может ли что-либо из перечисленного обернуть вспять технологическое замещение, повысив занятость среднего класса, создав новые рабочие места, чтобы нивелировать автоматизацию и компьютеризацию? Кое-что, конечно, может, но в какой степени? Пока что я не вижу хорошо обоснованной теории – действительно строгой и хорошо мотивированной теории как таковой, чтобы предположить, что мы сможем избежать кризиса технологического замещения, маячащего где-то впереди в этом столетии.

Я могу ошибаться. Поверьте, я не хочу, чтобы кризис такого масштаба произошел просто для того, чтобы подтвердилась правота Маркса. Все вышеизложенное представляет собой вывод из социологических открытий за то столетие, что социология существует как дисциплина. Я уверен, что технократическая утопия - основная альтернативная научной социологии теория - совершенно неправильна: она происходит из предыстории социологии, из мечтаний Сен-Симона 1820-х годов. Линия, которая идет от Маркса, Вебера, Дюркгейма и Зиммеля, и ее продолжение у Скочпол, Тилли, Манна и многих других дала нам более серьезно обоснованные, более реалистичные пути понимания мира. Ясно, что мы еще многого не поняли. Но у нас уже есть почва, на которой можно стоять; будущим поколениям социологов есть над чем работать, и они будут понимать мир лучше, чем мы.

Перевод с англ. Н. Проценко

ГЕОПОЛИТИКА – АМОРАЛЬНЫЙ ВИД ЛОЖНОГО СОЗНАНИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

А.В. Оболонский
Государственный университет – Высшая школа экономики

Проблему соотношения политики и морали можно было бы отнести к числу «вечнозеленых», если бы временами она не приобретала уж очень кровавый цвет. В европейской традиции теоретическое обоснование имманентности политического имморализма принято связывать с именем Н.Макиавелли[1], хотя гораздо более развернутый и страшный в своей циничной откровенности аналог содержит написанная почти за два тысячелетия до него на противоположном конце Евразии «Книга правителя области Шан» китайского легиста Шан Яна[2]. На практике макиавеллизм задавал тон в политике, увы, слишком часто и самым зловещим по последствиям образом. Не имея возможности в рамках статьи особо углубляться в историю и теорию вопроса, ограничусь несколькими, но необходимыми ремарками.

Вплоть до второй половины XX века идеология макиавеллизма была господствующей нормой политического поведения и практики. Однако трагический опыт тоталитаризма и двух мировых войн все-таки кое-чему научил человечество. Основанная на нем политика в значительной мере исчерпала свой идеологический потенциал и «оправдание». После того, как политика стала публичной, народ постепенно осознал свое право и обязанность непосредственно в ней участвовать. Да, собственно, едва ли не в каждой исторической эпохе можно найти подтверждения существования «антимакиавеллистского», морального взгляда на политику. Так, еще Аристотель «видел в политике продолжение этики, своего рода развернутую этику, этику in concreto, и в то же время рассматривал саму этику как высшую политическую науку»[3]. А. Августин писал в труде «О граде Божием»: «При отсутствии справедливости (justicia, которое также можно перевести как «правосудие». – А.О.), что такое государства,

[1] Что справедливо лишь отчасти, ибо, изложив рецепты циничного манипулирования инструментами власти в «Государе», он, как следует из других его работ, сам с ними идейно не солидаризировался.

[2] См., напр.: Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М.1981. С… Древнекитайская философия. Т.1. М. 1973. С210-233.

[3] См. Гусейнов А.А. Мораль и политика: уроки Аристотеля // Ведомости. Вып.24. Политическая этика: социокультурный контекст. Тюмень. 2004. С.106.

как не большие разбойничьи шайки, так как сами разбойничьи шайки, что такое как не государства в миниатюре?»[4]. С XV же века, с начала эпохи гуманизма, «моральная философия» стала не только фактором общественной рефлексии, но и элементом системы образования в рамках так называемых «наук о человеческом» (studia humanitatis). Но начало подлинного возрождения антимакиавеллизма в политической сфере можно условно датировать рубежом 60-70-х годов XX века. Первым толчком к нему послужила так называемая «студенческая революция», прокатившаяся по Европе и Америке. Потом она аукнулась уотергейтским скандалом, фактическим изгнанием с политической авансцены функционально успешного, но не имевшего моральных самоограничений президента Р.Никсона, движением, получившим имя «разгребание грязи», выдвижением во время президентства Дж.Картера прав человека как одного из приоритетов международной политики и еще многим другим. А главное, моральные ценности стали играть все более заметное место в оценке обществом происходящего на политических подмостках. И политический класс вынужден был отреагировать на это изменение в самосознании общества. Этические начала государственной жизни стали объектом достаточно жесткого социального контроля и регламентации. В том числе – на законодательном уровне. Было признано, что **жизнеспособность и легитимность политической системы страны во многом зависят от того, насколько государственные институты и высшие должностные лица отвечают господствующим в обществе ценностям и идеалам, а их поведение соответствует нормам общественной морали[5].** Разумеется, процесс этот не был, да и не мог быть простым. Случались довольно длительные драматические откаты в традиционную сторону политического цинизма. Этот новый ветер можно было игнорировать, но трудно было не заметить. Вот как, например, писал об этом несколько лет назад нынешний Президент США Б.Обама: «Тектонические плиты уже пришли в движение. Политика стала предметом морали, а не просто злобой дня, ее начали рассматривать в категориях моральных императивов и абсолютов. А еще политика стала гораздо более личной»[6]. Из книги Обамы «Дерзость надежды» возникает его образ как человека с иной, чем у «обычных» политиков, шкалой ценностей и взглядами, как носителя идеи политики, ориентированной на человека, его нужды и чаяния, а не на некие якобы «высшие» интересы и цели.

В России, в силу трагических особенностей ее истории (не говоря уж о снова вошедших в моду политиканских спекуляциях на специфике нашей якобы «уникальной ментальности»), процесс «морализации политики» начался с запозданием, да и вообще мало заметен. Гораздо заметней политический иммо-рализм. Часто он почти не маскируется и даже открыто провозглашает старый лозунг о якобы несовместности политики и морали. Вполне можно утверждать,

[4] Цит. По: Графский В.Г. История политических и правовых учений. М. 2005. С.185.

[5] Подр. см.: Оболонский А.В. Бюрократия для XX! Века? М.2002. С.120-124-160-161.

[6] Обама Б. Дерзость надежды. СПб. 2008. С.35.

что в 2000-е годы у нас произошел *ренессанс макиавеллизма*, пусть в закамуфлированных популистской риторикой и жестами, но, по сути, достаточно циничных и крайних формах. У нашего государства появилось все больше черт военно-бюрократической системы управления, что всегда чревато ущемлением интересов и прав людей. По существу, мы столкнулись с попыткой вновь захлопнуть еще недавно довольно широко распахнувшуюся дверь открытого общества. Произошло как раз то, против чего предостерегал К.Поппер, считавший глубочайшей и еще далеко не завершенной революцией в истории переход от общества закрытого, где индивид растворен в коллективности, а взамен получает иллюзию защищенности, к обществу открытому, где он свободен и должен сам принимать личные решения. Такой переход неизбежно сопряжен со страхом свободы, с желанием и попытками вновь захлопнуть уже отворенную дверь. И, как показывает история, процесс действительно можно задержать. Но это приносит лишь новые беды, ибо вернуться в мнимый «утраченный рай» тоталитаризма невозможно. «Чем старательнее мы пытаемся вернуться к героическому веку племенного духа, тем вернее мы в действительности придем к инквизиции, секретной полиции и романтизированному гангстеризму... Нам следует найти опору в ясном понимании того простого выбора, перед которым мы стоим. Мы можем вернуться в животное состояние. Однако если мы хотим остаться людьми, то перед нами только один путь – путь в открытое общество»[7].

И мы, вопреки всем трагедиям и бедам нашей «печальной и многотерпеливой», по выражению А.И.Герцена, истории, вопреки тяжелым экономическим, социально-психологическим и иным обстоятельствам, наконец, вопреки ламентациям о нашей якобы неизбывно рабской ментальности, – мы все же смогли сделать несколько важных шагов на этом пути. У нас есть основания, глядя в совсем недалекое наше прошлое, с определенной гордостью вспоминать и идею приоритета общечеловеческих ценностей (она хоть и родилась в недрах горбачевского ЦК в основном как «красивый» риторический прием, но затем на какое-то время стала фактором практической политики), и полную внутреннего драматизма глубоко нравственную жизнь и судьбу А.Д.Сахарова, и некоторые поступки «раннего» Ельцина, а, главное, то охватившее миллионы людей в конце 80-х – начале 90-х годов чувство нравственного освобождения от пресса тоталитарного государства, когда общество действительно поднялось с колен. Именно *тот период представляется мне самым достойным и нравственно высоким эпизодом за весь наш XX век*. Почему он оказался столь кратковременным, на мой взгляд – самый тяжелый и больной вопрос двух последних десятилетий. Но к теме России мы еще вернемся ниже, а сейчас обратимся к анализу идеологии, которая как бы легитимирует это попятное движение, и которая стала одно время почти официальной.

В ее основе в явном или неявном виде лежит геополитическая парадигма.

[7] Поппер К. Открытое общество и его враги. М. 1992. Т.1. С.248.

Геополитика как вид ложного сознания

Как известно, **геополитика** (сейчас ее предпочитают называть мировой политикой) – **это государственная идеология и обслуживающая ее научная дисциплина, в основе которой лежит социал-дарвинистский взгляд на мир** исключительно как на арену «внутривидовой» борьбы государств, борьбы, в которой меняются задачи, методы, промежуточные цели, но не сама суть: народы – враги, мир – ринг, государства – бойцы на нем, а конфликт – основа основ существования и взаимоотношений. Союзы, блоки и т.п. – лишь тактические уловки, не меняющие глубинной враждебной сути. Этот взгляд на соседей «через оружейный прицел» в разных формах существовал всегда, но как законченная идеологема сложился на рубеже XIX-XX веков. Он стал влиятельным во многих европейских странах, но в предельных формах, как основа государственной политики, воплотился в нацистской Германии и СССР. Этот геополитический фантом стоил человечеству двух мировых и множества «малых» войн, а также неизбежно сопутствовавших им войн с «внутренними врагами». Словом, **геополитика** – это насквозь пропитанный кровью **вид ложного сознания.** Он и основанные на нем драмы должны изучаться и анализироваться, но лишь как **история болезни человечества,** как **политическая криминология.** А иной - внегуманитарный – взгляд на мир как на шахматную доску, модель анализа шахматной партии, где люди, а то и целые народы – в лучшем случае лишь пешки, а то и просто пылинки, есть не что иное, как апологетика преступности. Он аморален в своей основе и может породить для людей лишь горе и страдания.

Новые времена породили и новые формы геополитики: геоэкономику, геокультуру, информационную геополитику… Но ее глубинная конфронтационная и обычно экспансионистская суть от того не изменилась. В этом она недалеко ушла и от нацистской идеологии, и от классического евразийства первых десятилетий XX века.

Казалось бы, страшные уроки минувшего столетия должны были начисто отвратить людей от подобных представлений, а саму геополитическую логику отправить на свалку истории. Но этого, увы, не произошло. Слишком уж удобна вся эта политическая алхимия для тех, кто благодаря ей вдруг может ощущать себя вершителями судеб мира (или, по крайней мере, судеб миллионов). А еще с этого очень неплохие дивиденды получает обслуживающий политиков персонал – немалый и склонный к размножению: так называемые «ученые приказчики». Их работа – облечь античеловечные цели в пристойные квазиидеологические одежды, подкрасить их политологическим макияжем, а то и подсказать какие-нибудь манипуляторские «политтехнологические» приемы. Возрождаются и даже «обосновываются» неоимперские химеры. Впрочем, чаще все ограничивается заклинаниями. Так, недавно на серьезной международной кон-

ференции в Высшей школе экономики меня привлек заголовок доклада одного из наших геополитиков «Россия в пятерке мировых лидеров». Прочитав его начало, предполагающее обоснование этой амбициозной цели, я выяснил, что ее достижение обусловлено не с какими-то объективными факторами, а тем, что таков, оказывается «запрос российской политической элиты, не удовлетворенной нынешним положением России в современном мире», а также тем, что «такая задача совпадает с чаяниями русского народа, в национальном самосознании которого глубоко укоренено представление о России как о великой стране, на протяжении многих веков игравшей ключевую роль в мировой истории». Удержусь из-за ограниченного объема от соблазна пересказать, какими путями предлагается послужить удовлетворению этой «элитной» мании величия и якобы народных чаяний. Я слишком уважаю для этого читателей. А автору, похоже, неизвестна очевидная для любого не людоедского режима посылка, что *внешняя политика должна лишь обслуживать главную – внутреннюю, поскольку именно последняя напрямую связана с интересами граждан страны*, а не отражать некие химеры, рожденные в мозгу рассуждающих у крупномасштабных карт и глобусов политиканов и их присных. Не политики и не их идеологические «портные», а обычные люди России и СССР веками расплачивались своими жизнями за политические амбиции и мании величия дворцовых и кремлевских «геополитиков». Вся эта логика густо пропитана кровью несчетных миллионов людей многих стран мира. Но «мертвый хватает живого».

Одна из связанных с этим болезней – «мистическое одушевление государства, на котором… держится государственническая мифология»[8], а также явно целенаправленное нагнетание имперской идеологии с сопутствующими рассуждениями о «российской исключительности», «всемирной миссии» и т.п. При этом расчетливо и цинично эксплуатируются естественные патриотические чувства людей, шулерски подменяемые идеями «государственного величия», «естественных» внешнеполитических интересов и целей, «славянского единства» и т.п., а также фантомные боли так называемого «пост-имперского синдрома». (Мы, впрочем, в этом не уникальны, подобное пережили и Англия после распада Британской империи, и Австрия после краха империи Габсбургов. Но у нас постимперский синдром отягощен еще и синдромом посттоталитаризма.)

Подобная *аморальная в своей основе логика* во многих отношениях находится в явном противоречии с главными векторами мирового развития и потребностями современных людей, их представлениями о роли и назначении государства в их жизни. Пожалуй, наиболее наглядно это можно проследить на примере проблематики демократии. На наш взгляд, *демократия и мораль довольно тесно взаимосвязаны,* во всяком случае – в странах с реальными демократическим традициями и институтами. Так называемые «простые люди», наученные горьким опытом двух Мировых войн – когда ими манипулировали

[8] Драгунский Д. Частное лицо эпохи. // Космополис. 2008. N 21. С.5.

или просто перебрасывали их по планете как облака, отдельные частицы которых по определению не имеют никакой самостоятельной ценности, – больше не согласны удовлетворяться ролями периодических, а зачастую и вовсе фиктивных участников политического процесса. *Движение в сторону морализации политики – одна из форм поиска альтернативы геополитике.* Да и обществу в целом без реальной, а не «управляемой», т.е. имитационной демократии трудно, а, может, и невозможно справляться с теми вызовами, которые непрерывно ставит перед нами XXI век. Деятельность всех ветвей власти должна быть прозрачна и подконтрольна. Вообще стремление к *публичности политики* – одна из главных движущих сил современной демократии. Лишь демократия (да и то не в полной мере) может обеспечить хотя бы относительную моральность политики, т.е. такой политики, которая на деле руководствуется критериями добра из зла, честности, совести, справедливости, долга и другими моральными категориями. Как писал один протестантский богослов, «человеческая способность к справедливости делает демократию возможной, но человеческая склонность к несправедливости делает демократию необходимой».[9]

Правда, история знает примеры, когда моральную политику пытались проводить автократическими методами (Кай Юлий Цезарь, Людвиг Баварский, Александр I, список можно продолжить). Как правило, эти попытки исходили от благонамеренных, т.е. желавших народу добра, монархов, и, таким образом, все оказывались в зависимости от личных качеств автократа. Однако чаще всего они в итоге оказывались мало успешными, а порой – заканчивались трагически. Ведь, как известно, «власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Поэтому над любым, даже самым прекраснодушным правителем необходим эффективный общественный контроль. К тому же при автократической форме правления отсутствуют какие-либо гарантии, что власть от «хорошего» автократа перейдет к такому же «хорошему» наследнику.

Так что те, кто в наше время по-прежнему отрицает органическую связь политики и морали, идут против ветра истории. Именно *наличие либо отсутствие нравственной, моральной компоненты маркирует границу между политикой в подлинном смысле и политиканством, политическим интриганством.* Но, как известно, если искусно лавировать, то против ветра какое-то время двигаться вполне возможно. И многое в нашем историческом движении 2000-х годов напоминает именно такое маневрирование. Под лозунгом якобы «поднимания с колен» произошло возрождение авторитаризма и политического аморализма. Приоритет «системных интересов» над интересами гражданина не может быть сбалансирован никаким экономическим либерализмом, который, впрочем, как мы видим, тоже не может быть устойчивым в условиях нынешней якобы «государственнической» модели. Этим, кстати, лишний раз доказывается ущербность тезиса о якобы первичном значении экономики по отношению к

[9] Нибур Р. Дети света и тьмы. Цит. по: Крук Р. Основы христианской этики. М. 2004. С.50.

моральным и другим культурным факторам. Как бы ни маскировать наблюдаемый *ренессанс макиавеллизма* популистской риторикой и жестами, это всегда происходит за счет ущемления интересов и прав людей. По существу, мы имеем дело с попыткой прикрыть, насколько возможно, довольно широко распахнувшуюся к концу 80-х дверь открытого общества, т.е. происходит как раз тот процесс, против которого и предостерегал К.Поппер. Один из наиболее одиозных примеров этого – то, что произошло у нас после трагедии Беслана. Тогда неспособность государства - прежде всего, так называемых правоохранительных органов - уберечь граждан от терроризма и разгула насилия была использована как предлог для практической отмены региональных выборов. Иными словами, под флагом «укрепления единства власти» нас лишили существенной части наших конституционных прав и свобод.

А что касается «поднимающейся с колен России» и «лихих 90-х», то я считаю, что «с колен» мы как раз поднимались в период перестройки, *условно с 1987 по 1993 год* – это самое *достойное, самое нравственно высокое время в нашей истории XX века* (годы Великой отечественной войны я опускаю, к ним счет и критерии особые). После бесконечной череды десятилетий тоталитарного пресса оказалось, что у множества людей сохранилось мужество и силы, чтобы распрямиться и заявить о себе не как о бесправных холопах, а как о Гражданах. Да, одновременно поднялось много пены и грязи, но после всех измывательств над человеческой личностью, на которые был столь горазд «реальный социализм», удивительно не это, а противоположное: что чувство человеческого достоинства не умерло, а проявлялось во вполне цивилизованных формах (во время тогдашних многотысячных демонстраций и шествий не было разбито ни одно окно, не перевернута ни одна машина). Когда ломаются любые, пусть даже изжившие себя ценностные системы, временная нравственная аномия неизбежна. Послевоенный скачок преступности в проигравших войну Германии и Италии – тому подтверждение. А мы ведь тоже, победив внешний фашизм, проиграли в XX веке свою «войну», войну за создание в собственной стране условий для достойного существования Человека. И, кстати, очень весомая доля преступлений и аморальных действий в пресловутые «лихие 90-е» была совершена не «простыми» людьми, а политическими «мутантами», легче других скинувшими советские одежды и перекрасившимися в «людей нового времени». А теперь они, использовав пусть несовершенную, но реальную свободу 90-ых как время «клондайка» для личного обогащения и преуспеяния, наловив немало «рыбки» в тогдашней «мутной воде», небезуспешно выплескивают вместе с ней и главное достижение тех лет – демократию.

Но поскольку эта проблема тесно связана с более широкой – с извечным антиличностным характером российской государственности, то время обратиться к нашей истории.

Перекрестки российской истории[10]

Россия была и, похоже, остается ареной борьбы двух противоположных «генотипов» (надеюсь, ясно, что термин условный, метафорический) социально-этического сознания – системоцентризма и персоноцентризма. Максимально кратко их основное различие состоит в противоположности подходов к разрешению моральных конфликтов, возникающих между личностью и социальной общностью. Системоцентристская традиция предполагает заведомый приоритет интересов целого, т.е. общества или/и разного уровня коллективов (и, соответственно, имеющих возможность выступать от их имени лиц), тогда как персоноцентризм исходит из высшей ценности законного интереса отдельного человека, из главенства интересов и прав отдельной личности. По сути, это два полярных видения мира, два параллельных пути развития цивилизации. И хотя логически второй не есть продолжение первого, но исторически системоцентристский путь был первым, и лишь много позднее от него как бы отпочковался персоноцентризм. С моей точки зрения, это две принципиально разные дороги развития общества. Двигаясь по ним, они то расходятся, то сближаются, а иногда между ними возникают как бы мостики и даже *перекрестки.* И общество, оказавшись в этой точке бифуркации, может попытаться перейти на другую колею, что зависит и от его готовности к этому, и порой также от ряда ситуативных, случайных факторов.

Не станем затрагивать сейчас сложнейшую многофакторную проблему динамики глобального развития. Ограничимся предположением, что, возможно, кризисы XX в. подвели нас к порогу нового этического типа сознания. Если сохранять осторожный исторический оптимизм, то, думается, в результате этот новый этический тип может сложиться как более или менее сбалансированное, органичное соединение этик системоцентризма и персоноцентризма. Назовем его **органичным, солидаристским или гражданским коллективизмом**. В идеале он представляет собой сочетание лучших черт двух других типов и (по крайней мере теоретически) способен обеспечить гармоничное сочетание интересов личности с интересами общества.

В рамках этой дихотомии трагедия России видится в том, что она так и не смогла изменить трассу своего исторического развития, хотя в истории у нее несколько раз возникали для этого шансы. Первыми такими историческими перекрестками, на которых наше тогдашнее общество оказалось не готовым сменить «колею» и потому не сумело использовать шанс для перехода на персоноцентристский путь развития, представляются мне Смутное время, затем годы петровской «перестройки», а, по сути, национальной трагедии псевдореформации, подмявшей и повернувшей в прежнем системоцентристском направлении уже вызревавшую к тому времени потребность в подлинных, глубинных

[10] Подр. см.: Оболонский А. Драма российской политической истории: система против личности. М. 1994. его же: Человек и власть: перекрестки российской истории. М.2002.

изменениях на уровне архетипа, отчасти – «заговор верховников» 1730 г. и, конечно, «стартовое» десятилетие царствования Екатерины II.

Две следующие попытки, имевшие, в отличие от предыдущих, реальные шансы на успех и потому столь трагичные, пришлись на XIX век. Их политическими кульминациями стали морозный декабрьский день 1825 г. и сырой петербургский первомартовский день 1881 г. По-видимому, первые десятилетия XIX века – тот момент истории, когда персоноцентризм стал представлять в России более или менее заметную социальную величину. Именно тогда он заявил о себе как о реальной альтернативе извечному российскому системоцентристскому «людодерству». На наш взгляд, принципиальное отличие ситуации, сложившейся в то время, от персоноцентристских вспышек двух предыдущих столетий состоит в том, что персоноцентризм тогда впервые заявил о себе как о силе, которую не так-то просто бесследно уничтожить (а такая попытка была предпринята в царствование Николая I), силе, обладающей определенной социальной базой (тогда – в лице образованной и обретшей чувство социальной ответственности и достоинства лучшей части дворянства) и достаточно развитым самосознанием. В стране появилась, используя выражение Дидро, “новая порода людей”, и весь XIX век прошел под знаком ее укрепления и развития.

Разумеется, мы говорим сейчас лишь об одном из векторов исторического процесса. В реальности все было гораздо сложней. В частности, параллельно развивалась романтичная, теплая, но консервативная с точки зрения политических прав и вообще подозрительно относившаяся к идее развития славянофильская идеология. Ее выразители полагали концепцию политических прав личности непригодной для российской «ментальности», поскольку в России вместо борьбы политических партий, вместо парламентаризма и конституционных ограничений власти якобы господствует «соборное единение» всего народа перед лицом абсолютной монархии, что русские якобы – народ «неполитический» и потому нам-де, в отличие от «загнивающего» Запада, не нужны никакие политические права. (С каким, однако, заслуживающим лучшего применения упорством наши идеологи различных политических мастей, но одной «грунтовой» окраски уже которое столетие хоронят «загнивающий» Запад!)

Но, так или иначе, к началу XX века персоноцентризм стал в русском обществе настолько значительной силой, что даже без политических подталкиваний начала крениться и покрываться трещинами пирамида извечного российского системоцентризма. Впервые его монопольный контроль над общественным сознанием оказался перед реальной угрозой, впервые возможность построения жизни на иных началах, нежели системоцентристское «людодерство» стала более чем реальной. Еще несколько десятилетий спокойного развития – и уже ничто было бы не в силах помешать переходу России на персоноцентристские рельсы. Однако здесь сыграло роковую роль то обстоятельство, что, *в отличие от западных стран, персоноцентризм в России развивался не «вширь», а «вглубь», то есть, в основном, в пределах одного социального слоя – интелли-*

генции. При этом даже в его рамках он охватывал лишь одну часть, в политическом словаре обычно именуемую «либеральной интеллигенцией». Другая же часть интеллигентов – «политические радикалы» – по глубинной сути своей оставались теми же системоцентристами, лишь нового образца. Они мыслили и действовали (к несчастью для общества – очень активно и успешно) в рамках прежней антиличностной шкалы ценностей, только перевернутой вверх дном по принципу «кто был ничем – тот станет всем».

Социальная сверхконцентрация персоноцентризма породила уникальное в мировой истории явление – российскую гуманистическую интеллигенцию, но в политическом плане она привела к национальной трагедии. Узость социального основания персоноцентризма предопределила его поражение, несмотря на то, что к началу Первой мировой войны на персоноцентристскую «колею» постепенно перебралась лучшая часть российского общества. Но времени не хватило. Параллельный фанатичный и изощренный активизм радикалов оказался сильней. Деструктивные процессы, как правило, развиваются быстрей конструктивных. Динамика этих параллельных процессов прослеживается на протяжении жизни двух поколений – от 1870-х до 1920-х годов. И в этом смысле революция и все последующие перипетии российской истории были не кульминацией, а почти неизбежной развязкой трагедии.

Экстремистски настроенные идеологи уничтожили поросль персоноцентризма и сделали ставку на «большой скачок», вознамерившись прямо шагнуть от традиционалистского системоцентризма к некоему «высшему» коллективизму. Такое игнорирование эволюционных закономерностей исторического процесса могло привести только к краху. И он произошел. Вместо идеала «нового человека» был получен чудовищный кентавр с некоторыми формами второго этического генотипа, с претензиями третьего, но с сущностью первого. Российский системоцентризм снова проявил свою феноменальную живучесть и изворотливость. Оказавшись в опасности, он произвел отчаянный радикальный маневр и ценой «переодевания», ценой полной внешней трансформации еще раз уничтожил свою историческую альтернативу и вновь сохранил себя и свое господствующее положение. Для этого ему пришлось пожертвовать многими традиционными символами и атрибутами и даже принести на алтарь исторической борьбы интересы привилегированной части общества. Пирамида была как бы опрокинута набок, и темная стихия «низового», глубинного системоцентризма захлестнула и родственную ей системоцентристскую структуру самодержавной власти, и, увы, сконцентрированных лишь в одном блоке, одном общественном слое носителей персоноцентристского генотипа.

Когда же рассеялся дым Октябрьской революции (введший в заблуждение многих даже весьма проницательных наблюдателей, не говоря уже об участниках событий), оказалось, что системоцентризм, сменив идеологические и политические вывески и кардинальным образом разделавшись с персоноцентрист-

ской оппозицией, еще увереннее и тверже, чем раньше, господствует на продолжавшей расширяться территории Российской империи.

Победила задрапированная в радикальные одежды антиреформаторская линия. В социально-этическом плане *произошел ренессанс системоцентризма*, то есть, его возрождение и укрепление на новой, более динамичной и прочной основе. В плане социально-психологическом за счет разрушения некоторых вторичных, производных стереотипов национального сознания и их замены другими, по форме более модернистскими, но по своей глубинной сути работающими на те же базовые ценности, также произошло укрепление традиционного психологического генотипа.

В идеологическом плане место государственного православия заняла новая официальная религия, фразеологически совершенно иная, но по способам воздействия на умы паствы, по формируемому ею социальному типу личности подобная ему и потому успешно эксплуатирующая наиболее косные традиционные стереотипы сознания.

В плане политического режима изменения также коснулись скорее внешних атрибутов и отчасти форм осуществления власти, а также состава обладающих ею групп, чем политических целей и средств их достижения. Особенно очевидна преемственность в области, практически целиком выводимой из социально-этических и социально-психологических факторов, - в области духа политической жизни, который на более конкретном уровне раскрывается через категории политического сознания и политической культуры общества.

Главные, «несущие» опоры системоцентристской политической системы не только успешно пережили «смутное время» революции, но в некоторых отношениях стали еще крепче. Словом, мы «проиграли» XX век, и, как бы реанимировав наиболее косные черты национального сознания, в лучшем случае, протоптались на месте, потеряв столь важное и, может быть, даже невосполнимое время для позитивного развития. Единственным, и весьма слабым, утешением может служить то, что мы показали миру негативный пример ложного пути. Впрочем, особой благодарности за этот урок «как не надо делать» ждать не приходится.

Однако этот глубинный смысл происшедшего поняли в то время очень немногие. Да что говорить о тех временах, если даже сейчас миф о советском обществе как «обществе нового типа» жив в сознании как его апологетов, так и его противников. На политической поверхности явлений – но только на ней! – так оно во многом и было. Жизнь и судьба пяти поколений – от родившихся в 1880-е до родившихся в 1960-е – были принесены в жертву молоху советского псевдо-социализма.

Лишь в последнее десятилетие XX века, после занявшего три четверти столетия «штрафного круга» по системоцентристской колее, наше общество смогло вновь выйти на новый перекресток своей судьбы. На нем в очередной раз решается, по какому из путей мы пойдем дальше: по накатанному авторитарному

системоцентристскому, где человеческой личности при всех политических формах и режимах правления отводится лишь роль пресловутого «винтика», или же наконец перейдем на трассу устойчивого демократического персоноцентристского развития, где жесткие ухабы в начале пути формируют у людей чувства социальной ответственности, независимости, личного достоинства. Уже без малого два десятилетия весы нашей исторической судьбы колеблются. В «лихие» 90-е они склонялись в сторону либеральной «чаши», в 2000-е – в обратную. Романтический оптимизм первых лет, вполне сосуществовавший с циничным прагматизмом приобретателей «плохо лежавшей» госсобственности и другими, по меньшей мере, неоднозначными событиями, постепенно уступил место иным чувствам, а с конца 90-х – и оправданному беспокойству в связи с *опасностью опять вернуться в прежнюю колею, хоть и во внешне модернизированном ее варианте.* В 2000-е процесс обратного движения набрал силу. Он имеет несколько составляющих. Мы остановимся на двух идеологических мифологемах, интенсивно и целенаправленно используемых официозной пропагандой: *державно-патриотической* мифологеме и мифологеме «*особого пути»* России.

Эксплуатация «державного» патриотизма

Нам, обитателям «одной шестой части суши», в XX веке пришлось пройти не только через физические страдания и материальные лишения. Несколько переломов пережили и психика, и моральное сознание людей. Режим на протяжении десятилетий, используя целый набор методов – репрессии, идеологическое оболванивание, подкуп отдельных групп, – формировал «советского человека». И во многом ему это удалось. Сложился особый личностный тип – homo soveticus[11].

Система обанкротилась: сначала идеологически, затем экономически, а в довершение всего – политически. Однако люди, взращенные ей, никуда не исчезли. У них началась - а во многом и продолжается до сих пор – жестокая морально-психологическая «ломка». Причем она перешла даже на их детей, не испытавших «прелестей» советской жизни. Разумеется, эта ломка по-разному протекала у разных социальных групп, этносов и поколений. Это – предмет отдельных исследований, для которых, возможно, еще не пришло время[12]. Для нашего сюжета важно лишь зафиксировать факт массовых личностных деформаций, связанных с девальвацией прежних ценностей и не обретением новых. Общество оказалось в яме моральной аномии. Видимо, это было неизбежно. Но от этого, как говорится, не легче. Романтические надежды на быструю перестройку массового сознания под воздействием «невидимой руки рынка» скоро

[11] Его социологический портрет см., напр.: Левада Ю.А. К итогам изучения «человека советского. В: // Левада Ю.А. Ищем человека. Социологические очерки 2000-2005. М. 2006. С. 263-336. На эту тему вообще написало немало ярких страниц в разных жанрах, и она не нуждается в моем пере.

[12] Н.Винер писал, что мы слишком настроены на объект исследования, чтобы быть и хорошими зондами.

обнаружили свою утопичность. Этому также способствовали социально-экономические и политические обстоятельства. В результате базовая либеральная ценность – свобода – была в значительной мере девальвирована и дискредитирована в общественном сознании. Возникла противоположная утопия – тоска по «порядку».

На такой почве патриотическая идеологема была просто обречена на успех. Но тем, кто сосредоточил в своих руках почти монопольный доступ к медийным и иным «усилителям», нужен был патриотизм особого рода, накрепко связанный с возвеличением государства и власти. Этот квазиэтатизм, фетишизация власти как таковой предполагает, что она есть главный, если не единственный, стержень, на котором держится общество. Последнее почти отождествляется с государством, которое как бы получает исключительное право представлять родину и народ, особо не интересуясь при этом его мнением. Происходит *подмена патриотизма естественного, т.е. теплого чувства по отношению к своей стране, к ее людям, наконец, к «малой родине» – «патриотизмом» казенным, предполагающим не рассуждающее преклонение перед властью и ее демонстративную поддержку.*

Шулерская суть этого трюка была понятна многим еще в позапрошлом веке. Но ограничимся лишь парой звучащих и весьма актуально цитат на сей счет. Л.Н.Толстой в статье «Христианство и патриотизм» писал о «гипнотизации» народа посредством разжигания патриотизма: «Патриотизм есть ни что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение тем, кто во власти»[13]. А почти забытый ныне, но в свое время авторитетный русский публицист Варфоломей Зайцев опубликовал в 1877 г. в газете «Общее дело» статью «Наш и их патриотизм», где проанализировал официозную подоплеку славянофильского псевдопатриотического славословия и противопоставил ему альтернативу подлинного патриотизма: «Есть два манера любить свой народ и свое отечество. Первый манер любить его так, как каждый из нас любит хорошее жаркое... Этот способ любви чрезвычайно психически прост и понятен всякому идиоту, почему идиотами и признается единственно нормальным. Надо сознаться, что в сравнении с этой простотой наше народолюбие и наш патриотизм представляются вещью до того сложной, что непонимание его идиотами сопровождается для них смягчающими обстоятельствами... Относясь беспристрастно к своей родине, мы видим в ней вместо сочного жаркого одну из самых обездоленных частей земного шара... Официальные патриоты заинтересованы в том, чтобы она такою и оставалась, так как и в этом виде она им представляет вкусное блюдо, снабжая в изобилии севрюжиной, морошкой и вологодскими рябчиками. Мы же заинтересованы в том, чтобы вывести родину из этого невзрачного положения. Беспристрастный человек может легко рассудить, чей патриотизм бескорыстнее и чьи стремления

[13] Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм. Полн. Собр. Соч. В 90тт. Т.39. С. 65.

выгоднее для самой родины»[14]. В басенной форме отвечал на тот же вопрос наиболее глубокий и едкий из критиков российского казенного имперского самосознания – М.Е. Салтыков-Щедрин. Помните его сказку о маленьком кроте, который пытался выбраться к свету и солнцу из холодной сырой норы, но столкнулся с категорическим материнским запретом, мотивированным тем, что эта темная и сырая нора есть его отечество? Она так и называется: «Добрый патриот». В другом месте писатель ядовито замечает: «Начальство полагает, что наилучшее выражение патриотизма заключается в беспрекословном исполнении начальственных предписаний»[15]. А В.О.Ключевский, прослеживая траекторию российской истории, в которой усилению государства, как правило, сопутствовало ухудшение положения подданных, сформулировал резюме этого процесса с гениальной лапидарностью: «**государство пухло – а народ хирел»**.[16] (выделено мной – АО).

Увы, эти и другие предостерегающие голоса чаще всего заглушались риторикой иного рода, громкой, разнузданной и уже открыто апеллировавшей не к высшим и теплым сторонам человеческих душ, а к низшим, пропитанным страхом и ненавистью ко всему «не нашему». И при этом в ней все больше звучал державно-имперский металл, тональность, которую еще А.И.Герцен уничижительно характеризовал как «петербургский патриотизм, который похваляется количеством штыков и опирается на пушки», а также как «патриотический сифилис».

«Тонкая красная линия» отделяет патриотизм от поначалу почти незаметного перерождения его в национализм. Дальнейшее происходит уже по иной логике, по законам, описывающим, например, движение под гору. Наш великий философ В.С.Соловьев заметил, что в России даже самый умеренный национализм превращается в «бешеный», неумолимость сползания по четырехступенной «лестнице»: национальное самосознание – национальное самодовольство – национальный эгоизм – националистическая ненависть[17]. Изначальное доброе содержание патриотизма исчезло, уступив место шовинистической злобности по отношению к другим.

Думается, в основе многих форм национализма (включая шовинизм) лежит глубоко замаскированный, по большей части неосознаваемый комплекс неполноценности. Базирующаяся на нем идеология проникнута духом поиска постороннего «козла отпущения», т.е. возложения ответственности за собственные беды и неудачи не на самих себя, а на неких злокозненных инородцев. Погромный потенциал такого рода «неопочвенничества» может обращаться и часто обращается на любые национальные меньшинства, на этнических соседей и даже на «титульную» нацию. Примеров его, увы, немало и на территории бывшего

[14] Зайцев В. Наш и их патриотизм\\ Прометей. 1966. № 1. С. 295-296.

[15] Салтыков-Щедрин М.Е. Признаки времени \\ Полн. собр. соч. СПб. 1906. Т.7. С. 171.

[16] Ключевский В.О. Курс русской истории в 8-и тт. М. 1957. Т.3. С.12.

[17] См. напр., спец. посвященную этой проблеме монографию А.Л.Янова «Патриотизм и национализм в России. 1825-1921. М. 2002.

СССР и в самой России. Проблема эта настолько сложна и болезненна, что ее никак нельзя обсуждать «походя», наряду с другими вопросами, как в случае данной статьи. Замечу лишь, что комплекс национальной неполноценности, казалось бы, уж никак не должен быть присущ нашей великой нации, для коей к тому же открылось сейчас необъятное поле деятельности по «обустройству» собственной жизни и страны без поиска каких-то «злоумышленников», которые якобы задумали сгубить более чем 100-миллионный народ с тысячелетней культурой, живущий на богатейшей земле.

Тем не менее, тесно сопряженный с национализмом «стихийный народный империализм» - эмпирический факт, от которого не уйти. Обычно понятие империализма применяют к государственно-идеологическим сферам. Однако существует и империализм «народный», присущий так называемым простым людям. Явление это носит интернациональный характер и присуще, например, французскому (а до 1945 г. – и немецкому) массовому сознанию ничуть не меньше, чем российскому. Нередко можно слышать, как какой-нибудь обыватель с кругозором, ограниченным его убогой повседневностью, интуитивно рассуждает почти в классических геополитических категориях государственных интересов, интернационального долга и т.п. Применительно к азиатской части СССР упор делался на «цивилизаторскую миссию» России; применительно же к Восточной Европе и Прибалтике главный тезис звучал приблизительно так: «Мы-де их освободили, а они, неблагодарные, не захотели жить по-нашему!» При этом почему-то не приходило в голову, что «освобождение», сопровождающееся стремлением принудить «жить по-нашему», называется не столь возвышенно, а совсем иначе. Могут возразить, что вся эта народная империалистическая психология сложилась отнюдь не спонтанно, а внушена массам по идеологическим каналам. Однако если это и справедливо, то лишь отчасти. Как свидетельствует история мощнейшей советской системы массовой пропаганды, она бывала эффективной лишь в тех случаях, когда ей удавалось «оседлать» уже существовавшие в массовом сознании представления. В данном случае она лишь усилила глубинные стереотипы традиционалистского сознания, отражающие настороженную неприязнь ко всякого рода «чужакам» и, манипулируя ими, направляла ее против того «врага», возмущение которым в данный момент больше всего отвечает потребностям текущей политики. Как далеко все это от позиции, заключенной в простых некрасовских строках: «Кто живет без страданий и боли, тот не любит отчизны своей».

Здесь мы выходим на вторую из названных мифологем – на химеру «особого пути».

«Особый путь» - неизбежность или миф?

Миф «особого пути» - извечная российская консервативная утопия. Но не станем сейчас углубляться в историю, а сделаем акцент на его современном

смысле. За последнее десятилетие он занял непомерно большое место как в массовом, так и в «просвещенном» сознании наших соотечественников. Одни – условно назовем их «патриотами» - его лелеют и пестуют. Другие – опять же условно «западники» - относятся к нему как к несчастью или, по меньшей мере, как к плохому климату, в котором им выпало жить. Но и те, и другие трактуют его как нечто фатальное, как якобы нашу непреодолимую судьбу в духе греческих трагедий.

Просвещенные «патриоты» являются не только активными «пользователями» мифа «особости». Многие из них – его редакторы и даже конструкторы. С позволения сказать, «концепция суверенной демократии» имеет отнюдь не народное происхождение, а зародилась в конкретных мозгах и с вполне конкретными целями. То же относится и к идеологеме «ресурсного государства», согласно которой так называемый административный ресурс – отнюдь не преступное отклонение от выстраданных цивилизацией стандартов, даже не просто норма, а единственный эффективный механизм, способный обеспечить функционирование российского государства; нормой объявлены и клиентельные отношения между держателями ресурса и потребителями государственных услуг, а категории «право», «конституция», «демократия» и другие подобные западные выдумки якобы имеют весьма ограниченное отношение к российской реальности, да и в принципе нам мало подходят[18]. Их ведь тоже ввел в оборот и легитимировал как нашу якобы естественную и неизбывную специфику отнюдь не народ, а прикормленные «ученые приказчики», вся «идеология» которых состоит в том, чтобы удачно склеить еще существующие, но отнюдь не доминирующие патриархальные стереотипы массового сознания, и исходящий «сверху» заказ.

Впрочем, оставим тех «профессионалов-особистов», которые впрямую кормятся от мифа «особости». С ними все более или менее понятно, и интерес это представляет не в научном, а совсем в иных аспектах, прежде всего – в плане социальной ответственности таких интеллектуалов-мифологизаторов.

Гораздо больше требует анализа другое – по меньшей мере двойной, на мой взгляд, негативный эффект мифа особости. Во-первых, он, как любая легитимация фатальности, оказывает на людей деморализующее, обезоруживающее воздействие, подавляя в них потенциал инициативности, желания добиваться перемен к лучшему и вообще быть хозяином своей жизни. Во-вторых, он служит лукавым «самооправданием» по модели «ничего нельзя сделать, все предопределено», а на самом деле формой пассивной адаптации к неблагоприятным условиям, способом «выживания» в заданных и якобы непреодолимых обстоятельствах. Что на деле более вредно и опасно – предоставляю судить другим, в том числе нашим высоколобым либералам западникам, лишь разводящим руками и рассуждающим о «неготовности» нашего народа к модерниза-

[18] См., напр.: Кордонский С.Г. Ресурсное государство. М. 2005.

ции, о «чуждости» для него ценностей свободы, демократии, прав человека и уж во всяком случае нежелании за них бороться.

Но, может, наш особый Zonderweg[19] - действительно печальная неизбежность российской исторической судьбы? Помнится, герой одного лесковского рассказа, безуспешно пытавшийся внедрить в неком уезде разные полезные средства улучшения жизни, в конце концов, отчаялся со словами: «Ничто хорошее вам не подходит». К счастью, жизнь не подтверждает этого катастрофического умозаключения. А уж плоды западной цивилизации не просто подходят, а вовсю используются даже самыми крайними и громкими антизападниками. Факты многозначны. И лишь формат статьи останавливает меня от соблазна выстроить по меньшей мере две цепочки эмпирических фактов из российской жизни и истории, одна из которых будет по видимости убедительно «работать» на одну, а вторая – на противоположную позицию. Даже в нашей квазиэлите, при всех ее интеллектуальной ограниченности, идеологию «особого пути» поддерживает меньше половины респондентов, а большая часть разделяет в той или иной мере общецивилизационные ценности[20], хотя в ее составе оказались далеко не самые светлые головы страны. Поэтому, на мой взгляд, приписывать массовому сознанию россиян подчиненность химере «особого пути» означает другими словами высказать *тезис о нашей национальной неполноценности*. И даже самое критическое видение всех трагедий и несуразностей нашей истории и современности не дает оснований для подобного заключения.

Очень убедительно, по-моему, это показал Э.Паин в книге «Распутица»[21]. Ее цель – противопоставить объективное научное знание мифологии культурной предопределенности, а основная идея – показать, что «концепция «особой цивилизации», обусловливающая и «особый путь», и «особую демократию» России – весьма распространенный в мировой практике способ оправдания незыблемости авторитарных режимов»[22]. Что это есть ни что иное как идеологически ангажированная геополитическая спекуляция в интересах определенных групп, а ее навязывание имеет простую и прозаичную цель – исторически «освятить» сложившийся в 2000-е годы политический режим с его «вертикалями» и патернализмом. Автор разделяет мою озабоченность тем, что наши либералы, пусть с иными чувствами, но охотно принимают тот же миф и тем укрепляют его. Как и я, он отдает дань уважения здравому смыслу «простых» людей, движущемуся к пониманию «того, что источником произвола выступают не «те, понаехавшие, инородцы», а свои начальники, приватизировавшие власть в корыстных и, следовательно, антинациональных интересах»[23]. Мы с ним расхо-

[19] Это понятие родилось в Германии в период зарождения национального романтизма, было очень популярно в первой половине XX века, но ныне полностью вышло из «моды» вместе с осознанием того, куда этот особый путь их завел.

[20] См. на этот счет весьма показательные эмпирические данные опроса фонда «Николо М»: Афанасьев М. Российские элиты развития: запрос на новый курс. М. 2009.

[21] Паин Э. Распутица: полемические размышления о предопределенности пути России. М. 2009.

[22] Паин. Указ. Соч. С. 5.

[23] Там же. С. 188.

димся в некоторых моментах: мой образ движения цивилизаций – это колеи с периодическими «стрелками», на которых общество может перейти на иную колею, образ Паина – распутица, т.е. отсутствие дороги и возможность изменения пути в любой момент; по-разному мы трактуем и некоторые методологические моменты, связанные с этническими и иными социально-психологическими стереотипами сознания. Но я полностью разделяю главную авторскую позицию: по-моему, очень конструктивную мысль об отсутствии какого-либо «цивилизационного запрета» на переход России от авторитарного к правовому режиму[24], и представление, что у нас, наряду с подданническим менталитетом, в обществе с давних пор существовала и существует альтернативная, персоноцентристская контркультура, а «вся русская классическая литература… доказательство национальных российских корней концепции гражданского общества… ее защитница и нравственный гарант»[25]. В этом – главном – наши концепции очень близки и взаимно дополнительны. Но гораздо важней, что они нацеливают не назад, не на воспроизводство все тех же архаичных патриархальных моделей взаимодействия народа и властей предержащих, многажды доказавших свою историческую бесперспективность, а в нынешний век и просто разрушительных, грозящих стране и ее гражданам реальным коллапсом, а вперед – на социальную модернизацию.

До сих пор мы как социум были не слишком удачливы в выборе исторических путей. Как все сложится на этот раз? Переживаем ли мы сейчас «хмурое утро», но следующего, обещающего наконец хорошую социальную погоду дня, или же опять с несущественными вариациями повторится все тот же дурной цикл «дня сурка»? Не берусь давать оценку вероятности реализации разных возможностей. Но важно в полной мере осознать собственную ответственность за судьбу страны. История показывает, что в критические периоды не только позиция и желания так называемой политической и прочей «элиты», а воля и поведение обычных людей, рядовых граждан страны, в подлинном, а не в казенно шовинистском смысле поднявшихся с колен и обретших личностное сознание и достоинство может стать решающим фактором, который определит дальнейшую траекторию развития. Если же мы по-прежнему будем упиваться по поводу нашей «уникальности» или сокрушаться из-за нее же (в данном случае модус несуществен), то перспективы наши печальны. История вновь предоставила нам возможность повлиять на будущее своей страны и, кто знает, может, в чем-то и на судьбы других стран. Мы уже много раз упускали свой шанс. А ведь нынешний может оказаться и последним.

[24] Там же. С. 13.
[25] Там же. С. 201.

Общество: концепты, институты и символы

РУССКАЯ ВЛАСТЬ: КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ТИПА

А.Н. Олейник
Институт международных экономических и политических исследований РАН

Питер Моррис[1] утверждает, что «обычные люди зачастую знают о власти больше, чем ученые». Хранилищем этой «народной мудрости» является язык. Однако русский язык в этом смысле, скорее, указывает на наличие проблемы, а не подсказывает ее решение. «В Русском языке... ‘власть’ чаще используется в значении контроля над людьми; власть – это что-то, находящееся над нами, ограничивающее нашу свободу, создающее препятствия и т.д. И наоборот, выражение ‘власть сделать что-то’ представляется несколько неуклюжим»[2]. Данный текст представляет собой попытку разобраться, что же такое «власть по-русски», или Русская власть.

В социальном мире определения и концепты значимы не только с эпистемологической, но и с онтологической точки зрения: они влияют на наше восприятие и поведение. Согласно «теореме Томаса», «если люди воспринимают ситуацию как реальную, это восприятие приобретает реальные последствия»[3]. Концепт власти в данном смысле не является исключением. Более того, можно предположить, что он влияет на повседневные взаимодействия сильнее других концептов, потому что определяемая им власть означает подчинение и преодоление любой индивидуальной воли. Концепт власти обладает и еще одной особенностью: его структурирующее влияние отчасти является результатом осознанных действий самих обладающих властью лиц. Пьер Бурдье[4] говорит в этой связи о символическом насилии как производстве и навязывании «(в осо-

[1] Morris P. Power: A Philosophical Analysis. N.Y.: St. Martin’s Press. 1987. P. 2

[2] Ледяев В. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН. 2000. С. 167.

[3] Merton R. The Thomas Theorem and the Matthew Effect. // Social Forces, vol. 74, №2, 1995. P. 380

[4] Bourdieu P. Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field. // Sociological Theorym, vol. 12, №1, 1994. P. 1

бенности с помощью школы) категорий мышления, которые мы затем начинаем спонтанно использовать в процессе познания окружающего мира».

Задача теоретического осмысления Русской власти сопряжена со значительными трудностями. Исследование специфичных для страны или культуры явлений может строиться в логике двух взаимоисключающих подходов: *emic* или *etic*[5]. При выборе *emic*-подхода исследователь полагается на категории и концепты, используемые изучаемыми им людьми в повседневной жизни, говорит их языком. Русская власть с этой точки зрения уникальна и вряд ли может быть найдена где-либо еще помимо собственно России. *Etic*-подход, наоборот, предполагает использование универсальных, лишенных какой-либо национальной специфики, категорий и принципов. С этой точки зрения исключительно «Русской» власти существовать не может, а то, что так называют, представляет собой лишь особый случай власти как универсальной способности людей навязывать другим людям свою волю.

Исследования России вообще – начиная со споров между западниками и славянофилами – и исследования Русской власти, в частности, характеризуются особенно глубокими различиями между двумя указанными подходами. Юрий Пивоваров, например, утверждает, что «природа Русской власти, ее особость не могут быть поняты вне Русской мысли и наоборот»[6]. Моя задача в данном случае заключается в поиске компромиссного варианта, позволяющего избежать крайностей как *emic*-, так и *etic*-подходов. Этого можно достичь с помощью помещения на первый план ключевых элементов структуры властных отношений и рассмотрения модели власти, характерной для данной страны, например, Русской власти, сквозь призму их различных конфигураций и сочетаний.

Методология конструирования идеальных типов, авторство которой принадлежит Максу Веберу, помогает справиться с задачей восхождения от абстрактного, универсалистского восприятия власти к ее конкретным, специфическим для данной институциональной среды, формам и обратно. Идеальный тип «не является гипотезой, но он направляет процесс их выработки. Он не является описанием реальности, но нацелен на выработку средств, с помощью которых такое описание может быть получено»[7]. После обсуждения в первом разделе наиболее распространенных подходов к анализу Русской власти в терминах патримониализма, идеальный тип власти в ее чистом виде изложен во втором разделе данного текста. Термин «в чистом виде» подчеркивает «первичное» состояние власти: она в нем ничем не ограничена и свободна от иных «примесей», не содержа ничего иного помимо крепости воли. Он включает пять

[5] Hofstede G. and Bond M.H. Hosftede's culture dimensions: An independent validation using Rokeach's value survey // Journal of Cross-Cultural Psychology, vol. 15, №4. 1984. P. 42; Newman, W.L. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston, MA: Allyn and Bacon. 6th edition. 2006. P. 449.

[6] Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН. 2004. С. 55; см. также: Пивоваров Ю., Русская политическая традиция и современность. М.: ИНИОН РАН. 2006. С. 66; Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта. Том I: От прошлого к будущему. Новосибирск: Сибирский хронограф. 2-е издание. 1997. С. 195.

[7] Weber M. 'Objectivity' in Social Science and Social Policy. // Weber M. The Methodology of the Social Sciences, 49-112. Glencoe, Il.: Free Press. Trans. and ed. by Shils E. and Finch H. [1904] 1949. P. 90.

характеристик-атрибутов, что открывает возможности для эмпирических оценок и фальсификации. Основной тезис заключается в том, что Русская власть весьма близка к этому идеальному типу, в отличие от конфигураций властных отношений, наблюдаемых в других институциональных контекстах, в частности – на Западе. В этом смысле Русская власть может рассматриваться в качестве исходной точки эволюции иных форм властных отношений. Здесь предложена лишь логическая реконструкция власти в ее чистом виде: задача исторической реконструкции требует отдельного исследования. Третий раздел содержит эмпирические иллюстрации каждой характеристики Русской власти, полученные с помощью серии углубленных полуструктурированных интервью с лицами, обладающими властью, и экспертами.

Наиболее распространенные концептуализации Русской власти

Говоря о Русской власти, исследователи подчеркивают ее насильственный характер: обладающие такой властью акторы используют преимущественно насильственные техники навязывания воли[8]. Виктор Макаренко делает еще один шаг в этом направлении, утверждая, что любая власть имплицитно или эксплицитно предполагает насилие и террор[9].

Предположение о том, что Русская власть представляет собой квинтэссенцию властных отношений в чистом виде и, следовательно, является необходимой точкой отсчета в любом разговоре о власти, представляется весьма плодотворным. В то же самое время исключительное внимание, уделяемое насильственным техникам навязывания воли, препятствует тщательному рассмотрению других атрибутов власти, делая невозможным восприятие всей ее многомерности.

Другая отличительная черта Русской власти заключается в ее «солипсизме», самодостаточном характере. Те, кто наделен такой властью, обычно игнорируют права и интересы других. В их сознании все выходящее за пределы своих собственных интересов представляется несущественным. Пивоваров[10] противопоставляет в связи с этим властецентричную социальную структуру и социальную структуру с множеством субъектов (и, следовательно, источников воли).

Два русских термина, которые трудно точно перевести на английский и другие западные языки без частичной потери смысла, самовластие и самодержавие, представляются важными средствами в обсуждении самодостаточной власти и ее осмысления (эти категории одновременно являются и продуктами этой власти). Обе категории глубоко укоренены в российской истории и рус-

[8] Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН. 2004. С. 66; Пивоваров Ю., Русская политическая традиция и современность. М.: ИНИОН РАН. 2006. С. 22.

[9] Макаренко В. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы. 1998. С. 85.

[10] Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН. 2004. С. 89.

ской социальной мысли: они производны от слова $\alpha\upsilon\tau\omega\kappa\rho\alpha\tau\omega\rho$, являясь переводом на древнеславянский язык этого титула Византийского императора[11]. В Византии, равно как и в Древней Руси, этот термин означал ни что иное как «свободу от внешнего контроля», в отличие от статуса вассала[12]. С формированием централизованного Московского государства два обсуждаемых термина приобрели новый смысл, а именно стали использоваться для указания неограниченного и самодостаточного характера власти в его границах.

Карамзин совершил, пожалуй, первую попытку четкого разграничения самовластия и самодержавия, отождествляя первое с неограниченной и самодостаточной властью, а второе – с ограниченной, «скромной» властью, подразумевающей обоснование. Он вопрошает «можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной царской власти?»[13]. Однако Карамзин говорит, скорее, об идеале власти, который он хотел бы видеть («Записка» была написана для Александра I), а не о существовавшей в действительности и исторически стабильной модели власти. Русская власть такая, какая она есть, а не такая, которой она должна быть, и по сегодняшний день рождает противоречивые интерпретации и варианты перевода.

Стоит отметить споры по поводу термина «суверенная демократия», введенного в активный оборот Владиславом Сурковым, первым заместителем руководителя Администрации Президента (к слову, этот факт является прекрасной иллюстрацией того, как обладающие властью лица стремятся повлиять на восприятие власти подчиненными на категориальном уровне). Согласно этому определению, суверенная демократия, подобно самодержавию в Древней Руси, предполагает отсутствие зависимости от внешних сил[14]. В полном соответствии с противоречиями, внутренне присущими самодостаточной власти, термин «суверенная демократия» не исключает автократической интерпретации. Так, в своих комментариях по поводу суверенной демократии Леонид Поляков[15] интерпретирует суверенитет как право отмены любых решений, принимаемых другими источниками власти – как находящимися внутри страны, так и за ее пределами. С такой точки зрения, суверенитет означает самодостаточную власть, сконцентрированную в единственном источнике. Неудивительно, что восприятие термина «суверенная демократия» членами российской элиты, по данным ВЦИОМа, оказывается весьма противоречивым. Лишь 40% из них признают его полезность, тогда как 54% относятся к нему скептически[16].

---

[11] Ключевский В. Курс русской истории. В кн.: Сочинения, том 2. М.: Госполитиздат. [1903] 1957. С. 123.

[12] Hedlund, S. Russian Path Dependence. L. and N.Y.: Routledge. 2005. P. 140

[13] Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991. С. 48.

[14] Сурков В. Национализация будущего: параграфы pro суверенную демократию. // Эксперт, 2006. №43.

[15] Поляков Л. «Суверенная демократия»: политический факт как теоретическая предметность. // Общественные науки и современность, 2007. №2. С. 62-63.

[16] Сумма идеологий: мировоззрение и идеология современной российской элиты. М.: Институт общественного проектирования. 2008. С. 47-51.

Попытки разграничения самодержавия и самовластия привносят новые аспекты в дискуссии о Русской власти. В обоих случаях властные отношения опираются на насильственные техники навязывания воли, но самодержавие предполагает обоснование власти ссылкой на высшие принципы, а самовластие означает самодостаточную власть, которая не нуждается в каком-либо ином обосновании помимо воли наделенного властью лица. К сожалению, оба термина обладают существенным недостатком, ограничивающим их полезность для концептуализации Русской власти. Рациональность – в ее особой форме – и техники навязывания воли с помощью рационализации оказываются совершенно чуждыми Русской власти, если она описывается в терминах самовластия и самодержавия. А это выводит за рамки анализа те недавно возникшие формы Русской власти, которые укоренены в структурах постсоветского рынка.

Использование концепции патримониализма помогает решить описанные проблемы. С ее помощью избегают крайностей как *emic*-, так и *etic*-подходов в анализе Русской власти. Использование патримониализма в данном контексте представляет собой редкий случай получения «согласованной картины мира» в непарадигмальных социальных науках – такого описания реальности, с которым могут согласиться большинство наблюдателей[17]. Список исследователей, описывающих Русскую власть в терминах патримониализма, включает представителей столь разных идеологических и теоретических направлений, как Михаил Восленский[18], Ричард Пайпс[19], Михаил Афанасьев[20], Карл Рьявек[21], Юрий Пивоваров[22], Стефан Хедлунд[23] и ряд других. Эти авторы противопоставляют Русскую власть как особую форму патримониальной власти бюрократической администрации. Рациональная бюрократия, вслед за Вебером, ассоциируется с современными формами организации по причине своей «стабильности, четкости, интенсивности и предсказуемости»[24]. В результате получается аналитический континуум с двумя крайними точками: патримониализмом и веберианской бюрократией. В разные периоды времени точная позиция Русской власти на этой оси может изменяться, но она всегда располагается ближе к патримониальному концу[25].

---

[17] Babbie E. and Benaquisto L. Fundamentals of Social Research. Scarborough, ON: Nelson. 2002. P. 9-13, 40.

[18] Voslensky M. Nomenklatura: The Soviet Ruling Class. Garden City, NY: Doubleday & Co. Trans. by Mosbacher E. [1980] 1984. P. 71.

[19] Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа политических исследований. 2001. гл. 4.

[20] Афанасьев М. Н. Клиентелизм и российская государственность. М.: Московский общественный научный фонд. 2-е издание. 2000. С. 13-40.

[21] Ryavec K. Russian Bureaucracy: Power and Pathology. Lanham, ML: Rowman & Littlefield Publishers. 2003. P. 177-78.

[22] Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН. 2004. С. 65.

[23] Hedlund, S. Russian Path Dependence. L. and N.Y.: Routledge. 2005. P. 125.

[24] Weber M. Economy and society: An outline of interpretive sociology. N.-Y. 1968. P. 224.

[25] Yaney G. The Systematization of Russian Government: Social Evolution in the Domestic Administration of Imperial Russia, 1711-1905. Urbana, IL: University of Illinois Press. 1973; Solomon P. Socialist Bureaucracy and the Law-Based State. Paper presented at the conference “Real Socialism and the Second World”. University of Toronto, April 30 – May 1. 2004; Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров. 2005. С. 82; Brym R. and Gimpelson V. The Size, Composition, and Dynamics of the Russian State Bureaucracy in the 1990s. // Slavic Review,

Описывая идеальный тип патримониализма, Вебер отмечает роль традиции в регулировании отношений[26]. Он так же отмечает тесное переплетение власти над людьми и власти над материальными предметами: «офис становится объектом собственности»[27]. Популярность концептуализации Русской власти в терминах патримониализма может быть отнесена как раз на счет незаконченного и гибкого характера этого концепта. В итоге некоторые исследователи делают акцент на феномене власти-собственности, отодвигая на задний план требование традиционного обоснования власти, тогда как другие уделяют исключительное внимание традиционному характеру патримониальной власти, забывая о том, что «политически ориентированный капитализм… вполне совместим с патримониализмом»[28].

Решение задачи эмпирической проверки наличия двух характеристик патримониализма в российском случае сталкивается с рядом проблем. С одной стороны, даже если нормативное понимание самодержавия – как оно должно быть – предполагает традиционное обоснование, традиция слабо ограничивает своеволие правителя, особенно принимая во внимание последние эволюции Русской власти. Традиционное обоснование предполагает, что как те, кто обладает властью, так и те, кто ей подчинен, уважают традиции. То есть «вековые» традиции представляют собой общие верования правителей и подданных. В России традиции носят скорее дискретный, чем непрерывный характер: они во многом зависят от особенностей конкретного периода времени[29]. Например, в 2007 г. лишь 23% россиян по-прежнему воспринимают 7-ое ноября настоящим праздником, несмотря на всю важность, которая придавалась годовщине октябрьской революции в советское время[30].

Патримониализм так же предполагает укорененность власти в институте семьи и его производных: клане, круге друзей и т.д. Его становление «происходит в условиях воспитания уважительного отношения детей к власти главы дома, патриарха»[31]. Устойчивость института семьи в России не является исторической константой: она достигает своего минимума в начале 2000-х годов (таб. 1).

vol. 63, 2004. №1.

[26] Weber M. Economy and society: An outline of interpretive sociology. N.-Y. 1968. P. 1020.

[27] ibid. P. 1033.

[28] ibid. N.-Y. 1968. P. 1091.

[29] Гудков Л., Дубин Б. и Левада Ю. Проблема «элиты» в сегодняшней России: размышления над результатами социологического исследования. М.: Фонд «Либеральная миссия». 2007. С. 5.

[30] Аналитический центр Юрия Левады. Общественное мнение – 2007: ежегодник. М. 2007. С. 264.

[31] Weber M. Economy and society: An outline of interpretive sociology. N.-Y. 1968. P. 1050.

Таблица 1

Коэффициент браков и разводов, на 1 000 человек населения, 1940-2007, отдельные годы

	1940	1950	1960	1970	1980	1990	1992	1995	1996	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Коэффициент браков [1]	6.3	11.6	12.1	10.1	10.6	8.9	7.1	7.3	5.9	6.9	7.1	7.6	6.8	7.5	7.8	8.9
Коэффициент разводов [2]	1.1	0.4	1.3	3	4.2	3.8	4.3	4.5	3.8	5.3	5.9	5.5	4.4	4.2	4.5	4.8
[1] to [2]	5.7	29	9.3	3.4	2.5	2.3	1.7	1.6	1.6	1.3	1.2	1.4	1.5	1.8	1.7	1.9

Источники: ЦСУ СССР 1978, 26; Федеральная служба государственной статистики 2006, 117 и http://www.gks.ru/free_doc/2008/demo/osn/05-06.htm. Данные на 1940, 1950 и 1960 гг. относятся к СССР в целом).

С другой стороны, исключительное внимание, уделяемое власти-собственности, то есть практикам предоставления и защиты прав собственности в обмен на оказание услуг правителю, оставляет в тени вопросы доминирования посредством рынка, характерного для политического капитализма. «Политический капитализм, или политически ориентированный капитализм, означает получение прибыли с помощью государства, посредством контактов с его представителями или под прямой защитой государства»[32]. В практическом плане акцент на власти-собственности означает, что для доказательства присутствия Русской власти в конкретном случае необходимо, чтобы были затронуты вопросы собственности (например, как в «деле ЮКОСа»), тогда как другим ее атрибутам уделяется значительно меньше внимания.

Концептуализация Русской власти в терминах патримониализма так же исключает из анализа исключительно насильственные техники навязывания воли. Патримониализм является особой формой традиционной власти, что предполагает обоснованный характер властных отношений. С этой точки зрения патримониализм имеет ряд общих черт с самодержавием, но не с самовластием. Все эти соображения объясняют потребность в продолжении поисков в области концептуализации Русской власти.

Теоретическая модель: Русская власть как власть в ее чистом виде?

Более удовлетворительный вариант концептуализации должен соответствовать ряду критериев. В-первых, подобно патримониализму и в отличие от самодержавия или самовластия, с его помощью преодолевается противоречие между *emic*- и *etic*-подходами. Здесь утверждается, что идеальный тип Русской власти обладает избирательным сродством с властью в ее чистом виде, то есть с исходным пунктом в эволюции любых иных форм власти. На более продвину-

[32] Swedberg R. Principles of Economic Sociology. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2003. P. 60.

тых этапах логической и исторической эволюции власть может превращаться в авторитет как обоснованную форму властных отношений, может быть помещена в определенные рамки или ограничена тем или иным способом. Но изначально – в смысле ранних этапов ее логической и/или исторической эволюции – власть существует в чистом, «сыром» виде и наблюдения Русской власти помогают определить ее параметры в таком состоянии.

Во-вторых, она должна иметь несколько измерений, каждое из которых описывается с помощью определенного атрибута. Вопросы обоснованного характера власти относятся к одному из таких измерений, техники навязывания воли – к другому. Альтернативный вариант концептуализации Русской власти должен обеспечивать достаточную гибкость и охватывать широкий спектр техник навязывания воли – от насилия в явных формах (например, силы и принуждения как использования угроз применить силу в случае неподчинения) до тех, что укоренены в рыночных структурах. Последние изменения показывают, что Русская власть оказывается вполне совместимой с политическим капитализмом.

Третье измерение, а именно цель, ради которой стремятся к власти (с двумя точками отсчета: власть как самоцель и власть как средство для достижения других целей) может быть добавлено к первым двум, равно как и некоторые другие измерения.

В-третьих, более удовлетворительная концептуализация должна допускать эмпирическую фальсификацию: четкий список атрибутов Русской власти требуется для суждения об ее наличии или отсутствии в конкретном институциональном контексте и в определенный исторический период. Попытки концептуализации власти в ключе, облегчающем ее эмпирическую проверку, продолжают работу Гирта Ховштеде над измерением дистанции власти[33]. Здесь так же используются существующие заделы[34] в области эмпирической оценки степени экстенсивности власти (число подчиненных у лица, обладающего властью) и ее интенсивности (насколько детально наделенное властью лицо может контролировать действия подчиненных в конкретной сфере).

Власть, находящая обоснование в себе самой. Самодостаточный характер Русской власти означает, что она находит обоснование в себе самой, то есть в самом факте реализации власти. Русская власть не проистекает из каких-либо внешних источников. Она имеет исключительно внутренние источники. «Представление [ее] не нуждается в представлении другой вещи»[35].

Следует отметить, что в отличие от ситуаций, в которых обоснование не требуется, например, во взаимоотношениях между лично знакомыми людьми в

[33] Hofstede G. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, CA and L.: SAGE Publications. 1980. P. 99.

[34] Шкаратан О. и колл. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России. М.: ОЛМА Медиа групп. 2009. С. 2.

[35] Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН. 2004. С. 205; см. также: Пивоваров Ю., Фурсов А. Правопреемство и Русская власть. Полития. 1998. № 1.

приватной сфере или в рамках группы объединенных общей рационально выбранной целью людей, здесь вовлеченные во взаимодействия лица ожидают обоснования власти. Идеал самодержавия предполагает обоснование власти. Однако и в этом случае механизм обеспечения обоснования власти отсутствует. Несмотря на потребность в обосновании, власть в ее чистом виде не отвечает этому критерию: правитель либо обосновывает ее самим фактом реализации власти, как в случае самовластия, либо предлагает «фальшивое» обоснование. Ссылки на религиозные и идеологические принципы используются самими обладателями власти лишь в тех случаях, когда их автономия и свобода действий остаются нетронутыми.

Власть как самоцель. Еще одной характеристикой самодостаточной власти является ориентация ее представителей на постоянное воспроизводство и экспансию власти. В глазах правителя главным приоритетом является обеспечение стабильности и непрерывности власти, а не устойчивое социально-экономическое развитие, прирост населения и так далее. Власть воспринимается теми, кто ею обладает, не как средство для достижения этих и других целей, а прежде всего как самоцель. Их интерес тогда заключается в обеспечении как можно более всеохватывающего характера власти, в увеличении количества сфер деятельности под контролем ее представителей, а так же интенсивности контроля в каждой из этих сфер[36]. Власть в ее чистом виде превращается для тех, кто к ней стремится, в высшую, терминальную ценность[37].

Результаты опросов подтверждают распространенность восприятия Русской власти как самоценности как ее обладателями, так и теми, кто ей подчинен. Например, опрос, проведенный среди государственных служащих на муниципальном и региональном уровнях (N=300, 2005), показывает, что «во всех группах опрошенных госчиновников точка зрения о том, что российская бюрократия главным образом заинтересована в обеспечении своего богатства и влияния, является доминирующей»[38]. Простые россияне вполне разделяют такое мнение. Отвечая на вопрос о целях действий государственных служащих, они видят их в удовлетворении государственными служащими своих собственных интересов (55%, N=1,600, октябрь 2007), а не интересов государства (20%) или населения в целом (12%[39]).

Насильственные техники навязывания воли. Власть, находящая обоснование в себе самой, основная цель которой заключается в самовоспроизводстве и экспансии, опирается преимущественно на насильственные техники навязывания воли, ибо эти характеристики исключают использование убеждения и иных техник навязывания воли через обоснование, а так же существенно огра-

[36] Макаренко В. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы. 1998. С. 99.; см. также: Voslensky M. Nomenklatura: The Soviet Ruling Class. Garden City, NY: Doubleday & Co. Trans. by Mosbacher E. [1980] 1984. P. 170.

[37] Пивоваров Ю. Русская политическая традиция и современность. М.: ИНИОН РАН. 2006. С. 92.

[38] Бызов Л. Бюрократия при В. Путине – субъект развития или его тормоз? //Социс. 2006. № 3. С. 26; см. также: Тихонова Н. Бюрократия: часть общества или его контрагент? // Социс, 2006. №3. С. 6.

[39] Аналитический центр Юрия Левады. Общественное мнение – 2007: ежегодник. М. 2007. С. 24.

ничивают область применения техник, основанных на рационализации. Чем «чище» власть, тем сильнее ее связь с насилием. В этой связи при упоминании насилия «речь идет не о властных технологиях, а о самом характере власти»[40].

Лица, обладающие властью в ее чистом виде, предпочитают негативные санкции позитивным как на словах, так и на деле. Формулируя советы самодержцу, Карамзин особенно подчеркивает достоинства опоры на страх: «страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных»[41]. Члены советской властвующей элиты имели аналогичные правила: они «предпочитали принуждение использованию позитивных стимулов, делая ставку на силовую пропаганду, а не на преимущества высоких зарплат»[42]. С тех пор если ситуация и изменилась, то несущественно: контент-анализ 442-х газетных статей, посвященных деятельности региональных лидеров в двух областях России и Казахстана в конце 1990-х – начале 2000-х годов показывает, что негативные санкции упоминаются два раза чаще позитивных[43].

Власть в ее чистом виде совместима с широким определением насилия как крепости воли, способной сокрушить крепость другой воли[44] и, следовательно, с насильственными техниками навязывания воли. Наряду с физическим, насилие может принимать ряд других форм: символическое, структурное, словесное и так далее. Символическое насилие сводится к сокрушению верований и ценностей «через повсеместное навязывание и культивирование… доминантной культуры»[45]. Структурное насилие означает сокрушение интересов и рационально выбранных планов посредством сознательного ограничения набора доступных стратегий и изменения матрицы выигрышей. В итоге действительные интересы акторов, подчиненных власти, замещаются теми, что производны от предпочтений обладающих властью лиц[46]. Эта множественность форм насилия объясняет гибкость Русской власти и ее способность адаптироваться к широкому спектру институциональных контекстов – от национальной экономики как хозяйства правителя до командной экономики и постсоветского рынка. С этой точки зрения, власть-собственность является ничем иным, как особой насильственной техникой навязывания воли, включающей элементы физической

[40] Пивоваров Ю. Русская политическая традиция и современность. М.: ИНИОН РАН. 2006. С. 22; см. также: Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН. 2004. С. 66.

[41] Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991. С. 101.

[42] Voslensky M. Nomenklatura: The Soviet Ruling Class. Garden City, NY: Doubleday & Co. Trans. by Mosbacher E. [1980] 1984. P. 154.

[43] Ермаков, С.В., Ким И.Е., Михайлова Т.В., Осетрова Е.В. и Суховольский С. В. *Власть в Русской языковой и этнической картине мира*. М.: Знак. 2004. С. 223.

[44] Это определение производно от тезиса Ханны Арендт (Arendt H. On violence. N.Y.: Harcourt, Brace & World. 1969. P. 46) о том, что «феноменологически, [насилие] сродни крепости, ибо применения насилия, подобно другим орудиям, направлены на умножение естественной крепости вплоть до полного ее замещения».

[45] Bourdieu P. Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field. //Sociological Theorym, vol. 12, 1994. №1. P. 6.

[46] Lukes S. Power: A Radical View. Houndmills, Hampshire and N.Y.: Palgrave Macmillan. 2nd edition. [1974] 2005. P. 27-28; Dowding K. Power. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 1996. P. 5-8.

(права собственности обеспечивают физический контроль над вещами[47], в том числе через предоставление доступа к ним в обмен на оказание услуг правителю) и структурного (так как происходит искажение экономических интересов) насилия.

Крайняя асимметричность в распределении прав и обязанностей. Любая власть предполагает асимметричность во взаимоотношениях между тем, кто ею обладает и тем, кто ей подчиняется: первый командует и управляет, тогда как второй подчиняется. Однако самообоснованный характер власти в ее чистом виде и ее опора на насилие доводят диспропорции в распределении прав и обязанностей между властителями и подчиненными до крайних форм. Вообще говоря, язык прав и обязанностей представляется чуждым в контексте власти в ее чистом виде: права сконцентрированы на одном полюсе взаимоотношений, а обязанности – на другом. Вместо свобод, подчиненные власти лица имеют долг и обязанности, что, по мнению Пивоварова[48], и объясняет «тягловый характер» российской социальной системы.

Крайняя асимметричность в распределении прав и обязанностей позволяет ряду авторов видеть в Русской власти случай крайней монополизации принятия решений: лишь один или очень немногие субъекты принимают решения и проявляют инициативу. Например, О.Крыштановская формулирует следующий «железный закон»: «власть может быть только одна, и эта власть – верховная»[49].

Перенесение акцента с монополистической природы власти на степень ее асимметрии имеет ряд преимуществ. С одной стороны, монополия принятия решений означает сведение к нулю элементов рациональности в действиях тех, кто подчинен власти в ее чистом виде, и исключает тем самым использование ряда техник навязывания воли, укорененных в рыночных структурах. Совершенная монополия принятия решений возможна, но лучше определять власть в ее чистом виде как бесконечную регрессию к такой ситуации. С другой стороны, перенесение акцента на вопрос о степени асимметричности облегчает задачу выработки количественных – относительных – измерений Русской власти, в отличие от номинальных, позволяющих судить только об ее наличии или отсутствии.

Отсутствие обратных связей. Крайняя асимметрия в распределении прав и обязанностей, помноженная на самообоснованный характер власти в ее чистом виде делает излишними обратные связи во взаимоотношениях между властителями и подданными. Обратные связи важны тогда, когда власть нахо-

[47] Redmond P. W. and Shears P. General Principles of English Law. L.: Financial Times / Prentice Hall. 7th edition. [1964] 1993. P. 271-272.

[48] Пивоваров Ю. Русская политическая традиция и современность. М.: ИНИОН РАН. 2006. С. 21

[49] Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров. 2005. С. 107; см. также: Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН. 2004. С. 148. Холмс Л. Социальная история России: 1917-1941. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та. 1994. С. 83; Voslensky M. Nomenklatura: The Soviet Ruling Class. Garden City, NY: Doubleday & Co. Trans. by Mosbacher E. [1980] 1984. P. 104.

дит свое обоснование во внешних источниках, в особенности в общественной поддержке, как в случае плебисцитарной власти.

Лица, наделенные властью, могут позволить подданным выражение личных мнений, но любые попытки объединения последними своих усилий для увеличения шансов быть услышанными рассматриваются как вызов власти. Русская власть допускает лишь индивидуальные жалобы в качестве единственно приемлемой формы обратных связей[50]: они даже помогают верховным властителям лучше контролировать действия своих представителей «на местах». Что же касается коллективных жалоб и петиций, то они строго запрещены[51].

Отсутствие обратных связей приводит к становлению особой социальной структуры, которая может быть уподоблена песочным часам: «узкая перемычка отделяет индивида от государства, социальная жизнь концентрируется в верхней и нижней полусферах часов»[52]. Структура в форме песочных часов означает, что связи между теми, кто находится «наверху», правителями, и теми, кто находится «внизу», подданными, чрезвычайно слабы или просто отсутствуют. Опрос, одновременно проведенный с помощью двух выборок – государственных служащих и простых россиян – подтверждает существование пропасти между ними: «чиновники в сегодняшней России являются особой социальной группой, их обособление от остального населения очевидно не только для простых россиян, но и для них самих»[53].

Предлагаемая концептуализация Русской власти с помощью пяти атрибутов не означает отрицания ценности предыдущих попыток. Наоборот, известные подходы в ней используется в качестве элементов более всеохватывающей, существующей в нескольких измерениях, картины. Так, насильственная природа Русской власти оказывается напрямую связанной с ее другими атрибутами, такими как самообоснованный характер и отсутствие обратных связей. Аналогичным образом, власть-собственность как элемент патримониализма представляет собой одну из насильственных техник навязывания воли. Логические связи между пятью элементами Русской власти показаны на рис. 1.

---

[50] Кирдина С. Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН. 2-е издание. 2000, 2001. С. 129.

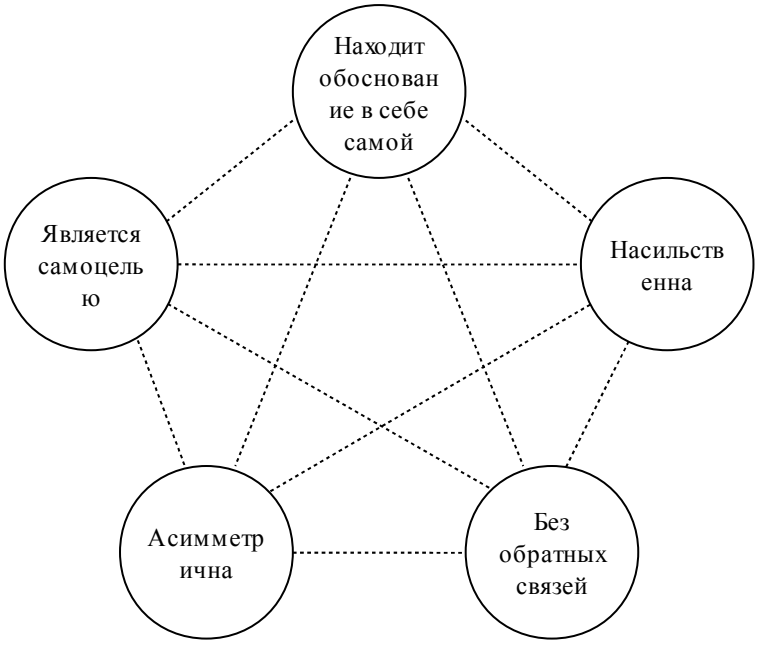
[51] Voslensky M. Nomenklatura: The Soviet Ruling Class. Garden City, NY: Doubleday & Co. Trans. by Mosbacher E. [1980] 1984. P. 173.

[52] Rose R., Mishler W. and Haerpfer Ch. Getting Real: Social Capital in Post-Communist Societies. // Studies in Public Policy. 1997. № 278. P. 9.

[53] Бызов Л. Бюрократия при В. Путине – субъект развития или его тормоз? // Социс. 2006. № 3. С. 27.

Рисунок 1

Пять характеристик Русской власти



При измерении пяти характеристик на номинальном уровне, то есть в терминах их присутствия или отсутствия, предлагаемая аналитическая модель описывает модель власти, наблюдаемую на протяжении всей русской истории, включая самый последний исторический отрезок. Однако при использовании относительных измерений, например, степени асимметричности властных отношений, появляется возможность улавливания более тонких нюансов в эволюции Русской власти. В зависимости от конкретного периода времени некоторые характеристики власти приобретают более интенсивные формы, а другие – менее интенсивные. В частности, опора на физическое насилие (и институт власти-собственности) вряд ли может быть рассмотрена как константа.

Эмпирическая иллюстрация: Русская власть глазами тех, кто ею обладает

Предложенное аналитическое описание власти в ее чистом виде позволяет получить список атрибутов, пригодных для эмпирической проверки. Стратегия эмпирической фальсификации заключается в выделении элементов публичного дискурса, которые могут быть интерпретированы с помощью пяти атрибутов Русской власти. Здесь может помочь контент-анализ транскриптов экспертных и специализированных интервью. Анализ исходит из допущения, что верования индивидов относительно власти отражают ее действительную природу. Это достаточно проблематичное допущение. Во-первых, сказанное на публике, в том

числе в рамках интервью, не обязательно соответствует тому, что люди говорят и делают в действительности. Тенденция к двоемыслию, или диссонансу между сказанным на публике и реальным поведением, принимает особенно явные формы в России[54]. Обычные средства борьбы с двоемыслием, такие как использование косвенных вопросов, техники кодирования латентных смыслов, т.е. чтения текста «между строк» и выявления скрытым образом присутствующих идей, помещение респондента в сконструированные искусственным образом «критические ситуации», в которых нет единственного социально одобряемого варианта обоснования поведения[55], далеко не совершенны.

Во-вторых, акцент на верованиях людей в отношении власти может привести в следующую ловушку: сами эти верования иногда являются, в свою очередь, продуктом властных отношений[56]. Здесь следует указать значимый контраргумент. Уже упомянутая теорема Томаса утверждает, что субъективное восприятие ситуации людьми влияет на ее развитие.

Для контент-анализа были использованы результаты двух серий интервью с государственными служащими и экспертами. Серия А включает транскрипты 64-х полуструктурированных качественных интервью, проведенных в 2006-2008 гг. с экспертами и государственными служащими, занимающими должности начальника отдела и директора департамента на региональном и федеральном уровнях[57]. Серия В состоит из транскриптов 43 неструктурированных качественных интервью, проведенных в 2005-2006 годах с экспертами, бизнесменами и государственными служащими, занимающими должности директора департамента и заместителя министра на федеральном уровне[58].

Качественный контент-анализ был проведен с использованием программы *QDA Miner* (версия 2.0.8), разработанной фирмой *Provalis Research* и списка кодов, соответствующих пяти атрибутам власти в ее чистом виде. В целях детализации код «Насильственные техники навязывания воли» подразделен на

---

[54] Shlapentokh V. Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Stalin Russia. N.Y.: Oxford University Press. 1989. С. 98; Хлопин А. Феномен «двоемыслия»: Запад и Россия (особенности ролевого поведения). // Общественные науки и современность, 1994. №3.

[55] Oleinik A., Aparina N., Clйment C., Gvozdeva E., Kashturov A. and Minin M. L'analyse socio-йconomique du blanchiment: L'exemple des capitaux illicites russes en France et dans d'autres pays occidentaux. Saint-Denis-la-Plaine: l'INHES. 2005.

[56] Beetham David. The Legitimation of Power. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International. 1991. P. 9.

[57] Исследование «Особенности власти в постсоветском контексте: теоретические соображения и эмпирические исследования бюрократии» был осуществлен благодаря поддержке Канадского совета по социальным и гуманитарным наукам (грант № 820-2005-0004). Группа исследователей состояла из к.э.н. Н.Апариной (Кемеровский государственный университет), к. п. н. С.Бирюкова (Кемеровский государственный университет), д-ра К.Клеман (Институт социологии РАН), проф. О.Гаман-Голутвиной (МГИМО), проф. С.Глинкиной (Институт экономики РАН), Е.Гвоздева (Université Libre de Bruxelles), к. п. н. Г.Медведевой (Институт социологии РАН, Санкт-Петербург) и автора в качестве участника и руководителя.

[58] Исследование «Постсоветская элита» было осуществлено сотрудниками Левада-Центра при финансовой поддержке фонда «Либеральная миссия». Оно завершилось публикацией отдельной книги (Гудков Л., Дубин Б. и Левада Ю. Проблема «элиты» в сегодняшней России: размышления над результатами социологического исследования. М.: Фонд «Либеральная миссия». 2007). Автор благодарен проф. Л.Гудкову и Н.Зоркой за предоставленные для вторичного анализа транскрипты интервью.

шесть: «Сила», «Принуждение», «Манипуляция», «Доминирование в результате сочетания интересов», «Структурный перекос» и «Символическое насилие». Для облегчения сравнений в список кодов были включены два описывающих ненасильственные техники навязывания воли, «Позитивные стимулы» и «Легитимация».

Приложение содержит краткое описание цитируемых респондентов. Надежность (согласованность в кодировании) и валидность (соответствие кодов латентным переменным, то есть атрибутам власти) результатов качественного кодирования были оценены с помощью оригинальной модели путей[59].

Власть, находящая обоснование в себе самой. Квинтэссенцией власти, находящей обоснование в самой себе, вероятно можно считать принцип, согласно которому обладающий властью всегда прав. Три собеседника независимо друг от друга и спонтанным образом упомянули его в своей речи. «Есть правила игры в бюрократию: я начальник – ты дурак» (23В). Приказы и указания вместо обоснования отсылкой к высшим принципам или просто здравому смыслу, просто отдаются и не обсуждаются. «Понимаешь, что существует глупость задания, никчемность, а делать надо. Это убивает, но в то же время понимаешь, что просто с этим нужно бороться. Чтоб с этим бороться нужно много сил, здоровья и ума, конечно» (7А).

Власть как самоцель. Решения и действия лиц, обладающих Русской властью, направлены прежде всего на ее укрепление и воспроизводство. Прочие экономические, политические и социальные цели имеют вторичный характер. «[Главная цель] для аппарата – это самосохранение и разрастание» (58А). «Власть – это наркотик… Могу вспомнить немало примеров, когда люди просто спивались, ломались, когда уходили из власти» (63А).

Крайняя асимметричность в распределении прав и обязанностей. Представляется удачной следующая метафора, предложенная Восленским [Voslensky 1984]: обладающие Русской властью всегда чувствуют себя в водительском сиденье. Они решают куда ехать, с какой скоростью и нарушать ли при этом правила. Обычные россияне и представители бизнеса, напротив, чувствуют себя пассажирами, сидящими на заднем сиденье – их благосостояние и безопасность целиком зависит от внешних факторов. «Человек сегодня бессилен... Вот сейчас начало года: я получаю из налогового ведомства бумаги – за дом, за квартиру, за землю заплатить. Почему такие цифры? Причем бумаги приходят одна, потом вторая, с поправками, а потом начинаются пени, и почта может месяц доставлять их» (33А).

Эта цитата заслуживает особого внимания, так как она показывает радикальное изменение в восприятии ситуации, происходящее при перемещении с водительского сиденья на заднее пассажирское место (перед уходом на пенсию собеседник входил в круг советской и российской номенклатуры).

[59] Олейник А. Триангуляция в контент-анализе: вопросы методологии и эмпирическая проверка. // Социс, 2009. №2.

Отсутствие обратных связей. Многие собеседники подтверждают верность метафоры общества в форме песочных часов, вероятно, даже не зная об ее существовании. Информационные потоки даже внутри государственного аппарата носят преимущественно односторонний, ориентированный сверху вниз, характер. «В России, к сожалению, государство совершенно отделено от общества, на мой взгляд. Мне кажется, государство, которое сегодня представляет президент, правительство, там региональные какие-то власти, не все там поголовно, но они слишком далеки от общества, очень далеки» (43А).

Насильственные техники навязывания воли. Обсуждение насильственных техник навязывания воли начинается с силы и заканчивается структурным и символическим насилием, переходя от наиболее к менее явным формам насилия.

Сила. Она представляет собой насилие в наиболее явной форме. Ее использование связано с издержками, ибо она требует непрерывного приложения. Только властители, не ограниченные в ресурсах, могут позволить себе систематически применять силу, что существенно ограничивает масштабы ее практического использования (наблюдается зависимость между объемом нефтяной и газовой ренты, получаемой российским государством, и его готовностью прибегать к наказанию лишением свободы[60]. «Если он кому-то мешает, то на него много чего можно повесить и усадить в тюрьму» (12А).

Принуждение. Использование принуждения позволяет обойтись меньшими ресурсами: сила является элементом расчета всех участников взаимодействия, но применяется лишь в крайнем случае. Это может быть причиной, по которой собеседники чаще упоминают принуждение, а не силу (два раза чаще по данным для серии А, см. таб. 2).

«Если человека возьмут за макушку и дадут хорошенько палкой, он становится удивительно покладистым и добрым существом. И самое главное, чтобы средние политики, поняли, что их не пугают виртуально некоей угрозой, а им реально показывают, что с ними может быть» (38В)

Манипуляция. Осуществляется с помощью сознательного искажения информации, доступной подчиненному. Широкие масштабы ее применения позволяют некоторым исследователям говорить о «виртуальной политике» как субституте реальной в российском случае[61]. «Просто информация, которую выдают в прессу, даже если это какая-то супероткрытая структура, дозируется» (19А)

Доминирование в результате сочетания интересов. Эта техника заключается в сознательном ограничении вариантов выбора стремящимися действовать рационально акторов. Доминирование в результате сочетания интересов производно от несовершенств и искажений рыночных структур и, следовательно,

[60] Oleinik A. Deux modиles de pouvoir: une иtude empirique dans le milieu carcиral russe. Revue d'иtudes comparatives Est-Ouest 39 (4): 185-212. 2008. P. 202-204.

[61] Wilson A. Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World. New Haven, CT and L.: Yale University Press. 2005.

представляется совместимым с условиями постсоветского рынка. Для того, чтобы фрагменту текста был присвоен соответствующий код, упоминаемые в нем искажения рынка должны быть результатом осознанных действий обладающих властью лиц. В обеих сериях интервью соответствующий код встречается чаще остальных. «Поэтому-то бизнес к нам постоянно и обращается: помогите, у нас фирма губернаторской дочки не пускает нас на рынок» (19А).

Структурное насилие. Несмотря на схожесть с доминированием в результате сочетания интересов, структурное насилие обладает рядом присущих только ему черт. Так, оно проявляется в случаях ограничения доступных подчиненному вариантов выбора существующими в широком смысле этого слова правилами игры (в предыдущем случае речь идет о более узко понимаемой рыночной игре). «Тут выбор очень простой. Или ты хочешь быть внутри и тогда соглашаешься с теми правилами, которые там есть, и не критикуешь начальника. Если ты хочешь критиковать – выходи и встань сбоку, критикуй. Как в Англии, есть оппозиция Ее Величества, но нет оппозиции Ее Величеству» (23В).

Символическое насилие. Наконец, символическое насилие подразумевает «идеологическую работу» столь распространенную в советское время[62]. В постсоветский период символическое насилие принимает целый ряд форм – от поисков «национальной идеи» до нейролингвистического программирования. «Парадокс заключается в том, что при применении на подсознательном уровне метода зомбирования… рациональные объяснения не работают» (30В).

Ненасильственные техники навязывания воли. Эти техники не вписываются в модель власти в ее чистом виде. Не удивительно, что респонденты упоминают их относительно редко. Например, соотношение кодов, относящихся к насильственным техникам, и кодов, относящихся к ненасильственным техникам, в серии А составляет 4 к 1 (660 к 175), в серии В – 7 к 1 (413 к 55).

Позитивные стимулы. Позитивные стимулы сводятся к побуждению: «здесь источником власти является *вознаграждение,* которое получает объект от субъекта в обмен на подчинение»[63]. «У государства есть ресурс стимулировать определенные социальные группы к тем или иным действиям, например, егулярное повышение пенсий, повышение заработной платы – пусть оно даже инфляционное» (17В).

Легитимация. В практическом плане легитимация власти требует использования убеждения, обращения к разумным аргументам. «А представляет В аргументы, призывы и увещевания, и В, руководствуясь своими ценностями и целями, оценивает их и может соответствующим образом скорректировать свое поведение»[64]. «Важно иметь аргументированную позицию, и она часто принимается» (13А).

---

[62] Shlapentokh V. Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Stalin Russia. N.Y.: Oxford University Press. 1989. P. 106-108.

[63] Ледяев В. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН. 2000. С. 286.

[64] Wrong D. Power: Its Forms, Bases and Uses. N.Y.: Harper Colophon Books. 1980. P. 32.

Соотношение кодов. Силу связей между различными атрибутами власти в ее чистом виде можно оценить посредством анализа совместной встречаемости (co-occurrence) кодов. В обеих сериях интервью код «Насильственные техники» является центроидом, т.е. кодом с максимальной степенью сходства с другими кодами[65]. Он встречается в текстах транскриптов совместно с другими кодами чаще, чем другие коды.

Коды «Власть как самоцель» и «Крайняя асимметричность» расположены ближе к коду «Насильственные техники», чем коды «Отсутствие обратных связей» и «Власть, находящая обоснование в себе самой».

Полученные результаты подтверждают, что насилие действительно можно считать альфой и омегой власти в ее чистом виде. Опора на насилие подчеркивает неинструментальный характер власти в ее чистом виде и ее крайне асимметричный характер. Крайне асимметричные отношения между обладателем власти, права которого не влекут за собой никаких обязанностей, и подчиненным лицом, имеющим только обязанности, но не права, так же подкрепляют тенденцию к опоре на насилие. Так как наделенное властью лицо не признает никаких обязанностей, ничто не препятствует использованию им насилия. Лишенный каких-либо прав подчиненный чувствует себя отчужденным и отказывается от «сотрудничества», заслуживая тем самым в глазах властителя не пряник, а кнут.

Заключение

Предложенная концептуализация Русской власти в терминах власти в ее чистом виде находится на полпути между *emic*- и *etic*-подходами. Предпочтительность выбора промежуточного, «срединного», подхода к анализу Русской власти может быть объяснена рядом причин. Во-первых, он помогает частично снять противоречия между интеллектуальными традициями западников и славянофилов.

В-вторых, промежуточная аналитическая позиция позволяет исследователю находиться как «внутри», так и «снаружи» предмета его анализа[66]. Этот принцип приобретает особый смысл при изучении власти. Дэвид Битхэм[67]

---

[65] Степень сходства измеряется с помощью коэффициента Жаккарда в процессе анализа совместной встречаемости кодов. $SIM_{Jaccard}\left(code_i, code_j\right) = \dfrac{\sum_{k=1}^{t}\left(text_{ik} \times text_{jk}\right)}{\sum_{k=1}^{t} text_{ik} + \sum_{k=1}^{t} text_{jk} - \sum_{k=1}^{t}\left(text_{ik} \times text_{jk}\right)}$, где $text_{ik}$ означает текст, содержащий код $code_i$, $text_{ik} \times text_{jk}$ – совместную встречаемость двух кодов в одном и том же тексте, t – общее число текстов.

[66] Newman, W.L. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston, MA: Allyn and Bacon. 6th edition. 2006. P. vii; Touraine A. Comment sortir du libйralisme. Paris: Fayard.1999. P. 160.

[67] Beetham David. The Legitimation of Power. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International. 1991. P. 110.

утверждает, что «понять процесс легитимизации власти, его проблемные стороны и собственно потерю властью своего легитимного характера можно лишь с позиции, находящейся вне данных властных отношений». Однако роль совершенного аутсайдера снижает стимулы к пониманию распространенной модели власти и ее критике.

Аналитическая модель власти в ее чистом виде может быть усовершенствована в следующих направлениях. Прежде всего, крайне асимметричный характер власти здесь рассматривался в рамках одной сферы деятельности, например, политики. Однако асимметрия власти в ее чистом виде означает не только ее интенсивность (например, все политические права присвоены обладателями власти), но и ее всеохватываемость (например, обладатели политической власти получают так же власть экономическую и социальную). Количественной мерой всеохватываемости могло бы быть число сфер деятельности, права и привилегии, в которых монополизированы и присвоены членами властвующей элиты[68].

Далее, представляется перспективным различить властные отношения, структурирующие взаимодействия на макро- (публичная сфера) и микро- (внутри организации, семьи) уровнях. Воспроизводит ли себя Русская власть не только на макроуровне, как убеждают цитируемые интервью с государственными служащими и экспертами, но и в повседневных взаимодействиях в кругу семьи, в школе, в университете, в коммерческой организации? Если так, то это позволит получить дополнительное объяснение стабильности Русской власти во времени.

Вопрос о механизмах передачи конкретной модели власти заслуживает особого внимания в дальнейших исследованиях. Бурдье[69] видит его в габитусе как интериоризированных диспозициях и образцах поведения. Социологи, ориентированные на классическую традицию, делают акцент на механизмах, обеспечивающих передачу ценностей и норм между поколениями, равно как и на роли групповых норм в социализации членов властвующей элиты[70]. Все эти объяснения страдают от излишнего детерминизма, что требует продолжения исследований.

---

[68] В этом смысле власть в ее чистом виде характерна для «простых» обществ в отличие от «сложных» и «модерных». В «сложном» обществе каждая функциональная подсистема – рынок, политика, наука и т.д. – имеет свою собственную иерархию, критерии распределения благ и соответствующие критерии распределения прав и обязательств (Walzer M. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. N.Y.: Basic Books. 1983; Boltanski L. and Thévenot L. De la justification: les йconomies de la grandeur. Paris: Gallimard. 1991). Лицо, обладающее минимумом прав в одной из сфер, вполне может достичь высот в другой сфере. В «простом» обществе права распределены в пользу тех же лиц во всех сферах.

[69] Bourdieu P. Le sens pratique. Paris: Ed. de Minuit. 1980.

[70] Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров. 2005. С. 264-279; Ryavec K. Russian Bureaucracy: Power and Pathology. Lanham, ML: Rowman & Littlefield Publishers. 2003. P. 114.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аналитический центр Юрия Левады. 2007. *Общественное мнение – 2007: ежегодник*. М.
2. Афанасьев М. Н. 2000. *Клиентелизм и российская государственность*. М.: Московский общественный научный фонд. 2-е издание.
3. Ахиезер А. 1997. *Россия: критика исторического опыта.* Том I: *От прошлого к будущему.* Новосибирск: Сибирский хронограф. 2-е издание.
4. Бызов Л. 2006. Бюрократия при В. Путине – субъект развития или его тормоз? – *Социс.* № 3.
5. Гудков Л., Дубин Б. и Левада Ю. 2007. *Проблема «элиты» в сегодняшней России: размышления над результатами социологического исследования*. М.: Фонд «Либеральная миссия».
6. Ермаков, С.В., Ким И.Е., Михайлова Т.В., Осетрова Е.В. и Суховольский С. В. 2004. *Власть в Русской языковой и этнической картине мира*. М.: Знак.
7. Ильенков Э. 1960. *Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса*. М.: Издательство АН СССР.
8. Кирдина С. 2000, 2001. *Институциональные матрицы и развитие России*. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН. 2-е издание.
9. Ключевский В. [1903] 1957. Курс русской истории. В кн.: *Сочинения*, том 2. М.: Госполитиздат.
10. Крыштановская О. 2005. *Анатомия российской элиты*. М.: Захаров.
11. Ледяев В. 2000. *Власть: концептуальный анализ*. М.: РОССПЭН.
12. Макаренко В. 1998. *Русская власть: теоретико-социологические проблемы*. Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы.
13. Олейник А. 2009. Триангуляция в контент-анализе: вопросы методологии и эмпирическая проверка. – *Социс,* №2.
14. Пайпс Р. 2001. *Собственность и свобода*. М.: Московская школа политических исследований.
15. Пивоваров Ю. 2004. *Полная гибель всерьез*. М.: РОССПЭН.
16. Пивоваров Ю., 2006. *Русская политическая традиция и современность*. М.: ИНИОН РАН.
17. Пивоваров Ю., Фурсов А. 1998. Правопреемство и Русская власть. *Полития.* № 1.
18. Поляков Л. 2007. «Суверенная демократия»: политический факт как теоретическая предметность. – *Общественные науки и современность,* №2.
19. *Сумма идеологий: мировоззрение и идеология современной российской элиты*. 2008. М.: Институт общественного проектирования.
20. Сурков В. 2006. Национализация будущего: параграфы pro суверенную демократию. – *Эксперт*, №43.

21. Тихонова Н. 2006. Бюрократия: часть общества или его контрагент? – *Социс,* №3.
22. Тронев К. 1972. К вопросу об абстрактном и конкретном в политической экономии. – *Вестник МГУ*, *серия «Экономика»*, №4.
23. Федеральная служба государственной статистики. 2006. *Российский статистический ежегодник 2006*. М.
24. Хлопин А. 1994. Феномен «двоемыслия»: Запад и Россия (особенности ролевого поведения). – *Общественные науки и современность*, №3.
25. Холмс Л. 1994. *Социальная история России: 1917-1941*. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та.
26. Центральное статистическое управление СССР. 1977. *Народное хозяйство СССР в 1977 г.* М.: Статистика.
27. Шкаратан О. и колл. 2009. *Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России*. М.: ОЛМА Медиа групп.
28. Яковлев А. 1988. *Социология экономической преступности*. М.: Наука.
29. Arendt H. 1969. *On violence*. N.Y.: Harcourt, Brace & World.
30. Babbie E. and Benaquisto L. 2002. *Fundamentals of Social Research*. Scarborough, ON: Nelson.
31. Beetham David. 1991. *The Legitimation of Power*. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International.
32. Boltanski L. and Thйvenot L. 1991. *De la justification: les йconomies de la grandeur*. Paris: Gallimard.
33. Bourdieu P. 1994. Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field. – *Sociological Theorym,* vol. 12, №1.
34. Bourdieu P. 1980. *Le sens pratique*. Paris: Ed. de Minuit.
35. Brym R. and Gimpelson V. 2004. The Size, Composition, and Dynamics of the Russian State Bureaucracy in the 1990s. – *Slavic Review*, vol. 63, №1.
36. Dowding K. 1996. *Power*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
37. Hedlund, S. 2005. *Russian Path Dependence*. L. and N.Y.: Routledge.
38. Hofstede G. 1980. *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Beverly Hills, CA and L.: SAGE Publications.
39. Hofstede G. and Bond M.H. 1984. Hosftede's culture dimensions: An independent validation using Rokeach's value survey. – *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 15, №4.
40. Lukes S. [1974] 2005. *Power: A Radical View*. Houndmills, Hampshire and N.Y.: Palgrave Macmillan. 2nd edition.
41. Merton R. 1995. The Thomas Theorem and the Matthew Effect. – *Social Forces*, vol. 74, №2.
42. Morris P. 1987. *Power: A Philosophical Analysis*. N.Y.: St. Martin's Press.
43. Newman, W.L. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston, MA: Allyn and Bacon. 6th edition.

44. Oleinik A. 2008. Deux modиles de pouvoir: une йtude empirique dans le milieu carcйral russe. *Revue d'йtudes comparatives Est-Ouest* 39 (4): 185-212.
45. Oleinik A., Aparina N., Clйment C., Gvozdeva E., Kashturov A. and Minin M. 2005. *L'analyse socio-йconomique du blanchiment: L'exemple des capitaux illicites russes en France et dans d'autres pays occidentaux*. Saint-Denis-la-Plaine: l'INHES.
46. Redmond P. W. and Shears P. [1964] 1993. *General Principles of English Law*. L.: Financial Times / Prentice Hall. 7th edition.
47. Rose R., Mishler W. and Haerpfer Ch. 1997. Getting Real: Social Capital in Post-Communist Societies. – *Studies in Public Policy* №278.
48. Ryavec K. 2003. *Russian Bureaucracy: Power and Pathology*. Lanham, ML: Rowman & Littlefield Publishers.
49. Shlapentokh V. 1989. *Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Stalin Russia*. N.Y.: Oxford University Press.
50. Solomon P. 2004. *Socialist Bureaucracy and the Law-Based State*. Paper presented at the conference "Real Socialism and the Second World". University of Toronto, April 30 – May 1.
51. Swedberg R. 2003. *Principles of Economic Sociology*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
52. Touraine A. 1999. *Comment sortir du libйralisme*. Paris: Fayard.
53. Voslensky M. [1980] 1984. *Nomenklatura: The Soviet Ruling Class*. Garden City, NY: Doubleday & Co. Trans. by Mosbacher E.
54. Walzer M. 1983. *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*. N.Y.: Basic Books.
55. Weber M. [1904] 1949. 'Objectivity' in Social Science and Social Policy. – Weber M. *The Methodology of the Social Sciences*, 49-112. Glencoe, Il.: Free Press. Trans. and ed. by Shils E. and Finch H.
56. Wilson A. 2005. *Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World*. New Haven, CT and L.: Yale University Press.
57. World Values Survey Association, the. 2009. *The World Value Survey: 1999-2004 wave* <http://www.worldvaluessurvey.org/>.
58. Wrong D. 1980. *Power: Its Forms, Bases and Uses*. N.Y.: Harper Colophon Books.
59. Yaney G. 1973. *The Systematization of Russian Government: Social Evolution in the Domestic Administration of Imperial Russia, 1711-1905*. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Приложение
Краткая характеристика респондентов

№	Пол	Возраст	Статус	Год
7A	Муж	<30	Начальник отдела, региональная администрация	2008
12A	Муж	51-60	Глава подразделения, Администрация Президента	2008
13A	Муж	31-40	Начальник отдела, федеральное министерство	2006
19A	Муж	<30	Заместитель директора департамента, федеральная служба	2006
33A	Муж	61+	Бывший директор департамента и посол, федеральное министерство	2007
43A	Жен	31-40	Эксперт, глава департамента PR в крупной корпорации	2006
58A	Муж	51-60	Бывший вице-губернатор	2006
63A	Жен	41-50	Вице-губернатор	2008
17B	Жен	41-50	Топ-менеджер, крупная корпорация	2005
23B	Муж	41-50	Бывший заместитель федерального министра	2005
30B	Муж	41-50	Глава, федеральная служба	2005
38B	Муж	51-60	Депутат регионального законодательного органа	2005

Автор благодарен проф. Валерию Ледяеву (ГУ-ВШЭ) за ценные комментарии к начальной версии данного текста. Однако только автор несет ответственность за сформулированные в окончательной версии утверждения.

ДИАЛОГ ИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕН В КОНСТРУКТАХ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ

С.П.Поцелуев
Южный федеральный университет

Зачем России nation building?

Под *nation building* сегодня понимают довольно разные вещи. Это выражение может обозначать как стратегию этнического национализма, так и программу гражданского нациостроительства, включающего представителей различных этносов. Под строительством нации может подразумеваться как некий «суверенный» проект, так и строительство «стабильных государств» в рамках политики «экспорта демократии».[1] В известном смысле, теория nation building переживает сегодня кризис, вызванный крушением в конце прошлого века биполярной структуры мировой политики, взрывом этнического национализма, в особенности, на территории бывших соцстран с полиэтнической структурой населения, а также неспособностью традиционных институтов представительной демократии справиться с такого рода вызовами.

С учетом мультиэтнического и поликонфессионального характера современной России строительство единой нации на ее территории может быть по своему содержанию только *гражданским*, а не этническим проектом. В этой связи возникает необходимость разработать версию гражданско-национального конструктивизма, свободную от крайностей либерализма и этнонационализма в трактовке национальной идентичности.

Однако программа гражданского нациостроительства сталкивается в РФ с большими трудностями практического и теоретического характера. Практические проблемы связаны с недооценкой и недопониманием властной элитой неотложности построения собственно *гражданской нации*. По точному замечанию В.Мартьянова, в постсоветской России проблема нациостроительства превратилась в «негласное идеологическое табу», когда «официальная политкорректная политическая риторика считает, что с ‘национальным вопросом’ все и так интуитивно ясно на уровне ‘здравого смысла’, а его серьезное обсуждение есть нечто неприличное, удел шовинистов».[2] В программных документах «партий власти» и выступлениях

[1] См.: Dempsey G.T. Fool’s Errands: America’s Recent Encounters with Nation Building // Mediterranean Quarterly. 2001. № 12. P. 59.

[2] Мартьянов В. Строительство политической нации и этнонационализм // Логос. 2006. № 2. с. 94.

представителей политического руководства страны допускается вольная или невольная двусмысленность в использовании таких концептов как *русские*, *россияне*, *нация, народ, национальность* и т.п. Многие из этих терминов употребляются в советском смысле, хотя социально-политические реалии с тех пор драматично изменились.

Эта амбивалентность объясняется не только безграмотностью или политической конъюнктурой, но также имперско-реставрационными мотивами постсоветского «государственничества». Инвертирование понятий доходит при этом до отождествления гражданской нации с империей, по признаку полиэтничности. Стратегия нациостроительства открыто подменяется призывом к «имперостроительству».[3] По этому поводу А.Кара-Мурза справедливо заметил, что в отличие от империи, в национальном «плавильном котле» межэтнического взаимодействия участвует не только имперское государство, но и гражданское общество. «А это последнее объединяет людей не через ‘государеву службу’, а через взаимозависимость ‘каждого с каждым’».[4]

За квазиневротическим «вытеснением» проблемы nation building в официальном дискурсе российской власти кроется и феномен «негативной идентичности»,[5] общее ослабление в постсоветской России рациональной компоненты социальной идентификации и усиления иррациональной. Но как показывает опыт некоторых европейских стран (к примеру, послевоенной Германии[6]), ликвидация негативной идентичности есть первейшее условие успешного строительства гражданской нации. Как это сделать? – По нашему убеждению, эффективным средством нейтрализации негативной идентичности, формирующейся на фоне продолжительного социального кризиса, является вовлечение граждан в широкомасштабный национальный диалог.

Почему мы акцентируем здесь диалог? Из двух оснований – политического и методологического свойства. О необходимости политического диалога как средства единения россиян говорят в последние годы как представители власти,[7] так и ее критики.[8] Одновременно это идет навстречу новейшим тенденциями развития гуманитарного знания, отражающим растущую роль информационных обменов в развитии общества. Социологи уже назвали это

---

[3] По утверждению А.Г.Дугина, «имперостроительство является единственным способом сохранить, усилить и объединить русский этнос». См.: Дугин А.Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М.: Арктогея, 1997. С. 252.

[4] А. Кара-Мурза. Россия в треугольнике "Этнократия - империя - нация" // http://old.russ.ru/antolog/inoe/krmrz.htm

[5] См. Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. М.: Новое литературное обозрение, ВЦИОМ-А, 2004.

[6] В. Моммзен писал в этой связи о «разрыве межпоколенной коммуникации», Ф. Тенбрук – о «безмолвном поколении родителей», Р. Дарендорф – о попытках обрести общеевропейскую идентичность «в качестве эрзаца для потерянного единства немцев». См. Mommsen W. J. Wandlungen der nationalen Identität // Die Identität der Deutschen.. Bonn, 1983. S. 173 ff.

[7] См.: Владислав Сурков: Это временно, это – штопка // Независимая газета, 31 августа 2006.

[8] См.: Кара-Мурза С., Телегин С., Александров А., Мурашкин М. Экспорт революции. Саакашвили, Ющенко ... (2006) // http://www.kara-murza.ru/books/export/index.htm

«диалогическим поворотом», по аналогии с *linguistic turn*.[9] В политической науке эти тенденции нашли отражение в различных моделях демократии, акцентирующих ее коммуникативный (дискурсивный, информационный и т.п.) аспект. Объектом самостоятельного исследования политологов становится и сам феномен политического диалога.[10]

Однако в отечественной литературе формирование национальной идентичности объясняют прежде всего суггестивно-монологическими, а не рационально-диалогическими практиками. Пресловутую «национальную идею» связывают с квазимистическим, безапелляционным действием символов, ритуалов и мифов.[11] По нашему мнению, для успешного осмысления перспектив российского нациостроительства, напротив, надо исходить из трактовки гражданской нации как диалога. Диалог вообще есть форма дискурса, затрагивающая (трансформирующая) идентичность его участников, и в этом смысле уместно говорить о *национальном диалоге*. Это позволяет представить становление гражданской национальной идентичности как интегральный продукт взаимодействий в разных стратах, группах, сетях и подсистемах общества, а не как результат «пиаровских» акций и пропагандистского внушения.

В данной статье мы рассмотрим лишь один из *теоретических* аспектов этого вопроса, а именно, относящийся к диалогу национальных «времен» как символических конструктов.

Как возможна нация без Врага?

Рассмотрение nation building в аспекте символического диалога прошлого, настоящего, будущего нации не является чем-то принципиально новым. Заметим, что свое знаменитое определение демократии как «правления, принадлежащего народу, осуществляемого народом и служащего народу» Авраам Линкольн высказал в контексте *клятвы* перед лицом «*славных павших*», олицетворяющих немеркнущее прошлое в пространстве американской нации. Эта перекличка эпох и поколений была важна и при становлении европейских наций. Л.Стоун, к примеру, рассматривает под этим углом зрения возникновение неоэллинистического национализма в Греции Нового времени. Обращение современных греков к древнему прошлому их страны Л.Стоун называет *диалогом* потому, что здесь «идентифицируются меняющиеся

[9] См.: The Dialogical Turn. New Roles for Sociology in the Postdisciplinary Age. Ch. Camic and H. Joas (eds.). Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2004.

[10] См.: Political Dialogue: Theories and Practices. S.L. Esquith (eds.). Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi, 1996.

[11] Это характерно прежде всего для теоретиков русской версии «консервативной революции», к примеру, для А.Г.Дугина или А.Н.Савельева. Последний отводит «параду символов» роль дискурсивного кнута, посредством которого осуществляется «вразумление масс» и образуется нация как «толпа, введенная в рамки и управляемая». При этом «формирование национального государства русской нации» не является самоцелью, но только «путем в империю». См.: Кольев А. Миф масс и магия вождей. М.: Национальный Институт Развития ОЭ РАН, 1998. С. 309 и далее.

идентичности – ассимилированные, маргинализированные или отвергнутые».[12] Процесс конструирования нации есть в той мере диалог между ее «прошлым» и «настоящим», в какой мере он есть «история попыток трансформировать старую идентичность в новую, но все ‘ту же’ идентичность».[13]

Трактовка нации как диалога оказывается в жесткой методологической оппозиции к шмиттианской традиции в понимании политического как такового. По К.Шмиту, политика есть там, где есть различие друга и врага, причем именно Врага, а не просто «другого» и «чужого». Это значит, что нация как политическая общность не мыслится без ее врагов, а враги не мыслятся без конфликтов, борьбы, «священной войны». Правда, – если верить нынешним «шмитто-марксистам», – тем самым еще не отрицается возможность рационального консенсуса в рамках демократического порядка, однако установление такого консенсуса «невозможно без исключения, поскольку отношения включения/исключения неизбежно вписаны в демократическую логику, конституируют любой народ».[14] Последний тезис отвергают не только современные теоретики «делиберативной демократии» вроде Ю.Хабермаса; оппозицию ему составляет классическое понятие политики, в котором диалог есть форма реализации, а не отрицания властной воли, и которое вообще не нуждается во врагах и антагонизмах для учреждения политических сообществ.

Именно это, а не шмиттианское, понятие политического реализуется в теории нации, предложенной в свое время Э.Ренаном. Нация для Ренана – это не чувственно-иррациональный порыв, а «*духовный* принцип» как общее желание *разумных* и *нравственных* существ.[15] Реализация этого принципа предполагает перманентный национальный диалог. Диахронное измерение этого диалога предстает у Ренана как воображаемый диалог прошлых, настоящих и будущих поколений.[16] Синхронное же измерение «резюмируется вполне осязаемым фактом: это ясно выраженное желание продолжать общую жизнь. Существование нации — это … повседневный плебисцит».[17]

Нация для Ренана – это, безусловно, *политическая* общность, причем общность, в известном смысле возрождающая классическое понимание политики как специфически публичного пространства. Сущностную связь между политическим и публичным в классически ясной форме показала Х.Арендт. Ее анализ может служить несущих конструкцией диалогической трактовки гражданского нациостроительства.

---

[12] Stone L.A. A Dialogue of Past and Present: The Construction and (Re)presentation of Greek National Identity // Perceptions. Journal of International Affairs. June - August 1999. Vol. IV. № 2. – http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume4/June-August1999/stone.PDF

[13] Там же.

[14] Михайловский А.В. Борьба за Карла Шмита // Вопросы философии. 2008. № 7. С. 170

[15] Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений в 12-ти т. Т.6. Киев, 1902. С 99-101. *Выделено мной* – С.П.

[16] «Иметь общую славу в прошлом, общие желания в будущем, совершить вместе великие поступки, желать их и в будущем — вот главные условия для того, чтобы быть народом». См.: Ренан Э. Что такое нация? …, с. 101.

[17] Там же, с. 102.

Политическое в своем первоначальном смысле относится к делам *полиса*, а этот последний Х.Арендт понимает не как государство в смысле географической локализации, а как специфическую организационную структуру населения. Речь идет о структуре, складывающейся во взаимном действии и говорении, о «некоем пространстве *между*, не привязанном ни к какой родной почве».[18] Это «промежуточное» пространство[19] есть стихия диалогического общения, и быть политическим, т.е. жить в полисе означало, что все дела улаживаются посредством убеждающих слов, а не принуждением или насилием.

Политическая власть понимается здесь как то, что вызывает к жизни и поддерживает публичную сферу. Однако публичность политики не следует сводить к либерально-карикатурному образу, как он представлен у нынешних критиков демократии а lá К.Шмитт. Публичность политики – это не только коллективное обсуждение некоторых злободневных вопросов либерально «цивилизованной» публикой. «Мир, в котором должно быть место для публичности, не может быть учрежден только для одного поколения и планироваться только для живущих; он должен превосходить долготу жизни смертных людей. Без этого перехвата в посильное земное бессмертие не может по-серьезному быть ни политики, ни общего мира, ни публичности».[20] По мысли Х. Арендт, публичная открытость полисного мира заключалась, прежде всего, в его способности «предоставить сцену», где могла быть показана для ныне живущих и грядущих поколений непреходящая слава великих поступков и речей. Это звучит почти как цитата из ренановского определения нации, и такое родство понятий демократической политики и гражданской нации является отнюдь не случайным.

Но политическая общность, представленная как «публика в наблюдательном пространстве, где каждый зритель одновременно и деятель»;[21] как «непрерывно длящаяся сцена», открывающая перспективу «посильного земного бессмертия» и т.п. – *такая* общность не нуждается в шмиттовском Враге, чтобы возникать и продолжаться. Добродетели этой общности суть сами себе награда, им не нужно чужое злодейство, чтобы самоутвердиться. Именно так рассуждает и Аристотель в «Политике». Полис, по его убеждению, возникает не в целях предотвращения возможных обид с чьей-либо стороны, и даже не ради взаимного торгового обмена и услуг, но как «общение между семьями и родами ради благой жизни, в целях совершенного и самодовлеющего существования».[22]

---

[18] Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. с. 263.

[19] Неслучайно именно с пространством «между» М.Бубер связывал свое понятие *диалога* Я и Ты. См.: Buber M. Schriften zur Philosophie. Bd. I. München – Heidelberg: Kösel – Lambert Schneider, 1962, S. 406.

[20] Арендт Х. Vita active …, С. 72.

[21] Там же, с. 262.

[22] Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 461-462.

В основе этой специфической общности полисной жизни Аристотель видел «принцип взаимного воздаяния», действующий между свободными и равными гражданами, когда «одни властвуют, другие подчиняются, поочередно становясь как бы другими».[23] На языке современной философской классики этот принцип называется рефлексивным взаимодействием (интеракцией). Его значение для теории демократии показал Дж.Г.Мид, прежде всего, своим понятием функциональной власти, основанной на диалоге и командном сотрудничестве в решении общих задач. Как и Э.Ренан, Дж.Г.Мид говорит о необходимости выхода человека за рамки сугубо приватного существования и достижения «более высокого сообщества». Причем у Мида (отчетливее, чем у Ренана) главным средством достижения такого сообщества выступает диалог (conversation): «Мы не просто связаны сообществом. Мы находимся в диалоге, в котором сообщество прислушивается к нашему мнению, и мы влияем на его реакцию. Человек встает и оправдывает свои поступки. Это - его присутственный день в общественном ‘суде’».[24]

Методологически важной для понимания специфики гражданской нации является идея Мида о диалоге между «Я» (I) и «социальным Я» (me) внутри развитой личности. При наличии такого внутреннего диалога гражданин оказывается способным играть активную роль в общем (командном) деле. Демократиям – убежден Мид – нужны личности, способные развить в себе не едва заметное различие «Я» и «социального Я», но их продуктивный конфликт. Личность способна отвернуться от бессмысленных традиций и обратиться к новым идеям, даже если эти идеи представлены только потомками. Отдельный человек, – пишет Мид, – может встать наперекор всему миру, но для этого он должен «обратиться к себе самому голосом разума», что значит, «должен понимать голоса прошлого и будущего».[25]

Дж.Г.Мид предлагает рациональное понятие патриотизма как эффекта полностью взаимного принятия на себя роли другого, когда реакция, вызванная у других, полностью идентична с собственной реакцией. Это рождает «специфический энтузиазм», который Мид связывает не со стадными чувствами и архаическими оппозициями вроде своих – чужих, врагов – друзей, но с феноменом «универсального соседства».[26] В основе этого феномена лежит рефлексивно-диалогический механизм, когда реакция одного человека вызывает как в нем самом, так и в другом одинаковую позицию. С интеллектуальной точки зрения, – считает Мид, – командное сотрудничество стоит выше, чем квазирелигиозное чувство соседства, но с точки зрения эмоциональной, чувство универсального соседства, напротив, выше командной работы и его нечем заменить. Никакие соображения выгоды не заставят

[23] Там же, с. 405.

[24] Mead G. H. *Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist.* Chicago: University of Chicago, 1934. P. 169.

[25] Ibid.

[26] Ibid, P. 275.

человека жертвовать своей жизнью ради будущего своей нации – это требует самости, воспитанной на интенсивном эмоциональном опыте слияния «Я» и «социального Я».

Итак, для построения гражданской нации нужен не «Враг», но перманентный, разноуровневый и широкомасштабный диалог граждан как форма политической общности в классическом смысле. Важнейшим моментом этого дискурса выступает диалог поколений, учреждающий общенациональный форум, или сцену, где настоящее нации вступает на равных в диалог с ее прошлым и будущим.

Нация как воображаемый диалог

Диалогическая трактовка нации оказывается весьма созвучной конструктивистским концепциям нации, в частности, развитому Б.Андерсоном понятию нации как «воображаемого сообщества». Такая трактовка подчеркивает «воображаемый» характер наций не в смысле их «изобретения» национальными элитами, но как результат конструирования в обширной сети диалогического общения.

По словам Б.Андерсона, нация воображается как «глубокое, горизонтальное товарищество».[27] Крайне важна в аспекте гражданского nation building мысль Б.Андерсона о том, что связанные газетами «со-читатели» образовали в своей «секулярной, партикулярной, *зримой незримости* зародыш национально воображаемого сообщества».[28] Эта «зримая незримость» нации как воображаемого сообщества представлена, по Андерсону, не только в газетах; событие, показываемое в романе или пьесе, тоже является воображаемым. Оно обсуждается в одно и то же время множеством людей, не знающих друг друга и составляющих языковую общность читателей, осведомленных с культурно-социальным фоном их языка и литературы.[29] Все это помещает людей в конкретное «воображаемое сообщество».

Андерсон подчеркивает конструктивистский смысл воображаемой национальной общности и говорит о неправомерности приравнивания «изобретения» (invention) и «воображения» нации к «фабрикации» и «фальшивости», в чем его упрекали некоторые критики.[30] Но надо признать, что Андерсон в значительной степени избежал бы упреков в свой адрес, если бы ввел концепт диалога в свою теорию нации. Американский ученый делает акцент на гомогенности,

[27] Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс. Кучково поле, 2001. С. 32.

[28] Там же, с. 67.

[29] Там же, с. 50.

[30] Там же, с. 31. В частности, Э.Смит утверждал, что у Андерсона нация предстает как «сумма своих культурных репрезентаций», вне которых у нее нет никакой реальности. По убеждению Э.Смита, это подрывает социологические основы нации, «узы преданности и принадлежности», которые реально ощущаются многими людьми. Смит подчеркивает, что нация «не только воображается, она также глубоко переживается». См.: Смит Э. Национализм и модернизм. М.: Праксис, 2004. С. 255-256.

стандартизованности и связанном с этим печатном дискурсе (печатном сообществе) как предпосылках национального дискурса,[31] однако сам этот дискурс представляет собой более обширный «дискурсивный универсум» в смысле Дж.Мида – как диалог свободных граждан. Вот этот – диалогический - момент остался у Андерсона недооцененным.

Вместе с тем можно развить позицию Андерсона в духе и даже терминах самого Андерсона. В этой связи можно ввести понятие *воображаемого диалога* как характерного для любой гражданской нации. Воображаемый диалог – это вполне реальный диалог, даже если он опосредован фиктивными (изобретенными, условными) событиями и героями. Но это суть фикции, ведущие реальную социальную и политическую жизнь. Это - воображаемый мир, «зримо укорененный в повседневной жизни».[32] Это, например, образы литературных героев, которые в чем-то убеждают, куда-то зовут реальных людей. Именно так ведут себя исторические персонажи в рамках нациостроительства: сначала реальные исторические лица становятся (литературными) героями, а потом художественные (медийные) фикции становятся героями политическими.

«Горизонтальное товарищество» национального сознания предполагает диалог не только с современниками, но и с предками как если бы они были современниками. В воображаемом диалоге нации «прошлое» представлено как адресат для посланий, как лицо-собеседник. Этот адресат является вымыслом, конструктом, но от этого еще не иллюзией; он должен – как замечает Э.Балибар - восприниматься «по аналогии с *persona ficta* (условной личностью) из юридической традиции, в смысле институционального эффекта».[33] Для Б.Андерсона образ истории в национальном сознании также есть живая игра «национального воображения»,[34] в которой говорят от лица умерших и еще не родившихся членов национальной общности, *как если бы* они были участниками единого вневременного национального союза. Андерсон ссылается в этой связи на французского историка Ж.Мишле, который «не только покусился на право говорить от имени колоссального числа анонимных умерших, но и авторитетно заявил, что может сказать, о чем они ‘на самом деле’ думали, и чего они ‘на самом деле’ хотели, поскольку сами они этого ‘не понимали’».[35] Гражданская нация как воображаемая общность – это не просто конгломерат граждан, пусть даже исполненных «конституционного патриотизма» (в терминах Ю.Хабермаса); но это эмоционально сплоченное сообщество, символически переживающее диалог своего прошлого, настоящего и будущего. Такого рода «диалог времен» обеспечивает национальному сознанию

[31] «Книжная грамотность создавала возможность воображаемого сообщества, плывущего в гомогенном, пустом времени», - пишет Андерсон. См.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. …, с. 136.

[32] Смит Э. Национализм и модернизм…, С. 58.

[33] Балибар Э. Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Логос-Альтера, Ecce Homo, 2003. С. 112.

[34] Андерсон Б. Воображаемые сообщества. …, с. 214.

[35] Там же, с. 215.

экзистенциальную вовлеченность, которой фатально не достает либеральным теориям и практикам нациостроительства.

Диалогический (диалектический) статус исторических «истин» и «фактов» национального самосознания помогает лучше понять мысль Ренана, кажущуюся на первый взгляд не только парадоксальной, но даже циничной: «Забвение или, лучше сказать, *историческое заблуждение является одним из главных факторов создания нации*, и потому прогресс исторических исследований часто представляет опасность для национальности».[36] Но национальный образ прошлого и будущего – это не объективистская историография и не научный прогноз. Это – «общее соглашение, желание жить вместе, продолжать сообща пользоваться доставшимся неразделенным наследством».[37] А соглашения относятся к публичным разговорам, переговорам и диалогам, а не к уединенной деятельности ученых.

Конечно, в диалогической концепции гражданской нации надо, помимо «воображаемых» диалогов, иметь в виду и диалоги не-воображаемые (их можно назвать инструментальными). Строительство нации опирается прежде всего на этот практический повседневный дискурс, который любит не громкую публичность и пышную символику, но конфиденциальность и точный расчет. Так, отменой рабства как важной вехой на пути становлении американской нации США были обязаны президенту Линкольну, который не блистал риторикой аболициониста, зато был успешен в непубличных деловых переговорах.[38]

Национальная память как диалогический процесс

Память нации – это не безмолвный склеп, а память, живущая непрестанным диалогом внутри национального «полиса». Диалектику национального запоминания и забывания характеризует то, что некоторые немецкие историки и философы называют «культурой воспоминания». Эта культура предполагает, что «вспоминается не само прошлое, но представление о прошлом».[39] По словам немецкого историка Й.Рюсена, «воспоминание преображает временной статус прошлого таким образом, что оно, не переставая быть прошлым, становится *современным в качестве прошлого* и тем самым открывает перспективу будущего».[40]

Эта «культура воспоминания» не является специфической характеристикой национального сознания как такового, тем более, идеологии

[36] Ренан Э. Что такое нация? …., с. 101. *Выделено мной* – С.П.

[37] Там же, с. 101.

[38] См.: Marks J. Moral Dialogue in the Thought of Amitai Etzioni // The Good Society: A PEGS Journal. 2005. Vol. 14. № 1/2. P. 17.

[39] Faulenbach B. Erinnerungskultur – Gedenkstatten für die Opfer des Nationalsozialismus und Stalinismus in Deutschland // Kultur – Kulturpolitik – Kulturwissenschaft. Traditionen und neue Debatten in Ost und West. Bochum, 2003. S. 52-53.

[40] Rüsen J. Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken // Rüsen J. Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in der Zeit zurechtzufinden. Köln: Böhlau, 1994. S. 216. *Выделено мной* – С.П.

этнического национализма. Но она выражает общий смысл публичности политического пространства, и в какой мере национальная общность эту публичность реализует, она выступает незаменимой и важной формой гражданско-политического участия. Х.Аренд неслучайно назвала древнегреческий полис «организованной памятью», где «былое не вспоминается как прошедшее, во временном континууме, с сознанием временной дистанции, но сохраняется непосредственно в своем не искаженном временем образе, в непрестанно длящейся актуальности».[41] Эта характеристика вполне отвечает смыслу упомянутой «культуры воспоминаний», характеризующий диалог национальных времен и поколений.

По словам немецкой исследовательницы А.Ассман, вместе с выходом нации на историческую авансцену структурно меняется и память об истории. Теперь она начинает служить формированию коллективной идентичности. Для диалогической концепции nation building важна мысль А.Ассман о том, что в культурно-национальных проектах принимали участие не только историки и музейщики, но не в последнюю очередь поэты и драматурги. «Исторические драмы Шекспира, – подчеркивает Ассман, – вначале были вкладом не в мировую литературу, а в историческое строительство нации».[42]

Весьма ценным для углубления понятия национального диалога является вводимое Ассман различие между «жилой», или «функциональной» памятью и памятью «нежилой», или «накопительной». Важнейшими отличительными чертами функциональной памяти, которая даже по названию перекликается с Мидовским понятием «функциональной власти», называются: отнесение к социальной группе, избирательность, связь с ценностями и ориентация на будущее. Накопительная память, напротив, есть аморфная масса бесхозных данных сознания, воспоминаний, потерявших жизненную связь с настоящим, превратившихся в реликты. Эта масса окружает смысловые конструкты функциональной памяти, она не находится с ними в режиме диалога, но выступает важным ресурсом внутренней диалогичности национальной памяти как таковой. Эта отчасти «бессознательная» память не является, по словам А.Ассман, противоположностью функциональной памяти, но выступает, скорее, ее фоном.[43] Если бы национальная память состояла из одних только «функциональных» (жилых) «помещений», ее внутренняя диалогичность была бы слабой, спорадической, исчезающей.

Национальный миф в режиме диалога

В дискурсивном универсуме нации диалог между прошлым и настоящим предстает как настоящее, которое навязывает себя прошлому. Это навязывание

[41] Арендт Х. Vita active …, С. 262.

[42] Assmann A. Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: Beck, 1999. S. 78-79.

[43] Ibid, S. 136.

есть диалектическая взаимосвязь, в которой миф смешивается с актуальными и потенциальными глобальными силами, и где согласуются конфликтующие притязания на истину. Получается, что самих по себе символов, даже таких сложных как мифы, недостаточно для описания гражданского нациостроительства. Необходима их диалогическая «диалектизация» и «рационализация».

Правда, трактовка мифа в диалогической перспективе nation building кажется на первый взгляд парадоксом, поскольку миф не расположен к диалоговой аргументации. По словам В.Кошубы, мифы основания наций рассказывают людям легенды и повествования о вымышленных коллективных биографиях. И все эти данные – имена, локусы и смыслы – питают наше воображение, однако они не дают нам доказательств. Они сакральны как предмет веры, их невозможно отрицать как ложное суждение, ибо их фактичность сродни произведению искусства. Мифы основания «изображают крайне концентрированные культурные кодификации, которые говорят нам: ‘Цитируй меня, используй меня, верь мне, но только меня не спрашивай!’».[44] Но, хотя сами по себе мифы не приглашают к диалогу, это еще не значит, что они не позволяют интерпретировать себя в диалогическом контексте. Если миф берется в окружении других национальных символов и в прагматическом ключе nation building, он выступает важнейшим элементом диалогических практик.

У немецкого политолога А.Дернера, специально исследующего символы немецкого и американского нациостроительства, присутствие мифа в национальном сознании не ограничивается монологически изложенным нарративом. Напротив, миф создает пространство общения со зрителем: «Беллетристические жанры вроде художественных фильмов или телесериалов предлагают ‘как будто’-миры, внутри которых зритель может двигаться как фиктивный политический актор. Он переживает различные ситуации … и может сам себя наблюдать внутри этих воображаемых знаковых пространств».[45]

На примере «american monomyth» А.Дернер показывает, как закодированный в нем синтез индивидуализма и республиканизма предстает в виде драматического действа, диалогически (интерактивно) переживаемого национальной «публикой». «Рамки вымышленного мира открываются, и зритель непосредственно втягивается в политическую драму. Далее следует прямое требование идентифицироваться: каждый зритель в кинозале должен

[44] Koschuba W. The Emergence and Transformation of Foundation Myths // Myth and Memory in the Construction of Community: historical patterns in Europe and beyond. Bruxelles – Wien: PIE Lang, 2000. P. 218.

[45] Dörner A. Zivilreligion als politisches Drama. Politisch-kulturelle Traditionen in der populären Medienkultur der USA // Inszenierungsgesellschaft (H.Willems, M.Jurga - Hrsg.). Opladen – Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998. S. 547.

поместить себя в роль носителя действия, … ибо без активного участия нет республики, а без борьбы нет ‘хорошей политики’».[46]

Весьма полезными для разработки концепции национального диалога являются результаты большого научного проекта по изучению национальных праздников, осуществленного группой европейских ученых в 90-ых годах прошлого века.[47] В особенности важным представляется подход, развиваемый А.Торсеном в анализе «мифов основания» в рамках конструирования европейских наций. Торсен выделяет *мифическое, символическое и политическое* измерения национального праздника. Любопытно, что этот автор использует термин «диалог» для каждого из названных трех измерений предмета празднования. Данный термин представляется ему весьма подходящим, поскольку празднования, по его словам, оказываются «не монологами правительств, находящихся в данный момент у власти, но *тремя параллельными диалогами*, где одним собеседником выступает троякий предмет (празднования), а другим собеседником – национальное мнение во всех его вариациях. Вопрос, который следует задать и по возможности на него ответить – могут ли эти диалоги быть успешными, и если могут, то каким образом».[48]

На примере празднования 14 июля во Франции А.Торсен убедительно показывает, что именно в период внутриполитических споров и конфликтов очевидна интегративная сила национального праздника. И проявляется она в гибкости и плюрализме указанных трех диалогов. Когда нет пространства для политического или мифического диалога (по терминологии Торсена), еще может оставаться место для *символического* диалога, пусть даже политически враждующих партий. Как замечает Торстен, праздник 14 июля был ‘плавильным котлом французского патриотизма’, и как таковой, ценным вместилищем национальной интеграции. «Это – история национального мифа, который *сам по себе не мог объединять*, но который *ухитрился это сделать*, прямо или косвенно, посредством действий организаторов праздника».[49]

Этот сюжет придает совершенно новый (позитивный) смысл на первый взгляд случайным и бессвязным наборам государственных символик. То, что кажется абсурдной эклектикой с научно-историографической (монологической) точки зрения, получает смысл в перспективе национального *диалога,* понятого как диалог *исторических времен*. Здесь очевидны исторические и политические параллели с государственной символикой и празднованием национальных праздников в постсоветской России. На согласительно-диалогический смысл

[46] Ibid., S. 550.

[47] См.: Myth and Memory in the Construction of Community: historical patterns in Europe and beyond. Bruxelles – Wien: PIE Lang, 2000.

[48] Thorsen A. Foundation Myths at Work: National Day Celebration in France, Germany and Norway in a Comparative Perspective // Myth and Memory …, P. 333. *Курсив мой* – С.П.

[49] Ibid., P. 339. *Выделено мной* – С.П.

политической символики ельцинской эпохи указывал в нашей литературе, в частности, Ю.С.Пивоваров.[50]

Невоображаемые субъекты национального диалога

Пиаровский подход к нациостроительству явно недооценивает разницу между реальными *субъектами* nation building и его воображаемыми *акто(ё)рами*. Но кто выступает реальными (невоображаемыми и нефиктивными) субъектами диалогического конструирования гражданской нации? Эти субъекты должны иметь относительно устойчивые политические идентичности, отражающие их интересы. Ведь в основе гражданской нации, как и любой политической общности, лежит взаимосвязь интересов, а не отвлеченные разговоры о прошлом и будущем страны. Эти интересы не просто «есть», так что их надо только осознать и продекларировать. Политические субъекты (организованные группы с более или менее ясно выраженными властно-политическими амбициями) не просто отражают свои и общественные интересы, но формируют (конструируют) их, причем не так, как им вздумается, а в диалоге с другими субъектами по поводу реальных проблем.[51] Диалог между прошлым и будущим сообщества только тогда представляет собой часть нациостроительства, когда он ведется такого рода «конструкторами» и выразителями общих интересов. Это – наиболее активная и творческая часть общества, снабженная политическим «инстинктом опережающего отражения» – фактическая, а не декларируемая элита.

Но только по мере строительства нации ее «конструктора» становятся политически господствующей элитой; в своих же истоках nation building по преимуществу опирается на восходящие контрэлиты. К примеру, Л.Стоун связывает становление греческого национализма в эпоху Нового времени с «новой периферийной элитой», образованной прежде всего греческими купцами, торговавшими с западноевропейскими странами и привнесшими в Грецию новоевропейское видение классической Эллады как антитезы «восточного деспотизма».[52] Аналогичным образом, С. Эйзенштадт выделяет среди «конструкторов» европейских наций такие группы, как гуманитарная

[50] «С общепринятой этической точки зрения это согласие было неприемлемым. С нормальной эстетической – безвкусным. …Как будто бы кто-то, плюя на всякие там этики-эстетики, в постмодернистском угаре смешивал воедино то, что принципиально не смешиваемо. Но это в планах этическом и эстетическом. Есть же – по крайней мере в России – план более значимый. Это ‘план’ русской истории». См.: Пивоваров Ю.С. Общая гибель всерьез: Избранные работы. М.: РОССПЭН, 2004. С. 220.

[51] Здесь нелишне будет вспомнить, что само слово «интерес» восходит к латинскому глаголу interesse, который имеет прямой диалогический смысл: «быть посреди, находиться между», т.е. активно общаться по поводу важных дел. В наши дни, не без влияния утилитаристкой традиции, этот классический смысл «интереса» практически улетучился. Между тем он предполагает как раз «публичность политики» в смысле Х.Арендт, а также то, что П.Бурдье удачно назвал «политическим полем» как «игровой площадкой» со своими правилами и с участниками, преследующими свои специфические *интер*есы. См.: Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм // Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 252-253.

[52] Stone L.A. A dialogue of Past and Present …

интеллигенция и политические «антрепренёры», которые находились в «непрерывном выяснении отношений со своим культурным и социальным окружением».[53]

Для диалоговой интерпретации европейских наций важным является отмечаемое Эйзенштадтом разнообразие политических, религиозных и региональных центров, которое задавало глубоко диалогическую рамку социальной коммуникации: не «симбиоз взаимного приспособления», но серьезное различие и конфликт мнений. Эту тенденцию европейской социальной коммуникации значительно усилили буржуазные революции, после которых темы равенства, политического участия и социальной справедливости перестали быть маргинальными ценностями протеста, но переместились в центр общества и стали важнейшим элементом современного понятия политической легитимности. Именно эта инверсия политической коммуникации создала основу для широкого политического диалога, без которого гражданская нация модерна вообще не могла бы возникнуть.[54]

Строительство российской гражданской нации также возможно лишь при активном участии региональных и местных элит, причем в рамках крупных социально-экономических проектов. Это предполагает высокую социальную и гражданскую мобильность населения, которая способна существенно нейтрализовать разбегание РФ по этнонациональным квартирам (идентичностям). Разумеется, это требует существенной ревизии проводимой сегодня в стране экономической и социальной политики. Без радикального обновления политических элит (смещения социальной власти от бюрократии и криминала к активному среднему классу) и смысла политического лидерства (лидер не тот, кого «назначили», а кто объединил людей в решении конкретных задач) гражданский проект нациостроительства будет у нас невозможен.

Для становления российской нации одним из ключевых условий является развитие мощной сети образовательных учреждений, в особенности национальных университетов высокого уровня, получающих приоритетное и долгосрочное государственное финансирование. В условиях только формирующейся гражданской нации расходы на национально выстроенное образование столь же важны, как и расходы на оборону. Как показала история СССР, если в стране не формируется жизнеспособной нации, никакие ракеты и танки не смогут спасти ее от распада.

Важно также, чтобы субъекты национального диалога не замыкались на свои локальные этносы, но были включены в глобальный культурно-образовательный процесс. В истории строительства европейских наций к таким субъектам относились, как известно, студенческие землячества европейских университетов, неслучайно называвшиеся «нациями». Эти сообщества

[53] Eisenstadt S. N. Die Konstruktion nationaler Identitäten in vergleichender Perspektive // Nationale und kulturelle Identität: Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit. B.Giesen – Hrsg. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. S. 21-22.

[54] Ibid., S. 30-31.

изначально имели диалогическую природу, потому что были результатом рефлексивного взаимодействия различных культур, представленных в едином дискурсивном универсуме европейски образованных людей.

Наличие такого единого (универсального, глобального) культурного пространства является неотъемлемым условием строительства любой гражданской нации. Современные процессы nation building еще в большей мере, чем век или два тому назад, не могут мыслиться вне глобального социально-политического контекста. Становление национальной идентичности – это не произвольная игра в наименования и дефиниции, а драматичный идентификационный процесс, в котором сообщество находит свое место в мире, определяет и пере-определяет это место, сообразуясь с меняющимися экономическими, политическими и культурными условиями человеческого общежития.

Аналитическое правоведение

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА МИШЕЛЯ ВИЛЛЕ (продолжение)[1]

Н.А. Кравцов
Южный федеральный университет

Глава 3. Основные проявления кризиса правопонимания и пути его преодоления

3.1. *Искажение основных юридических понятий*

Мысль оставляет нам в наследство слова, формулы, которые со временем постепенно теряют свой смысл. Только самому гению понятно, что он говорит. Так называемая «образованная публика» все чаще пользуется тем языком, которого она сама не понимает.
Мишель Вилле

Сменявшие и опровергавшие друг друга на протяжении столетий правовые доктрины были, по мнению Вилле, едины в одном: в пренебрежении реальностями правовой практики и в явном предпочтении искусственных построений, претендующих на то, чтобы корректировать реальность.[2] Этим отчасти объясняется разнородность этих правовых доктрин, разнообразие определений права, фактическое отсутствие “общих мест”. Правоведение отвыкло от реализма в правопознании. Правовая наука продолжает оперировать искусственными конструкциями, одновременно честно признавая невозможность дать на их основе исчерпывающее объяснение феномену права. Ошибки, фикции, теоретические клише капитализируются, все более скрывая от нас правовую реаль-

[1] Начало см.: Кравцов Н.А. Философия права Мишеля Вилле // Политическая концептология. 2009. № 4. С. 266-338.

[2] Гегель, например, рассматривает в качестве единственно правомерной формы согласования свободных волеизъявлений двусторонний договор, направленный на единичный предмет. В системе Гегеля это положение не кажется странным. Более того, оно весьма изящно и убедительно обосновывается. Но что я, будучи юристом, могу поделать с фактом существования односторонних сделок, многосторонних договоров и оптовых поставок? Боюсь, что их «наличное бытие» для меня более убедительно, чем вся изящная внутренняя логика «самоопределения свободной и разумной воли»!

ность. Такое положение правовой науки нельзя, по мнению Вилле, именовать иначе как “кризисным”. Необходимо выделить ряд главных проявлений этого кризиса.

Прежде всего - правовая мысль смирилась с отсутствием качественного ***определения права*** и чуть ли не убедила себя в невозможности его нахождения. Право не рассматривается как целостное явление, которому можно дать единую дефиницию. Ученые предпочитают разбивать этот феномен на части: право в “узком” и в “широком” смысле, субъективное право и объективное право, позитивное и естественное право, и т.д.

Наиболее неоправданным Вилле считает деление права на ***объективное и субъективное***. Это, по его мнению - “варварские термины”. Понятие субъективного права, как он полагает, есть непобедимое наследие правового волюнтаризма. Вслед за представителями исторической школы права и за пандектистами мы связываем с субъективным правом возможность действовать определенным образом. Говорят, что эта модель возникла еще в Римском праве, однако Вилле настаивает на том, что римским правовым текстам эти волюнтаристские формулы не свойственны. Понятие субъективного права могло возникнуть только в мыслящей по-оккамовски схоластике и окончательно развиться в европейском Модерне, с его попыткой вывести право из природы отдельно взятого индивида и признанием возможности существования права на индивидуальном уровне. Для античной мысли право может быть только межиндивидуальным. Это всегда – мера справедливости в отношениях субъектов, а не мера субъективного произвола в отношении к объектам. То, что было принято европейскими юристами в Римском праве за аналог нашего субъективного права, на самом деле имеет совершенно иную природу. Это – результат распределения внешних благ, бестелесная вещь, которая может выступать как causa в цивильном процессе. Jura отражают не меру произвола по отношению к физической вещи, а функцию лица, его роль в социальной сфере в связи с обладанием вещью. В это понятие входят и социальные обременения, которые европейская правовая наука окрестила “юридическими обязанностями” и сущностно противопоставила субъективным правам. В Риме, - утверждает Вилле, - и первая и вторая социальные функции обозначались одним термином - jus. *«Когда текст Гая... говорит о jus altius tollendi, он продолжает в той же фразе: ...aut non extolendi. Вот право (Jus) НЕ надстраивать МОЙ дом (для того, чтобы не лишать соседа его вида на прекрасный пейзаж). Если бы я сказал что мне предоставлено полномочие, или свобода не надстраивать мой дом, это было бы бессмыслицей: здесь мне предписывается обременение и моя свобода ограничивается»*.[3] Иными словами, jus как бестелесная вещь может походить и на то, что мы теперь называем субъективным правом и на юридическую обязанность, но вместо противопоставления, мы имеем место с функциональным объединением социального полномочия и социального обременения.

[3] Le Droit et les Droits de l'Homme . p . 77.

Jus, - делает вывод Вилле - не свобода лица и не его атрибут, а часть вещей, принадлежащих лицу. Это не может в иеринговском духе определяться как интерес, так с ним часто связаны откровенно невыгодные для лица условия. Искажение наших понятий о соотношении прав и обязанностей - еще один из знаков кризиса правовой мысли.

Мы со своей стороны можем заметить, что фрагмент Гая, на котором Вилле основывает данный вывод, достаточно туманен и дает возможность для различных толкований. Содержится он в Восьмой книге Дигест, в Титуле II «О сервитутах городских имений». В последнем русском переводе он выглядит так: *«права городских участков суть следующие: строить выше определенной высоты и заслонять свет соседу или не строить выше определенной высоты…»*[4]. В принципе, трактовка, данная Вилле, имеет «право на жизнь». Однако в контексте следующих параграфов, ей может быть придан другой смысл. За ней следуют сентенции Ульпиана и Павла: *«имеется и сервитут, заключающийся в том, чтобы не заслонялся вид. \\ Путем установления сервитута окон считается достигнутым то, что сосед допускает наши окна; когда же устанавливается сервитут, содержащий воспрещение заслонять свет, то это рассматривается преимущественно в том смысле, что у соседа нет права без нашей воли строить слишком высокие здания и таким образом уменьшать освещение наших зданий…»*[5].

Следует обратить внимание на одну деталь: если бы трактовка термина jus, данная Вилле была бы верной, то Павел мог бы сказать: «у соседа **есть право не строить** слишком высокие здания». Между тем он выражается привычным для нас образом: «у соседа **нет права строить** слишком высокие здания». Таким образом, с учетом контекста фрагмент, приводимый Вилле, как нам кажется, вполне может толковаться следующим образом: «Как собственник городского участка я имею право по своей воле строить на нем здания, заслоняющие свет соседу или не делать этого; однако, если был установлен воспрещающий сервитут, я не имею права строить здания, заслоняющие свет». В такой трактовке jus non extolendi, «выводимое» Вилле, приобретает совсем иной смысл.

Искажение понятий о соотношении прав и обязанностей, о котором мы говорили выше, повлекло за собой, по мнению Вилле, и ***“кризис источников права”***. В качестве последних теперь признается либо закон, либо юридическая деятельность. В античном понимании источником права признавалась сама природа. Такая концепция стала невозможной в современном мире. Вилле считает, что это является последствием большой популярности кантовской философии, которая содержала тезис о том, что из изучения природы ничего нельзя извлечь для права. Последнее начинает рассматриваться как наука о должном, имеющая внутренний субъективный источник. А это в свою очередь привело к

[4] Дигесты, Кн. 8. II, 2
[5] Дигесты, Кн. 8. II, 3-4

тому, что в основу понимания справедливости были поставлены абсолютно недоказуемые субъективные предпочтения[6].

Кантовские формулы, - заявляет Вилле, - были одной из движущих сил в развитии понимания права как свободы действий. Они также дали мощный толчок становлению “правопонимания Деклараций”. Результатом подобного искажения правовых понятий явилось некорректное структурное изменение системы действия личной свободы в политическом сообществе.

Античность признавала “вертикальное ограничение” свободы, определяемое объективной справедливостью, независимой от воли субъектов. Эпоха Модерна, благодаря гуманизму (читай – антропоцентризму), рассматривающему человека в качестве единственного источника и высшей цели права, породила “горизонтальное ограничение” - носящее субъективный характер самоограничения на основе индивидуальных представлений о справедливости. Это самоограничение происходит через разум и волю индивида, что придает познанию права, как меры свободы, характер юридического рационализма, сдобренного волюнтаризмом. Ему противостоит такой же односторонний юридический эмпиризм. Попыткой нахождения синтеза рационального и эмпирического в праве является современный юридический позитивизм. Если мы признаем источником права консенсус воль, на какой угодно основе, это позволяет некоторым образом примирить универсалистские и индивидуалистические интенции в правопонимании. Однако при этом неизбежен порок понимания права исключительно как совокупности правил поведения и сведение его к закону.

Искажения смысла классических правовых конструкций, по мнению Вилле, не могли не повлечь за собой и искажения правильных представлений о ***сущности обязательства***. Речь идет не только о появлении таких неизвестных римлянам понятий, как, например, «политические обязательства». Метаморфозы наблюдаются и в частноправовых конструкциях. Вообще в этом вопросе правоведение слишком увлекается подражанием этике. Дело доходит до того, что понятие права становится негативным отпечатком понятия обязанности, как это, например, происходит в доктрине Кельзена. Последний вообще склонен считать обязанность чуть ли не базовым понятием теории права. Философии права Модерна присущ порочный круг рассуждений, когда из понятий об обязательстве выводится понятие права, и одновременно, из понятия права выводится понятие обязательства. Причиной возникновения этого недоразумения в европейском правоведении Вилле считает кризис частноправовой сферы в эпоху средневековья и повышенное внимание по отношению к моральным обязанностям по преимуществу религиозного характера, взявшим на себя роль

[6] Для того чтобы оценить всю справедливость этих утверждений Вилле, достаточно хотя бы вспомнить гоббсов список «основных законов человеческой природы». Очевидно, что Гоббс представил нам конспект своих собственных нравственных предпочтений, и при этом придал ему объективный характер. Один из гоббсовых законов осуждает пьянство. Философ, как известно, был равнодушен к спиртному. Но мы вправе задуматься. Если бы Гоббс любил выпить, внес ли бы он этот закон в свой список? Между тем, подобным образом поступают почти все титаны философии Нового времени. Вместо рассуждений об объективных проявлениях человеческой природы, они сочиняют ее на основе собственных представлений о нравственности.

основного социального регулятора. Возникшие в средние века представления позже переносятся на почву доктрин естественного права и общественного договора. Теория обязательства в Европе становится целой наукой, тогда как в древнем Риме внимание к ней не было столь огромным. Вилле цитирует пассаж из Павла: *«Сущность обязательства состоит не в том, что какая-либо вещь, или сервитут будет нашим, а в том, что дебитор будет вынужден исполнить для нас некоторую повинность»*.[7] В римском правоведении, подчеркивает он, нет рассуждений об обязанности соблюдать законы, или уважать собственность. Сфера применения этого понятия значительно уже современной. Для римского юриста обязанность это такая же вещь нематериального характера, как и право. Гай, проводя свою классификацию вещей, делит вещи на res corporalis и res incorporalis. К последним он относит jura и obligationis. Это еще раз подчеркивает тот факт, что римская наука не противопоставляет права и обязанности, а рассматривает их как однопорядковые явления. И уж ни в коем случае обязательство не ассоциируется исключительно с ограничением права, понимаемого как свобода, или мера произвола.

Новоевропейская концепция источников обязательства, как считает Вилле, страдает недостатком внутренней логики. Прежде всего, если признается естественная свобода человека, то весьма трудно найти основания для возникновения обязанностей. Философия права Модерна разрешает это противоречие путем признания источником обязанностей, как и правовых представлений в целом, человеческий разум. Вторым источником обязательств признают договор, и в частности - договор общественный. Эти конструкции базируются целиком и полностью на априорном рационализме. Противоречие, однако, состоит в том, что их пытаются обосновать на основе текстов Римского права, не замечая того, что творцам последнего органически чужда подобная модель мышления. Консенсуализм им также не известен. Римское “contractus”, - считает Вилле, - понятие совсем иное, нежели наш “договор”, трактуемый нами, прежде всего, как встреча воль субъектов. Он рассуждает следующим образом: известно положение Римского права, согласно которому контракт может порождаться передачей вещи. Правовые последствия создает и возврат вещи законному владельцу. Но, рассуждает Вилле, я возвращаю взятую вещь не потому, что я дал на этот возврат свое согласие, а потому что Я ВЗЯЛ ВЕЩЬ, НО ОНА НЕ МОЯ, то есть - это - не моя часть распределенных внешних благ и часть эта должна быть возвращена независимо от моей воли и от моего согласия. То же справедливо для вербальных и консенсуальных контрактов. Источником обязательства является, таким образом, не обмен обещаниями. Его источник - само цивильное право. К такому пониманию обязательства Вилле и предлагает вернуться, как к более соответствующему реальной природе социальных отношений. Важным делом он считает и “объявить собственностью юристов” сам термин “обязательство”. Использование его в выражениях типа “моральное обязательство”, или политиче-

[7] М. Вилле. Метаморфозы обязательства. 1969. Critique de la pensee juridique Moderne. p. 205.

ское обязательство" недопустимо, так как это неизбежно приведет к смешению регулятивных функций права, морали и политики, и, в конечном счете - к порочному кругу в рассуждениях. Гораздо правильнее в этическом и политическом лексиконе использовать термины "долг", "предпочтительное поведение" и др.

Ложные представления об объективном и субъективном праве вызвали к жизни и весьма искаженное представление о ***праве собственности***. Нынешнему понятию о нем, Вилле опять же предлагает противопоставить древнеримскую концепцию. Подобно остальным субъективным правам, право собственности трактуется юристами нового и новейшего времени как власть, или полномочие, гарантированное правом, и рассматривается как один из инструментов осуществления личной свободы. Выработанная естественно-правовыми школами система полномочий собственника - "владеть, пользоваться и распоряжаться" - утверждает фактически неограниченную и произвольную свободу лица в его отношении к вещи. Необходимость противопоставить власть собственника власти других лиц и государства привела к созданию мифов о естественном характере права собственности и о первоначальном завладении, как о его первичном основании. Не менее ярким «достижением» правовой мысли Нового времени является "публичная собственность" - "лингвистический монстр", совершенно неизвестный Римскому праву.[8] На основе этих конструкций индивидуализм Модерна создает эгалитаристские утопии о равных свободах и равной собственности, не обращая внимания на то, что возможность неравенства заложена именно в современном понятии собственности. Последующий приход на смену естественному источнику иных источников права собственности (труд - в марксизме и ранее - у Локка; воля законодателя - в позитивизме, и т.д.) не устраняет несообразности этого понятия.

В классическом Римском праве Вилле видит единственную приемлемую концепцию права собственности. Само рассмотрение собственности в двух ипостасях (как proprietas - особое свойство вещи и как dominium - атрибут лица в отношении вещи) он считает весьма разумным. Правильным ему кажется и то, что римское правоведение избегает рассмотрения вопроса о полномочиях собственника, ограничиваясь лишь вопросом о том, кому что принадлежит. Dominium включает в себя не только благоприятные аспекты собственности, но и бремя управления имуществом и прочие общественные обременения. Строго говоря, в Римском праве собственник - прежде всего - лицо, несущее бремя управления имуществом, «директор» вещи. Пользование не есть обязательный элемент права собственности. Более того, в Римском праве, как полагает Вилле, права собственника по преимуществу противопоставляется правам узуфруктуария. Распоряжение также не есть обязательный элемент права собственности, так как для римлян оно, как и многие иные аспекты отношения собственника к

[8] Critique de la pensee juridique Moderne. p. 187-200. Упоминание Гаем публичных вещей и общих вещей не должно вводить нас по этому поводу в заблуждение, так как в его классификации вещей, эти две категории наряду с вещами божественного права противопоставляются тем вещам, которые могут быть proprietas.

вещи является предметом морального либо сакрального, но не правового регулирования. Если европейский модерн больше интересуется отношением “лицо - вещь”, то Римское право большее внимание уделяет отношениям свободных граждан по поводу вещей. Иного положения быть и не могло, исходя из того, что римские юристы никогда не представляли себе права на индивидуальном, но всегда - на межиндивидуальном уровне. И - самое главное - римляне никогда не рассматривали собственность в качестве абсолютного права.

Следующее проявление кризиса - ***утверждение императивной модели правовой нормы***. Современные теоретики права склонны определять нормы права как особого рода предписания, общеобязательные правила поведения. Это понимание отражается и в представлениях о структуре правовой нормы. Традиционный подход выделяет в ней три части: гипотезу, диспозицию и санкцию. Делаются робкие попытки взглянуть по-иному на эту структуру. Так Жан-Луи Гардье видит структуру нормы права следующим образом[9]: указание на лица - указание на возможные действия - деонтический фактор соединения лица и действия (обязательно, запрещено, дозволено, оставлено на усмотрение). Суть, однако, остается прежней - сомнений в императивном характере нормы права не существует. В разрез с этим господствующим взглядом, Вилле доказывает, что наиболее правильной правовой системе - древнеримской - был присущ не императивный, а индикативный характер норм[10]. Основой права в древнем Риме Вилле видел деятельность судей по разрешению дел, связанных с распределением внешних благ. Римскому суду не были известны ходовые у нас формулы типа: “обязать ответчика...” и т.п. Задачей судьи было - определить и назвать принадлежащую каждой стороне часть материальных благ (“Раб принадлежит Авлу Агерию”). Делать же вывод об обязанности лица совершить конкретное действие во исполнение провозглашенного решения должны были в зависимости от ситуации представители административной, либо полицейской власти. Понятно, что такого рода судебное решение могло быть изложено лишь в индикативе. А так как Вилле считает, что именно на основе наиболее справедливых решений, выработанных судебной практикой, формировалось большинство текстов Corpus Juris Civilis, то отсюда он необходимо приходит к выводу о преимущественно индикативном, почти «прецедентном» характере римских правовых формул[11]. Большим достоинством Гражданского Кодекса

[9] J.-L. Gardier. Logique du Droit. Dalloz. 1975.

[10] Отрицание Вилле императивного характера правовых норм связано с отрицанием им регулятивной функции права. Как мы помним, функцию регулирования общественных отношений он резервирует за моралью. Необходимо отметить, что попытка Вилле обосновать эту точку зрения на основе аристотелевской концепции права достаточно сомнительна. По крайней мере, с позиции Вилле было бы чрезвычайно трудно объективно растолковать значение одного из самых известных пассажей аристотелевской «Политики»: «понятие справедливости связано с представлением о государстве, так как право, служащее мерилом справедливости, является регулирующей нормой политического общения». (Аристотель. Сочинения. Т.1, с. 380).

[11] А.В. Ильин счел учение Вилле об индикативном характере правовой нормы «манихейством». Если рассматривать это утверждение Вилле в отрыве от методологической части этого учения, то действительно могут возникнуть определенные аналогии с манихейством. Однако следует учитывать, что, согласно виллеанской

Французской республики (в особенности тех его статей, которые создавались под непосредственным наблюдением Бонапарта) Вилле считает заимствование индикативного характера правовых норм. Увлечение же императивным наклонением в подавляющем большинстве правовых текстов он объясняет воздействием традиции Торы (для которой более чем характерна императивность изложения: "Не убий, не укради..." и пр.) - с одной стороны и смешением в европейской традиции философских систем нового времени сфер права и морали (нормы которой всегда императивны) - с другой стороны. Вилле не отрицает ценности императива для юридической сферы. Он лишь предлагает различать непосредственно "правовое" и "постправовое". К первому относится деятельность судьи, ко второму - последующая деятельность лиц, или органов, могущих осуществить принуждение. *"После судьи должен появится жандарм"*. Это различение правового и постправового проводил еще Аристотель. В шестой книге «Политики», где среди прочих государственных должностей называется и должность исполнителя судебных решений, мы читаем: *«далее следует власть весьма необходимая, но, пожалуй, самая тяжелая: она приводит в исполнение приговоры над осужденными по суду, взыскивает недоимки с государственных должников, сторожит узников… Она необходима потому, что не было бы никакой пользы в правосудии, если бы решения суда не приводились в исполнение, так что, если государственное общение вообще немыслимо без суда, то оно столь же немыслимо без исполнения решений»*.[12] Понятно, что смысл этой деятельности отсутствовал бы, если бы ей не предшествовало описание порядка вещей, который должен быть обеспечен исполнителем. Ценность императива определяется, таким образом, предшествующим ему индикативом по формуле, например: "Должен" (правовой индикатив) - "заплати" (постправовой императив).[13]

методологии, правовой индикатив, и вообще - любая правовая пропозиция, является результатом диалектического дискурса, а не размышления отдельного индивида. Правовой индикатив, согласно Перельману и Вилле не утверждает абсолютной истины, а отражает тезис, наилучшим образом диалектически доказанный на данный момент, и могущий быть опровергнутым в дальнейшем. Таким образом, Вилле вряд ли присуще "убеждение в возможности единственно верного описания субъектом сложных явлений объективного мира", что уважаемый Андрей Витальевич трактует, как подобие манихейства.

Следует также заметить, что Вилле не отрицает полностью значение императивных моментов. Правовой индикатив имеет в его понимании смысл, в том случае, если за ним следует постправовой императив.

[12] Аристотель. Сочинения. Т.4. с. 584

[13] M. Villey. Indicatif dans le Droit. 1973. Critique de la pensee juridique Moderne. p. 51-84. В этом разделе, как и в своих рассуждениях о сущности обязательства, Вилле, как нигде часто, прибегает к софистическим уловкам. Он игнорирует различие понятий «обязательство» и «обязанность», «долг» и «долженствование». Так, например он говорит примерно следующее: «Если я должен кому-либо деньги, это не означает, что я должен их отдать. Это лишь указание (индикатив) на пассив в моем достоянии». В философском смысле, это, возможно и верно. Но с точки зрения правовой практики, которую нельзя игнорировать, в чем еще может заключаться существо долга, как не в том, чтобы «быть должным отдать»? В чем еще может состоять мой «пассив»? В том, что мне придется передать другому! Позиция Вилле противоречит и цитате из Павла, которую он в другом месте приводит в обоснование своих мыслей: «Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какой-либо предмет или сервитут, но чтобы обязать другого дать нам что-либо, или сделать, или предоставить».

Отрицая императивность правовых норм, Вилле допускает и опаснейшую для себя оговорку. Он говорит: «Юрист не дает императивов, он лишь говорит о том, что есть и что будет». Это самое «что будет» явно выпа-

3.2. *Неверные представления о соотношении права и политики*

Этот мир – маскарад демонов в масках нравственных ценностей.
Мишель Вилле

Как мы это уже неоднократно подчеркивали, одним из важных проявлений кризиса правопонимания является, согласно Вилле утрата необходимо четкого разграничения сфер права, морали и политики, ведущая к утрате правом его автономии. О проблеме соотношения права и морали многое уже говорилось выше. Теперь необходимо вслед за Вилле поднять вопрос о предпочтительном соотношении права и политики.

Двадцатое столетие, по мнению французского ученого, породило такое своеобразное явление, как "право, инвестируемое политикой"[14]. Перед юристами ставится задача выбора политики, которой они намерены служить в своей практической деятельности. В 60-е годы, когда писалось эссе Вилле, посвященное этим вопросам, для университетской интеллигенции Франции, в особенности для ее молодых представителей и студенчества очевидным являлся выбор в пользу социалисткой политики, зачастую - с откровенно марксистским уклоном. Признавалось, что образование вообще, и юридическое образование - в частности обязаны служить преодолению крайностей капиталистического общества, если не сокрушению последнего. Политизация права имеет, однако, и внутренний аспект. В двадцатом веке возникли такие понятия, как "уголовная политика", «налоговая политика», и т.д. Причем в данной ситуации то же уголовное право рассматривается уже не как свод правил о мерах наказания, а прямо - как политика регулирования баланса в обществе, опирающаяся на достижения различных наук, и маскирующая партийные интересы призывом к обеспечению всеобщего блага и уменьшению страданий почти в бентамовском духе. Единственная панацея, которую в такой ситуации ученые пытаются противопоставить политизации права - все тот же нормативизм, уповающий главным образом на развитие юридической техники. Юрист, согласно этой точке зрения - всего лишь арбитр. Ему неважно, почему идет игра, какие цели преследуют играющие и кто должен победить. Он лишь следит за соблюдением правил и придерживается "научной объективности". Этот аспект нормативизма, однако, не может получить всеобщего признания. Против него выступают как принципиальные юристы, видящие в нем проявление "страусиной психологии" и не верящие в идеологическую нейтральность любого социального действия, а также те, кто считает нормальным подчинение права политике.

дает из логики его рассуждений. Юрист, или законодатель – это не астролог и не предсказатель будущего. Если он говорит о том, что будет, то здесь подразумевается его волевое решение. А волевое решение, указывающее на будущее положение вещей – разве это не императив?!

[14] См. эссе "Политика и право". Critique de la pensee juridique moderne. p. 235-274.

Предлагаются различные варианты соотношения права и политики. Правоведы либерального толка признают, что право должно служить лишь «гуманной политике», избегая при этом связанных с ней соблазнов прагматизма и утилитаризма, и сохраняя свою некоторую автономию. К праву при этом предъявляется требование стабильности в противовес нестабильной и изменчивой политике. Упор должен делаться именно на врожденные и неизменные права человека, символизирующие одновременно и гуманизм и стабильность. Ценность же писаного права определяется его соответствием нормам христианской и гуманистической морали. Такого рода “автономия“ права в отношении политики, ведет вместе с тем к полной утрате им автономии в отношении морали. Вилле не устает повторять, что истоки подобных доктрин - в философии Модерна, сотворившей воображаемую сущность человека. Предметом же права могут быть только межиндивидуальные отношения, а не субъективные интенции. Порождаемая этой моделью мышления зависимость права от морали не менее вредна для правовой науки, чем его зависимость от политики. Либеральная позиция не может быть убедительной для всех. Те же правоведы-марксисты могут заявить, что возвышение естественного права и права человека - это тоже политика, опирающаяся на служащие капиталу правовые теории. И главное - либеральный индивидуализм провозглашает независимость права от политики, но не доказывает ее научно.

Для Вилле, однако, важно не только провозгласить автономию права, но и четко определить его область, ведь не зная, что такое право, мы не сможем узнать, что такое юрист, и эффективность юридического образования в таких условиях будет сомнительной. Чрезмерный утилитарный уклон правового образования ведет к тому, что преподаватели права по существу учат студентов иному искусству, чем то, которым они сами заняты. Являясь призванными изучать социальный порядок, они воспитывают префектов или страховщиков, не будучи сами ни префектами, ни страховщиками. Необходимо также делать одно важное различение. «Изучать политику» и «служить политике» для юристов - это не одно и то же, хотя многие этого и не осознают.

Прежде, чем провести границу между правом и политикой, Вилле считает необходимым произвести семантической анализ, и выяснить - что такое “политика”. Трактовка политических отношений, исходящая из традиций юридического рационализма Модерна его не устраивает. Эта традиция трактовала государство как продукт волевого решения индивидов, а стало быть, политика в ней становилась царством индивидуалистического произвола. Фактически, термин “политика” теперь означает совокупность средств для реализации чьих-либо целей. Именно из этого вытекают такие обороты, как «уголовная политика», «политическое здоровье», и т. д. В предпочитаемом же Вилле аристотелевском учении, инивидуально-волюнтаристский аспект не играет существенной роли. Политическое сообщество для аристотеликов, каковым всегда был Вилле - такая же естественная сущность, как минерал, или животное. Таким образом, по-

литика здесь - не мир индивидуального произвола, отделенный от объективно сущего. В основе аристотелевского понимания политики лежало глубокое изучение структур античного полиса. В этой модели мышления право предстает органически связанным с политикой, ибо правовая деятельность является частью политической жизни, одним из тех видов деятельности, которые ее составляют. Право вообще возможно только в политическом сообществе, и исходя из этого принципы юснатурализма, выведенные из разного рода философских "робинзонад" нового времени неосновательны. Юристы, действующие во имя общего блага, обязаны в большей степени интересоваться социумом в целом, чем природой отдельного индивида.

Однако, ясно, что поскольку часть и целое - не одно и то же, право и политика не совпадают. Существует разница задач и специализация органов. Как же должно быть построено соотношение? Вилле напоминает о более узком понимании политики, относящем к ней деятельность тех, кто занят войной, администрацией, полицией, управлением. В античности эта деятельность обособлялось от экономической сферы, которая в современном мире практически тоже сливается с политикой. Отдельно от нее рассматривалась сфера искусств и наук. Наконец в четвертую сферу была включена деятельность тех, кто осуществляет справедливый раздел благ между гражданами. Эта сфера в аристотелианском понимании и составляет право. Необходимость реализации этой задачи ведет к созданию специальных органов, отличающихся от органов правительственных.

Некоторым образом, право действительно «служит» политике. Это вытекает из закона природы, требующего взаимодействия различных структур. И политика и экономика нуждаются в праве. Право должно быть полезным для них и ни в коем случае не может изолироваться от лиц занятых иными социальными функциями. С другой стороны, для того, чтобы решение судьи было исполнено, требуется санкция, или иная форма вмешательства государственных органов. «Что такое - правосудие без меча?!».[15]

Мы оказываемся перед мнимым противоречием. Право и автономно и зависимо от политики. Вилле разрешает это противоречие следующим образом. Строго говоря, право помогает, а не служит политике. Существует связь между различными социальными сферами, каждой из которых присуща своя особая цель. Цель права - не богатство (как у экономики) и не порядок (как у политики). Оно занято разделом благ, основанным на наблюдении реальности. Вилле не согласен с теми, кто доказывает спаянность права и политики тем, что обе они служат общему благу (в более современном варианте - "находятся на службе у Человека!!!!!"). Право-де есть инструмент гуманной политики. Беда в том, что нельзя вывести никаких строго научных положений и представлений об "общем благе". Это пустое, оценочное понятие, не позволяющее на его основе

[15] Там же. p. 268. Один из персонажей данного эссе, написанного в форме диалога, - университетский повар - находит точную аналогию: "Это вточь как в готовке! Если бастуют газовщики, на чем мне прикажешь жарить бифштексы? А если на кухне - шаром покати, тут сами газовщики пояса и затянут!"

принимать конкретные решения[16]. Понятия о благе противоречат друг другу. То, что является политическим благом - помощь странам третьего мира, иностранным партиям, и т.д. - является одновременно экономическим злом для державы, страдающей излишней филантропией.

Для Вилле также несомненно, что право имеет самостоятельную ценность и иные цели, чем политика (в узком смысле этого слова). Большим пробелом современной науки в сравнении с аристотелизмом он считает отказ от выделения целевых причин, ибо именно на их основе возможно определения средств и инструментария любого рода деятельности. Трагедией юристов является их зависимость от администрации, полиции экономики и технократии. Но при этом, очевидно, что "ни IBM, ни NASA" ничего существенного к праву не добавят. Устами Аристотеля, участвующего в диалоге «Право и политика» под именем профессора Etotsira, Вилле призывает юристов: *«Не бойтесь замкнуться в гетто, если это необходимо для того, чтобы остаться свободными. Ваше дело - справедливое распределение. В этом деле нельзя быть подчиненными кому-либо постороннему, в особенности - государству, банкирам и профсоюзам»*.[17]

В современной Вилле ситуации, он мог сделать, однако, лишь неутешительный прогноз будущего соотношения политики и права. Французские университеты, - считал он - придерживаются слишком ошибочных установок для того, чтобы иметь возможность вернуться к правильному пониманию этого вопроса. Реальные (аристотелевские) представления о правосудии заменены его идеальным пониманием в кантовском духе. Философы права критикуют друг друга, изощряясь в сложностях, забыв при этом азбуку юридической науки, и не помня об очевидных проблемах практической жизни.

3.3. *Концепция прав человека как основной показатель кризиса правовой мысли.*
Проблема индивидуализма в правопонимании

Почему бы вам, дорогой коллега, не начать с того, чтобы включить в ваш список «прав человека» право студента на размышление?
Мишель Вилле

Взгляд Вилле на проблематику, связанную с современной концепцией прав человека достаточно широк. По существу, он пытается подвергнуть ее критическому рассмотрению одновременно с точки зрения философской, с точки зрения философско-правовой и с точки зрения формально юридической. Вопрос о концепции прав человека в качестве неотъемлемого элемента искаженного пра-

[16] К сожалению, проблема состоит в том, что как раз это «пустое и оценочное понятие» общего блага – есть одна из основ политико-правового учения Аристотеля – непререкаемого авторитета для нашего героя.

[17] Там же. p. 273

вопонимания представляется Вилле настолько важным, что он посвящает ему одну из наиболее капитальных своих работ (“Le Droit et les Droits de l’Homme”).

Еще не касаясь чисто юридического аспекта проблемы, Вилле уже ясно видит в анализируемой концепции ряд идеологических пороков и логических “несостыковок”. Давно уже стало обычным делом критиковать мыслителей Нового времени за идеализм их доктрин, проявлявшийся в вере в построение “земного рая”, в абсолютный прогресс и всеобщее процветание. При этом Вилле кажется странным, что никто не замечает одного факта: СОВРЕМЕННАЯ концепция прав человека основана именно на этих идеологических установках.

В связи с этой концепцией последнее время все чаще вспоминают школы “возрожденного естественного права”, надеясь именно в них найти для нее надежное теоретическое обоснование. Разумеется, по сравнению со старым юснатурализмом, эти школы внесли ряд изменений. Так система права уже не рассматривается в качестве неизменной и универсальной. Культ разума они пытаются согласовать с учетом исторического опыта, и т.д. Однако это кажется Вилле недостаточным. Сам он выделяет две “волны” в развитии нового юснатурализма. Первая относится к началу века и связана с именами Штаммлера, Жени, Дель-Веккио и с бурной деятельностью неокантианских школ. Штаммлер, как считает Вилле, смешивает практическую философию Канта с его анализом форм теоретического разума. Он рассчитывает получить от разума формы, лексикон права, а также - основные понятия юридической науки. Разум, по Штаммлеру, способен подарить нам идею права - тот идеал, который будет делать практическое право все более и более справедливым. Содержание же этого идеала будет изменяться вместе с историей и экономикой. В это же время ряд юснатуралистов обращался к томизму. Это, однако, был уже томизм, зараженный традициями второй схоластики и вольфианством. И, наконец, третьи юснатуралисты обращаются к современным системам. Рейнах, например, считал возможным с помощью феноменологии открыть основные юридические положения постоянной ценности, на базе которых юристы будут строить систему позитивного права.

Вторая волна обновленного юснатурализма не столь богата яркими представителями, как первая. Она возникла после второй мировой войны, и в ее основе не столько достижения теоретической мысли, сколько эмоциональный отклик на ужасы фашизма и войны, пафос Нюрнберга и кризис нормативизма.

Вилле полагает, что, несмотря на все новшества, сущность всех этих течений остается той же, что и в эпоху Просвещения. Он убежден, что из моральных законов нельзя вывести правовых решений. Право не диктует правила поведения, а осуществляет раздел благ. Положения же юснатурализма слишком абстрактны. “Обязательство уважать человеческую личность” ничего не говорит о конкретных отношениях между лицами. Вилле видит здесь лишь напыщенность и ошибочность формул, маскирующих реальную несправедливость.

Он с удовольствием цитирует Анри Батиффоля, сказавшего однажды, что *«теория естественного права - это вечно воскресающий труп»*.[18]

Трагедия современного мировоззрения состоит в том, что, искренне стремясь к всеобщей справедливости, человечество малодушно отказывается замечать ирреальность декларативных установок. Провозглашение же их политическими организациями, на практике преследующими совершенно иные цели, и готовыми во имя этих целей принести в жертву любые "общечеловеческие ценности" является просто неприличным проявлением цинизма[19].

Провозглашаемые права обещают своим "носителям" гораздо больше того, что реально может обеспечить бюджет любого из государств. Существует также очевидное противоречие между чрезмерно абстрактным способом изложения декларативных норм и необходимостью их последующей конкретизации в актах низшей юридической силы. Провозглашается, например, свобода выражения мнений. Рано или поздно, однако, необходимо будет сделать законодательную оговорку о том, что она не распространяется на пропаганду расизма и насилия. Реальность к тому же подсказывает, что предоставление слова всем желающим физически невозможно. Политическая мысль начинает рассуждать об опосредованном выражении мнений - через прессу, партии, парламент. Таким образом, сама практика, в конце концов, делает провозглашенное неограниченное право очевидно ограниченным. Встает законный вопрос - зачем тогда нужно было изначально закреплять ирреальную, чрезмерно абстрактную и неизбежно фиктивную норму[20]?

Логически положение осложняется тем, что авторы нормативных актов, в которых закрепляются права человека, не замечают некорректности объединения в одном контексте формальных прав (т. наз. - "основных свобод") и субстанциальных прав, носящих социально-экономический характер. Это, плюс необходимость закрепления прав всех возможных социальных слоев, плюс возможность неограниченного расширения "списка" прав человека, плюс содержательная противоположность одних прав другим[21] - в конечном счете, лишает

[18] Philosophie du Droit. Vol. II. p. 91 - 95

[19] Некоторые реалии современной международной политики демонстрируют актуальность наблюдений Вилле. Теперь очевидно, что те же Соединенные Штаты нашли в концепции «общечеловеческих ценностей» универсальное оправдание любому действию. Для этого оказалось достаточным отождествить эти самые ценности со своей собственной национальной идеологией и официально заявить о том, что любое несогласие с ней будет воспринято как симптом бесчеловечного режима, по отношению к которому будет оправдано любое насилие.

[20] Вилле иногда слишком прямолинеен, фактически доказывая несущетвование прав человека их постоянным нарушением. Это, конечно, не совсем корректно. Ведь, как однажды остроумно заметил на своей лекции (и, кажется именно по поводу мыслей Вилле) профессор Жан-Пьер Бо, «нарушение закона не есть свидетельство его несуществования». С другой стороны, у Вилле речь идет не столько о нарушении группы конкретных правовых норм, сколько о наличии целой отрасли права, нормы которой чисто декларативны. Во всяком случае, сама постановка вопроса об искусственности некоторых установок доктрины прав человека представляется нам вполне правомерной.

[21] Вилле всерьез полагает, что равное закрепление прав, противоположных по содержанию (право на аборт и право на жизнь и т.д.) является серьезным аргументом против возможности включения прав человека в собственно юридическую сферу. Вместе с тем, стоит вспомнить, что Вилле считает задачей права нахождение золотой середины, правильной пропорции при разрешении конкретных дел. Логичным для него было бы признать, что для права будет более чем нормальным находить середину между этими крайними по содержанию

анализируемую концепцию логического стержня.

Как мы это уже выяснили, образцом для подражания Вилле всегда считал римскую концепцию права. Разумеется, что при этом перед ним не могла не возникнуть задача доказать отсутствие в Римском праве чего-либо схожего с современной концепцией прав человека. Прежде всего, по его глубокому убеждению, подобная концепция не могла существовать там, где не существовало понятия "субъективного права" (выше мы показали, каким образом Вилле демонстрирует отсутствие этого понятия у римлян).

Повторим еще раз: критикуя концепцию прав человека, Вилле не ставит под сомнение необходимость уважения достоинства человеческой личности, а всего лишь хочет четко разграничить сферу права и морали, поскольку речь идет о различных науках. Его анализ отношения древних к этой проблематике определен именно этой позицией.

Несомненно, что уважение достоинства человека было важной составной частью социальной философии античности. Именно из нее черпает многие свои положения европейский гуманизм. Аристотелевское понимание свободы человека, как возможности поступать разумно, гораздо более импонирует Вилле, чем сартровское ее понимание, как возможности действовать произвольно. Кто только из историков политической философии не упрекал Аристотеля за философское оправдание рабства и расового неравенства! Однако мало кто учитывает, что, оправдывая рабство, Аристотель трактует его, прежде всего как общественную экономическую необходимость, навязанную природной необходимостью. Это гораздо благородней, чем ставить в основание рабства войну, насильственный захват, или деньги, как это делается в большинстве случаев. В рабстве, по Аристотелю, проявляется не только интерес рабовладельца, но и неустранимый в данных условиях общий интерес. Вместе с тем, он признает добровольное освобождение рабов проявлением добродетели со стороны владельцев.

Наши представления о характере рабства в древнем Риме Вилле также считает несколько искаженными, и проистекающими из плохо понятой юридической литературы. Действительно, раб был лишен гражданских прав, но в этом он не отличался от прочих "лиц чужого права", к которым, в сущности, относились все члены семьи, кроме самого "pater familias". Если к рабу относится термин «re», то лишь в том смысле, что он может быть предметом иска (как, скажем, и свободный ребенок, чье происхождение или содержание является предметом спора). Само право касалось лишь вопроса о принадлежности рабов, не рассматривая вопроса о мере произвола над рабами[22], не устанавливая какого-

правами в зависимости от конкретной ситуации.

[22] Здесь мы снова имеем дело с некоторым искажением исторической правды. На самом деле, римское право четко устанавливало виды телесных наказаний, которые хозяин мог применить в отношении раба. Соответствующие положения мы видим уже у юристов-классиков. А в эпоху Антонина Пия и Марка Аврелия совершенно четко регулируются порядок и условия продажи рабов и их отпуска на свободу. Об этом достаточно любопытно пишет Ренан в своей книге «Марк Аврелий и конец античного мира».

либо jus vendendi и, тем более, не санкционируя произвола (права жизни и смерти) над ними. Более того, жестокое отношение к рабам может влечь за собою infamia, и даже более серьезные последствия.

Некоторая искусственность данных рассуждений Вилле очевидна. Уже то, что раб мог быть объектом купли-продажи заставляет усомниться в том, что он, якобы, считался "re" лишь в качестве возможного предмета иска[23]. Приводимая Вилле параллель с отчуждением рабочей силы в современном мире откровенно некорректна. Рабочая сила отчуждается самим работником, раб же продается своим владельцем, и к тому же продается как физическая сущность, неотделимая от связанной с ней силы. Если право действительно не предусматривало для рабовладельцев jus vendendi в отношении рабов, то совершенно непонятно, на какой основе эта продажа осуществлялась фактически. Здесь можно выдвинуть два предположения. Или продажа эта осуществлялась вопреки праву, и тогда ее масштабы говорят о фиктивном характере превозносимых Вилле правовых установлений Рима, или право такое все же было предусмотрено. Последнее предположение более логично, исходя и из того, что нормальным является положение, согласно которому собственник обладает jus vendendi в отношении всего своего имущества и специальное указание, подтверждающее это право по отношению к какому либо конкретному объекту собственности, представляется излишним. Раб же в римской классификации вещей называется среди прочих вещей, без каких либо оговорок. Гай относит рабов к телесным вещам: *«телесные вещи – те, которые могут быть осязаемы, например участок земли, человек, золото, серебро и, наконец, другие неисчислимые вещи»*[24]. К тому же в Дигестах прямо говорится и о продаже рабов и о предоставлении узуфрукта на труд раба. Текст восемнадцатой и девятнадцатой книг Дигест не оставляет в этом ни малейшего сомнения.

Великим достижением античности, как считал Вилле, было построение универсальной морали, позволявшей эффективно регулировать множество социальных проблем. Это было гораздо более достойным явлением, нежели писаное квазиюридическое закрепление прав человека. *«Уважение человеческой личности не на словах, а на деле не было ни кантовским, ни даже христианским изобретением. Не было в Риме более восхваляемой добродетели, нежели humanitas, которая одновременно рассматривалась и как долг совершенствования в себе человеческой природы, и как долг уважения остальных... Двадцатый век пыжится изобретением "прав человека" для беженцев, инвалидов, или стариков, однако в анналах античной морали был уже предвиден долг по*

[23] Такая трактовка положения римского раба появилась у Вилле не сразу. В ранних работах ее нет. Например, в «Римском праве…» Вилле пишет: *«рабы это, как правило, иноземцы, плененные на войне и их потомки. Соответственно суровым первобытным нравам, военнопленный теряет все права; он становится вещью солдата, который его захватил или римлянина, который купил его в торжествующем победу городе; хозяин может его избить, убить, распорядиться им по своему усмотрению; он не может быть собственником».* Droit romain… С. 52.

[24] Дигесты, Кн. 1. VIII,1,1

отношению ко всем этим социальным группам... Вместо того чтобы болтать о правах бедных, лучшие из римлян молча оплачивали им хлеб и зрелища».[25]

В качестве иллюстрации Вилле приводит фабулу платоновского диалога "Евтифрон". По его мнению, персонаж, беседующий с Сократом, имеет в виду не право убитого слуги на жизнь, а просто испытывает позор при виде неблагочестивого поведения отца. Евтифрон, таким образом, призывает к справедливости не в смысле права, а в смысле морального закона.

Здесь аргументация Вилле явно сводится к софистике. Прежде всего, отправная точка основной фабулы диалога явно подразумевает обращение к праву. (*«СОКРАТ: А у тебя, Евтифрон, тоже какая-то тяжба? И ты выступаешь в ней ответчиком, или истцом? ЕВТИФРОН: Истцом».*)[26] Кроме того, задачей данного диалога вовсе не является противопоставление права морали, а лишь определение того, что является благочестивым и богоугодным. И, наконец, позиция Платона, если бы она даже была такой, какой ее представляет себе Вилле, не есть доказательство отстаиваемой сущности соотношения правовой и моральной сфер в античном мире в целом.

Вилле, однако, убежден в том, что существование универсальной античной морали делает бессмысленной постановку вопроса о существовании в этой наиболее логичной системе права чего-либо сходного с правами человека. Римское право, по его мнению, является не указательным (в котором только и возможно закрепление прав человека), а распределительным. Оно признает естественное неравенство, и потому не может устанавливать всеобщие равные права с широким содержанием.

Рассуждения Вилле об античной универсальной морали и особенностях рабовладельческого права полны логических противоречий с иными аспектами его концепции. То, что имели место не установленные правом проявления произвола по отношению к рабам, Вилле считает нормальным случаем расхождения между нормой и реальностью. Но разве не подобное расхождение рассматривается им в качестве одного из главных аргументов против концепции права человека?

Вилле, однако, на этом не останавливается, желая доказать, что концепция прав человека имеет своим источником не столько всю предшествующую гуманистическую традицию, сколько крайности юридического рационализма, стоящего на плечах схоластики. Следующим его шагом является анализ отношения к критикуемой концепции христианской идеологии.[27] Ввиду уже отмеченного

[25] Le Droit et les Droits de l'Homme. p. 87.

[26] Платон. Сочинения. Т.1, с. 297

[27] При всех своих недостатках, этот раздел рассуждений Вилле, все же достоин неизмеримо большего уважения, чем «ультрапрогрессистские» бредни некоторых наших исследователей, пытающихся обнаружить корни концепции прав человека в любом гуманитарном памятнике. Один из недавних диссертантов, например, объявляет Моисеев Закон «первой декларацией прав человека». Лучше бы было, конечно, не делать глобальных теоретических обобщений на основе исключительно второй заповеди – «Не убий!». Стоило все же внимательно прочесть первоисточник, чтобы, по крайней мере, узнать о существовании добрых трех сотен заповедей, кроме первых (и самых известных) десяти. Причем эти три сотни заповедей неважно согласуются с нашими представлениями о свободе слова, мысли, самовыражения и о самом праве на жизнь, глашатаем которого наш исследо-

нами крайнего европоцентризма Вилле, последняя сводится к католичеству. Уже в самом начале он приводит довольно известный исторический факт. Лозунги первых деклараций были признаны католической церковью противными религии и обществу. Приведение этого факта с научной точки зрения нам представляется делом бесполезным. Принимая данное положение, католическая церковь выступала не как нравственная, а как политическая сила. В этом качестве она редко отличалась постоянством идеологических установок. В последнем столетии целый ряд энциклик и булл папы римского сводятся к горячей апологетике прав человека, и Вилле не мог этого не знать[28]. При этом он считает, что именно христианство положило начало подлинному возвышению человека, предложив новую, если не вполне универсальную, то уж во всяком случае - наднациональную мораль. Мораль эта, однако, не пересекалась с квазиправовыми формами, по меньшей мере, в апостольской традиции. Иисус, как мы помним, отказывается от разрешения правовых вопросов. По большому счету, предложенный Христом универсальный закон, в понимании Вилле влечет за собой универсальный долг, напоминающий тот, что мы наблюдали в античной традиции, и таким образом, христианская этика является продолжением античной антропологии. Такое же понимание существа вопроса Вилле видит у святого Фомы, а то, что у официального идеолога католицизма не содержится ничего похожего на права человека, он считает знаменательным обстоятельством. Концепция прав человека, таким образом, имеет своим источником поздние течения католической мысли - оккамовский номиналистский переворот и волюнтаризм второй схоластики. Мы, в свою очередь, могли бы сделать только одно добавление.

Несмотря на некоторые неточности оценок, предлагаемых Вилле, в этом разделе своей концепции он в основном прав: христианство (по крайней мере, в том виде, в каком его излагали сам Иисус из Назарета, апостолы и классики ранней патристики) не имеет ничего общего с идеей прав человека. Христос и апостолы неоднократно призывали к отказу от судебных препирательств, и даже к отказу от личных прав во имя братолюбия. Очевидно, что современная система международной защиты прав человека резко противоречит этим установкам. Основатели христианского учения, окажись они здесь, наверняка оценили бы ее как международное благословение безумного сутяжничества.

Вилле, собственно говоря, не был первым ученым, высказывавшим подобные мысли. Здесь взгляды последнего крупного антимодерниста ушедшего столетия пересекаются с высказываниями одного из классиков антимодернизма позапрошлого века – Эрнеста Ренана. *«Первобытное христианство,* - писал тот, - *было движением, прежде всего религиозным. Оно сочло полезным сохранить в общественном строе все, что не было связано с поклонением идолам. У*

ватель пытается провозгласить Моисея. К сожалению, в наше время под соусом «прав человека» наша ученая публика согласна переварить любую ересь. А ведь Вилле предупреждал…

[28] Не случайно книгу «Право и права человека» Вилле посвятил Иоанну-Павлу II, указав в посвящении, что его размышления навеяны речью Папы о правах человека.

христианских учителей никогда не возникло мысли протестовать против установившегося факта невольничества. Это было бы революционным образом действия, совершенно противным их духу. Права человека ничем не обязаны христианству… Во всей древнейшей христианской литературе нет ни одного слова, которое… хотя бы затронуло вопрос общественного права, возбуждаемый в нас невольничеством. Об уничтожении неравенства говорят лишь опасные сектанты… Правоверные признают абсолютизм собственности, будь то над человеком, или над вещью… Те, которые вообразили в христианстве революционное учение о правах человека… ошиблись совершенно. Христианство не вдохновляло никакого Спартака; истинный христианин не возмущается… Что касается философского принципа, что человек может принадлежать только самому себе, то он явился в качестве общественного догмата... гораздо позднее. Сенека, Ульпиан провозгласили его в теории; Вольтер, Руссо и французская революция сделали его основанием новой веры человечества»[29].

Впрочем, слабость исторических корней - далеко не главный для Вилле недостаток концепции прав человека. Более существенным пороком ему представляется невозможность обосновать эту систему с подлинно научной доказательностью. Тезис этот не является открытием Вилле. Здесь он скорее солидаризируется с основными положениями, выдвинутыми по этому вопросу представителями брюссельской школы логики права во главе с Х. Перельманом. По существу статья Перельмана "Возможно ли обоснование прав человека?" (1964 г.)[30] является второй после бёрковской серьезной попыткой поставить этот вопрос на обсуждение. Лидер брюссельских логиков настаивает на том, что первичным условием в любом случае должна быть ясность объекта обоснования, неоспоримого в аспекте своего наличного бытия. Основание же должно быть либо неоспоримым, либо, как минимум - не оспариваемым. Поиск обоснования всегда вызывается наличием сомнения, необходимость устранения которого представляется очевидной. Это, однако, не исключает возникновения в последующем новых сомнений связанных с этим же объектом обоснования. То есть - любое основание, найденное в данный момент не может считаться абсолютным и окончательным. Именно непонимание этого и стремление нахождения абсолютного обоснования некоторых явлений, или уверенность в полной невозможности этого, ведущая к противоположной крайности скептицизма, является ахиллесовой пятой многих философско-правовых доктрин. Сам классический принцип доказывания предполагает цепочку положений, последовательно обосновывающих друг друга, причем в основании этой цепочки находится положение, которое не поддается обоснованию ввиду своей очевидности. Это означает, что идея абсолютного обоснования лежит в основе классической логики. Рационализм будет искать очевидные положения в априорных идеях, а эмпиризм

[29] Э.Ренан. Марк Аврелий и конец античного мира. с. 326-331.
[30] Ch. Perelman. Droit, Morale et Philisophie. p. 67 и дал.

- во внешней реальности, данной нам в ощущениях. Проблема, однако, состоит в том, что вопрос о правах человека погружен в сферу должного, а из сущего нельзя дедуцировать должное. Моральные и юридические нормы либо выступают как выражение субъективных эмоций, либо обосновываются авторитетом их эмитента.

Так, религиозные нормы предположительно исходят из совершенного источника и принципиально неоспоримы. Если мы разделяем теорию общественного договора, закрепившую общую волю, принцип исполнения договоров будет для нас обоснованием для необходимости реализации этой воли. Нормативизм обосновывает необходимость реализации норм права авторитетом законодателя, и т.д. Вместе с тем, все эти доктрины потерпели фиаско ввиду их ФАКТИЧЕСКОЙ необоснованности.

В истоке современного понимания прав человека лежат обновленные доктрины естественного права. Они приходят на смену позитивизму, но не является корректным с логической точки зрения возвращение к тем принципам, которые, как этого требует признать справедливость, были уже вполне аргументированно опровергнуты этим самым позитивизмом.

Права человека пытаются обосновать через “консенсус цивилизованного человечества”, но это ничем не лучше с точки зрения логики, чем кельзеновская “основная норма”. Проблемы обоснования коренятся в нелепом убеждении, которое может быть выражено формулой: “Если права человека не обосновываются с позиций нормативизма, это может быть сделано только с позиций НЕИЗМЕННОГО естественного права“. Это само по себе является необоснованной догмой. Однако, за рамками “логического абсолютизма”, качественное обоснование все же может быть найдено.

Если имеется противоречие мнений о существовании, или использовании каких-либо прав (а такого рода ситуации, как мы помним, Вилле полагает неотделимыми от современной практики защиты прав человека), необходимо либо свести эти права к единому идеологическому основанию, показав таким образом, что противоречие носит мнимый характер, либо найти основание, которое, поддержав одно из этих прав, ограничит другое, или позволит построить иерархию. В качестве такого основания для моральных и правовых норм Перельман считает возможным рассматривать концепцию человека. Познание социальных функций индивида позволяет, предпочитая единое, или повторяющееся, придать особую ценность какому-либо аспекту реальности. В этом проявляется онтологический подход к изучению социальной реальности. Существеннейшей ошибкой позитивизма является претензия на освобождение этого подхода от оценочных суждений, что невозможно, исходя из особой социальной нагрузки морали и права. Важно, что онтологическое обоснование правовых и моральных норм не должно сводиться к выведению сущего из должного, чем грешит противоположный позитивистскому рационалистический подход, лежащий в основе новых школ естественного права. Должна осуществляться

структуризация (иными словами - построение иерархии) норм на основе теоретического видения реальности. Мало достичь соглашения по основным принципам. Подлинная научная дискуссия начинается тогда, когда основные принципы подвергаются уточнению или обсуждаются в аспекте их применения к конкретным случаям. Важно помнить, что результатом такого дискурса в правовой и моральной сфере должно являться не выведение аксиом, а нахождение оптимальных правил поведения. Каждый раз, когда установленная иерархия прав человека входит в противоречие с моральным опытом, возникает необходимость осуществления индивидуального выбора через теоретическое мышление. Только индивидуальный выбор предупреждает капитуляцию перед авторитетом просвещенного деспотизма и главное - обусловливает ценность концепций их теоретической проверкой максимально широкой аудиторией. Разумность этого решения понимается не в смысле соответствия его стабильному высшему разуму, а в смысле испытания его опытом и дискуссией. Принятие нормы не устраняет последующего контроля. Норма есть не идеальное, а «нормальное» положение вещей, что и следует из этимологии термина. Но - если при создании норм мы прибегаем к человеческой аудитории, мы не можем не учитывать антропологического фактора. Сам дискурс предстает перед нами, как долг, но - долг какого рода? Именно к решению этого вопроса упирается вопрос об обосновании прав человека. Перельман не находит ответа на данный вопрос. Ответ этот может быть найден в творчестве Вилле, или точнее - в антропологической концепции Аристотеля, которую Вилле считает необходимым воскресить. Долг участия в общественном дискурсе, согласно Вилле, может быть обоснован долгом внутреннего совершенствования в себе человеческой природы, одной из высших форм реализации которого Аристотель считает созерцательную (теоретическую) жизнь. Если мы вспомним о том, что брюссельская школа ставит в основу логики дискурса теоретическое наблюдение реальности (с чем полностью солидарен Вилле), то логически все становится на свои места.

Из сказанного выше, мы можем сделать вывод о том, что концепция Вилле и близкая к ней концепция Перельмана, не отрицают в принципе возможности построения иерархии прав человека, а лишь считают неосновательной современную их концепцию, исходящую из традиции юридического рационализма нового времени.

Предлагаемая система взглядов не является причудой, ибо она прекрасно сочетается с некоторыми аспектами других направлений политико-правовой мысли. Здесь просматривается и традиция и выход на современные направления. Освященное веками влияние Аристотеля несомненно, но можно найти и другие аналогии. Еще Ж.-О. Ламеттри, творивший в согласии с канонами юридического рационализма, требовал свободы высказывания и обсуждения мнений, ставя практическое применение социальных концепций и их доктринальную ценность в зависимость от общественной апробации.[31] Замечательно и то,

[31] См. Ж.-О. Ламеттри. Сочинения. М., Мысль, 1976

что предлагаемая концепция во многих аспектах совпадает с теорией делиберативной демократии, выдвинутой франкфуртской школой, и ассоциирующей демократизм общества не с формальными требованиями к организации его институтов, а с наличием общественности, психологически и интеллектуально способной к ведению дискурса по важнейшим социальным вопросам.[32]

Виллеанскую критику прав человека не следует считать проявлением антигуманизма или реакционности ее автора. Вилле считает знаком морального прогресса растущее уважение достоинства человеческой личности вообще и каждого индивида. Критика его в основном сфокусирована на том факте, что выведение из человеческой природы фантастических субъективных прав навязывает праву чуждый ему лексикон. Никакой бесчеловечности в этом утверждении нет. Вилле рассуждает об этом как ученый, уважающий принцип объективности и не допускающий того, чтобы эмоции морального характера препятствовали корректному рассуждению о вопросах, касающихся правовой науки. Поэтому для верной оценки этой части концепции Вилле, ее также необходимо воспринимать рационально, а не эмоционально. Так, доказывая, что концепция прав человека напрасно рассматривается как противоядие от излишка нормативизма, поскольку, она, как и нормативизм основана на юридическом субъективизме, Вилле совершенно прав, как бы не огорчал нас чисто по человечески этот вывод.

Нам представляется совершенно правильной оценка, данная этой стороне учения Вилле уже упоминавшимися нами соавторами - А. Рено и Л. Сосо в их "Философии права". *«Демарш М. Вилле,* - пишут они, - *заслуживает того, чтобы не подвергаться произвольному упрощению. Должно быть сделано уточнение, касающегося внутренних устремлений его мысли. Речь идет о* ***юридическом антигуманизме****, который должен рассматриваться как таковой и только. Все его нападки, направленные против гуманизма, строго ограничены и относятся только к предполагаемым антиправовым эффектам признания человека в качестве цели и источника права. В таком понимании данная позиция прекрасно может сосуществовать с признанием этической ценности гуманизма...».*[33] Вилле признает и величие христианской теологии, и нравственное значение кантианства, однако он считает трагической ошибкой перенесение гуманизма из сферы морали в сферу права.

Моральный гуманизм исходит из сознания личности, рассматриваемой в ее целостности. Право же концентрирует свое внимание лишь на строго определенных аспектах личности. Именно непонимание специфики правовой среды вело к тому, что философы Модерна не осознавали этого факта.

Вилле, однако, и в морали остается антимодернистом. Он абсолютно предпочитает античный гуманизм с его призывом к взаимной терпимости и ненарушению границ личности, субъективистскому гуманизму Модерна.

---

[32] См. Ю.Хабермас. Демократия, разум, нравственность. М., Acadamia, 1995.

[33] A.Renault et L.Sosoe. Philosophie du Droit. p. 145.

Должно быть ясным, что в критике концепции прав человека, осуществленной Вилле, присутствовал эмоциональный оттенок. Им, отчасти, двигали личные переживания, справедливость которых трудно отрицать. В современной Европе концепция прав человека сделалась официальной идеологией. Ее положение во многом подобно положению марксистской доктрины в СССР. Лица, присягающие ей на верность, способны, при прочих равных условиях, обеспечить для себя лучшие перспективы карьерного роста, нежели «еретики». Это справедливо и в отношении деятелей науки. В их среде возникает вполне знакомая нам по советскому периоду истории ситуация. Если ученый занимается проблематикой прав человека, то сама уже тема исследования гарантирует ему признание, независимо от научного качества труда. Как только права человека стали официальной европейской идеологией, всякого рода карьеристы и любители научной конъюнктуры получили возможность предаваться своей страсти к приспособленчеству, не испытывая угрызений совести, поскольку на сей раз официальный «символ веры» не содержит в себе ничего заведомо антигуманного. Чертовски приятно чувствовать себя борцом за счастье человечества, ратующим за ограничение извечных прерогатив государства, при этом, не подвергаясь со стороны этого самого государства никаким преследованиям, и, более того, получая зачастую надежное финансирование своей «работы». Чертовски приятно создавать себе научный авторитет, переливая из пустого в порожнее и витийствуя на конференциях. Сколько великих идей, сколько грандиозных социальных свершений было опошлено и загублено всеми этими активистами, «энтузиастами», крикунами, которые вечно облицовывают фасад здания камнями, извлеченными из фундамента! И не они ли первые сделают вид, что не имели отношения к рухнувшей постройке? Не они ли первые кинутся служить новой господствующей религии?! Очевидно, что Вилле, будучи потомственным интеллигентом, будучи вдумчивым ученым, не мог не чувствовать раздражения в отношении разного рода пигмеев от науки, которым новая конъюнктура предоставила возможность играючи войти в «авангард» правоведения. Его ощущения должны были напоминать то чувство, которое испытывали представители русской дореволюционной профессуры, продолжившие работу в советских университетах, где партию первой скрипки играли не они, а бездарные комментаторы партийных резолюций, становившиеся профессорами, так и не научившись грамотно говорить. Оценивая отношение Вилле к идеологии прав человека, мы обязаны помнить, что в нем, помимо прочего, получил свое выражение яростный протест истинного интеллигента и ученого против всякого рода научной конъюнктуры, против любого приспособленчества и против всяких спекуляций на официальной идеологии. И с этой точки зрения, позиция Вилле не может не вызывать сочувствия у любого подлинного исследователя.

Отношение Вилле к ***индивидуалистическим чертам*** философии нового времени нам уже достаточно хорошо известно из его исторического анализа развития правопознания. Здесь нам остается сделать ряд уточнений, касающих-

ся соотношения позиции Вилле с общепринятыми взглядами его современников.

Оригинальность ориентации Вилле в данном вопросе станет нам более понятна, если мы охарактеризуем отношение к этой проблеме подавляющего большинства правоведов послевоенной Франции. Наиболее четко сущность этого отношения предстает нам в громадной монографии Марселя Валина "Индивидуализм и право"[34], которая признана одним из классических памятников французского правоведения двадцатого века. Поединок индивидуализма и коллективизма во французской политической мысли имеет давнюю историю, которую Валин считал необходимым проанализировать. В прошлом веке с критикой индивидуализма выступал Токвиль, сводивший индивидуализм к интеллектуальному состоянию личности, в которой последняя оказалась после крушения социального режима. Она потеряла свою включенность в особую социальную и правовую структуру, в которой коллектив рассматривался как источник помощи, защиты и поддержки, а крайне ограниченные гражданские свободы были надежно защищены и гарантированы, в отличие от плохо гарантированных декларативных прав и свобод буржуазных республик.[35] Индивид становится потерянным в толпе таких же, как и он изолированных индивидов.

В начале нашего века Леон Дюги, рассматривая проблему соотношения индивидуальных и социальных прав, делал выбор в пользу последних. Он так же, как и затем Вилле, считал абсурдным выведение права из абстрактной природы изолированного индивида и полагал, что выводимые из этого теории врожденных прав являются недоказуемыми, и строятся на основе логической ошибки типа petitio principii. Вместе с тем, основной вектор мысли французских ученых был индивидуалистическим, вытекая из поддерживаемой мыслительной традиции Просвещения. По мнению Валина, этот вектор должен быть сохранен.

Вилле и Валин резко расходятся и в вопросе об исторических корнях индивидуализма. Если Вилле, как мы помним, видел в его основе средневековый номинализм и философию второй схоластики, то Валин считает, что поскольку представители второй схоластики требовали сочетания индивидуального блага с общим благом, и даже отдавали последнему предпочтение (bonum commune трактовалось как ultimus finis политического сообщества), их философия права обладает заметным коллективистским характером.[36] Трудно судить о том, кто из двух французских ученых прав. К этому вопросу необходимо подходить осторожно, по причине различного понимания ими сущности индивидуализма. (Для Вилле – это, прежде всего, признание природы индивида источником права). Мы одинаково вправе как упрекнуть Вилле за его произвольное смешение философского индивидуализма с юридическим, так и упрекнуть Валина, за его

[34] M.Waline. Individualisme et le Droit. Domat. Montshristein. 1949

[35] Близость этого положения к позициям виллеанской критики прав человека кажется нам очевидной.

[36] M.Waline. Individualisme et le Droit. p. 32

стремление, рассуждая о правовой материи, ограничиваться только философским аспектом индивидуализма.

Вместе с тем, Валин также считает христианство одним из столпов европейского индивидуализма. Как бы христианские демократы не пытались этого отрицать, считает он, христианство по существу своему индивидуалистично, ведь спасение души признается личным делом.[37]

Позиция Валина, ориентированная на утверждение правового индивидуализма, менее основательна, чем позиция Вилле в силу того, что он использует чрезвычайно узкий эмпирический материал. Практически в своем анализе он не выходит за рамки французского правоведения. Еще хуже дело обстоит с изложением сущности антииндивидуалистических идеологий. Их список фактически сведен к фашизму, национал-социализму, и марксизму советского образца. Из этих изначально фальсифицированных посылок, разумеется, следует вывод о том, что там, где кончается индивидуализм, начинается произвол и бесчеловечность.

Несомненным Валину кажется и то, что естественные права человека являются вторым аспектом правового индивидуализма. Этот тезис разделяет и Вилле, но если для него в этом вопросе справедлива формула: “тем хуже для естественных прав”, то оптимистическая позиция Валина утверждает: ”тем лучше для индивидуализма”. Вместе с тем, определенное пересечение позиций обоих авторов состоит в том, что Валин считает права человека, в том виде, в котором они закрепляются многочисленными декларациями, моральными правами, не правами юристов, а “правами философов”. В этом плане, позиция Вилле, призывающего “не валить в одну кучу” права юристов и права философов, несомненно, более последовательна.

Валин, между тем, приводит и иные аргументы, кроме чисто исторических. Он некоторым образом сближает свою позицию с договорной теорией. Ему кажется знаменательным тот факт, что в классическом политическом лексиконе, для общества применяется термин “societas”, означающий буквально: ”общество, основанное на договоре”. Для общества вообще, классическая латынь употребляла термин “universitas”. Вместе с тем, он полагает, что индивидуальную волю нельзя рассматривать в качестве единственной основы политического сообщества. Ведь договорное обязательство проистекает не из автономии воли, а выступает в качестве “аффекта закона”, и всегда выступает как необходимое условие для применения правовой нормы. Именно закон является для

[37] Перед нами, несомненно, еще одно яркое проявление европоцентризма французских правовых мыслителей. О христианстве они судят исключительно по католицизму. Между тем, даже поверхностное знакомство с православием приводит к выводу о том, что спасение души в нем признается делом не только личным, но и соборным. Валин, впрочем, не совсем прав и в отношении католической идеологии. Само существование церкви есть проявление религиозного коллективизма. К тому же христианство в любом варианте не сводится исключительно к душеспасению. Оно направлено на преодоление метафизического зла, что является сверхиндивидуальной задачей. К тому же, христианство, только расширив понятие избранного народа, в целом наследовала коллективистские принципы иудаизма.

индивида основанием к приобретению субъективных прав, которые не могут создаваться исключительно индивидуальным волеизъявлением.

Вилле, как мы помним, считает, что, в конечном счете, право создается судебной сентенцией. Валин же полагает, что для того, чтобы такая сентенция создала право, надо, чтобы она имела юридическую ценность, и чтобы стороны согласны были ей подчиниться. Для этого, судебной сентенции должно предшествовать, по крайней мере, обычное правило, призывающее либо уважать договор, согласно которому стороны обратились в суд, либо уважать решение суда. Для того чтобы судебное решение могло создать обычай, ему должен предшествовать другой обычай, на котором основывается юридическая сила данного судебного решения. Этим обычаем может служить первоначально священное уважение к первым судьям. Но ссылкой на это нельзя ограничиться, так как право и религия далеко не всегда и не везде оказываются связанными. Важен момент индивидуальной заинтересованности. Иными словами, ценность судебного решения заключается в том, что каждый индивид видит в нем потребность, независимо от того, в пользу ли его или против его интересов решено дело.

Что касается анализа основных институтов права, Вилле и Валин проявляют порой неожиданную солидарность, несмотря на малую совместимость базовых установок. Так, Валин не считает современное признание абсолютности права собственности соответствующим римской традиции. Он также указывает на значительное количество ограничений права собственности, и связанных с ним обременений в древнем Риме. Эти рамки были всегда обусловлены социальным интересом. Так в 46-м году н.э. силами сенатус-консульта Осидиана была ограничена возможность распоряжения недвижимостью. Это предотвратило ситуацию, аналогичную той, что произошла во Франции в девятнадцатом веке, когда “черные банды” распоясавшихся выскочек-буржуа скупали и разбирали на стройматериалы сотни старинных замков.[38] Социальный интерес в Древнем Риме в принципе мог ограничить любое частное право. Известно, например, что Папиниан признавал составление завещаний не частным, а публичным делом.

Впрочем, этим принципиальное сходство позиций обоих ученых ограничивается. Главным образом, различие касается вопроса о правах человека, в рассмотрении которого Валин, разумеется, исходит из принципов индивидуа-

[38] M.Waline. Individualisme et le Droit. p. 331-333. Осидиан, конечно, был умницей! В наше время, очевидно, необходимо введение более жестких ограничений в пользовании собственностью, имеющей культурно-историческое значение. По странному совпадению, именно в тот момент, когда в 1996 году в Страсбурге, читая Валина, я дошел до упоминания о мудрости Осидиана, “Radio Classique d’Alsace”, транслировало блок шедевров американской киномузыки. Ведущий программы поведал ужасающие факты. После смены собственника кинокомпании “MGM” в 1970 г. новые хозяева просто сожгли за ненадобностью сотни партитур великолепной киномузыки. Эти шедевры уже никогда не прозвучат в концертных залах, если только энтузиасты, обладающие абсолютным слухом, не восстановят их по прослушивании. Но ведь речь идет о сотнях партитур… Да здравствует Индивидуализм!

лизма.[39] В "Декларации прав человека и гражданина" 1789 года он видит совершенное выражение индивидуалистической доктрины. Это, однако, не означает, что она, как и другие подобные декларации приносят национальные и общественные интересы в жертву индивидуальным интересам. Провозглашение в первой же статье всеобщего равенства и всеобщей пользы уравновешивает положение. Декларация, стало быть, является либеральной, но отнюдь не анархичной. Этот характер обеспечивается апелляцией к закону, носящей характер лейтмотива. Неограниченная свобода (упование на которую приписывают индивидуалистам) на самом деле является химерой. Свобода - это правило, а не отсутствие правил, поэтому деятельность индивида может быть свободной лишь в принципе. Свобода должна быть организована законом и даже регламентом. Это значит, что индивидуальная свобода должна носить публичный характер, то есть - относиться ко всем гражданам, а не к отдельным лицам, или категориям лиц. Действие публичных свобод не связано напрямую с демократией. Ведь демократия может быть и авторитарной. Так Führerstaat, практикующее Führerprinzip, формально являлось разновидностью плебисцитарной демократии. Либеральное же регулирование в духе Декларации 1789 года обеспечивает должную эффективность защиты прав человека, в которых находит свое юридическое выражение переход индивидуальной свободы в публичную сферу. Стало быть, индивидуалистические интенции не мешают общественному благу, а при правильной организации права, неотделимы от него.

Валин, впрочем, признает, что крайности индивидуализма отчасти повредили Франции, исказив некоторые политические институты и подточив такие национальные добродетели, как верность общественному долгу. Однако он считает, что исчезновение индивидуалистских ценностей приведет к неизмеримо более трагичным последствиям. Надо лишь находить всегда правильную дозу индивидуализма, которую национальный организм (а он интересует Валина гораздо больше, чем организм политический) будет в состоянии перенести безболезненно. Крушение же индивидуализма неизбежно приведет к разрушению традиционных моральных ценностей и даже - к исчезновению "моральной цивилизации".

Понятно, что в условиях, когда обычное отношение большинства французских юристов к вопросу о роли индивидуализма в праве значительным образом совпадало с концепцией Валина, трактовка это вопроса данная Вилле, с его непризнанием возможности рассмотрения интересов индивида в качестве идеологического источника права, а его действий и волеизъявлений - в качестве материального источника права, не могла рассматриваться в современной Франции иначе как подлинный антигуманистический демарш.

[39] При рассмотрении данных положений, всегда следует иметь в виду, что Валин, как представитель старшего по отношению к Вилле поколению, рассматривает права человека в "доООНовском" и "докассеновском" смысле этого выражения.

3.4. *Проблема нахождения правильной методологии права.*

Философия не дает готовых решений, потому что, откровенно говоря, никаких решений быть не может, разве что за пределами этого мира. Наука тем более не дает нам универсальных решений. Философия пересматривает результаты, полученные наукой… давая возможность ощутить возможные пределы. Если философия нас разочаровывает то это потому, что от нее требуют в области универсального результатов, подобных тем, каких науки достигают в области частного и отвлеченного. И философия, не способная оправдать эти надежды, погрязает во все более и более пустых словопрениях… Она может только научить нас тому, как следует расставлять фигуры и начинать игру на шахматной доске науки. Философия – это методология

Мишель Вилле

Отправным пунктом данного раздела концепции Вилле является тезис о необходимости нахождения правильного соотношения философии и правовой науки. Ведь методологический аспект кризиса правовой мысли был вызван, по его мнению, именно тем, что создатели философских систем навязывали праву чуждые ему методы. Основных аспектов этой проблемы мы уже касались в первой главе настоящей работы. Теперь мы вправе изложить некоторые подробности.

В данном вопросе Вилле вновь солидаризируется с разработками ***брюссельской школы логики права***, и потому мы должны вкратце изложить существо данных разработок. Брюссельцы (во главе с уже знакомым нам Хаимом Перельманом) считали неправильным чрезмерное увлечение философов чисто математическими, или чисто эмпирическими методами, причем никто из создателей философско-правовых систем “не вдохновлялся правовой моделью”[40] Философы Модерна жаждали видеть в правовых законах ту же стабильность, которую они видели в законах природы, но реальность разрушала эти надежды. Различие содержания законов, действующих в разных странах и в разные эпохи, приводит к выводу о том, что человечеству неизвестна истинная универсальная справедливость. Если бы наши правовые представления в действительности так соответствовали разумным началам, как на это надеялись рационалисты, они бы не были столь относительными. Рационально-справедливое по необходимости должно быть универсальным, а всякое несогласие как раз и проистекает от несовершенства и нерациональности. Логика требует признать, что если правовой текст допускает хотя бы два одинаково убедительных толкования - это значит, что право несовершенно. По крайней мере, мы можем в подобных ситуаци-

[40] Ch. Perelman. “Ce que le philosophe peut apprendre par l’etude du droit”. “Droit, Morale et Philosophie”. p. 190 и дал.

ях с равной долей вероятности предположить, что ошибается либо законодатель, либо - один из толкователей. Это является недопустимым в «идеальном обществе», к построению которого призывают всегда творцы философских систем, и проблема эта неустранима в принципе: то, что получилось сделать в математике, никогда не получится сделать в праве. Идеал рационального права давно дискредитирован.

Означает ли это, что следует относиться к праву с презрением, как к области знания, низшей по отношению к точным и естественным наукам? Но с этой позиции нам никогда не объяснить того факта, что лучшие юристы бывают также убедительны, как лучшие ученые, или лучшие философы. Остается сделать единственно правильный вывод о том, что различие толкований не недостаток, а одно из проявлений специфики права. В праве, в отличие от точной науки, оба тезиса, обе интерпретации могут рассчитывать на одинаковое уважение, и это не означает, что один из интерпретаторов несостоятелен. Разница мнений среди судей представляется вполне нормальным явлением. Более того - именно обсуждение этого несогласия - конструктивный путь к вынесению окончательного решения.

Из вышесказанного следует вывод. Право нельзя критиковать исходя из чуждых ему критериев. Оно имеет свой метод, полезный там, где существует неустранимое различие мнений. А значит - специфический метод права должен не отрицаться, или подменяться представителями других наук, а напротив - он может эффективно использоваться и в философии, и в морали, и в политике. От права неотделима вечная проблема решения дилемм. Законодатель решает, какими должны быть законы, судья - что является правом в конкретной ситуации. Вместе с тем, нельзя сказать, чтобы их решения были произвольными; во всяком случае, нормальное положение вещей всегда представлялось обратным. И перед законодателями и перед правоприменителями всегда стоит требование мотивированности решений.

Рационалистские критерии этой мотивации, связанные с представлениями о совершенном разуме, здесь неприемлемы, так как право касается несовершенных человеческих отношений. Мотивация, подобная той, что имеет место в геометрии, также невозможна. Аксиоматика такого рода не годится в качестве правового метода, так как, либо очевидность аксиом устраняет возможность выбора, либо предполагаемая возможность обращения к произвольным основаниям вообще не согласуется с принципом мотивированности решения. Правовая методология - это «не-рационализм» в силу необходимости. Если Декарт для выведения очевидных положений требовал абсолютного сомнения и разрыва со всем прошлым, то право всегда требует логической и исторической преемственности. Резкие скачки и разрывы в государственной и правовой сферах всегда либо порождаются насилием, либо порождают насилие. Новый порядок никогда не может установиться лишь в силу своей рациональности. Ведь если он признан рациональным, это значит, что он соответствует РАНЕЕ ПРИЗНАНН-

ОМУ критерию рациональности, и, стало быть - скачка, или разрыва по существу не происходит.

В качестве примера логических последствий, к которым приводит непонимание этих простых положений, Перельман приводит кельзеновский нормативизм. Наиболее сложный из связанных с ним вопросов может быть сформулирован так: “чем определяется ценность основной нормы, о которой говорит Кельзен?” Ясно, что ее ценность вовсе не определяется ее очевидностью. Отправные тезисы права никогда таковыми не признавались. Вместе с тем, они не могут быть и произвольными, так как являются приемлемыми, исходя из социального контекста, и соображений, объясняющих их принятие. Проблема состоит в том, что Кельзен как раз и отрицает всякую зависимость ценности права от внеправового контекста, чем лишает свою теорию логической опоры.

Вместе с тем, понятно, что недостаточная очевидность правовых положений компенсируется авторитетом их социального источника. Законность положений по существу может компенсировать их незаконность по форме принятия. Авторитет прецедента также определяется соответствием принимаемых решений имеющимся правилам и сохранением логической связи. В то же время, принятие нами в качестве правильных каких-либо мнений никогда не является окончательным этапом развития наших идей. Но их ниспровержение никогда не происходит через сведение идейного материала до уровня tabulae rasa (что противоречило бы закону мыслительной инерции), но всегда ввиду нашего высшего доверия к другим идеям. Насильственное экспериментирование в правовой сфере Перельман считает бессмысленным. Следовало бы, считает он, вообще установить правило: “Ничего не следует менять без достаточного резона для этого!” Но при этом приживется не то новое, что порывает со старым, а только то новое, что ЛУЧШЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ. А желательность нового в данном социально-политическом контексте, лучше обосновывает переход, нежели “очевидность”.

Само по себе правильное обоснование правовой нормы недостаточно. Необходима также разумная процедура ее применения и как результат - разумное решение. Существует пропорция между понятностью правовой нормы и полномочиями ее официального интерпретатора. Вопрос о том, какое толкование - формально-аналитическое, или телеолого-прагматическое - является предпочтительным, трудно разрешим. Нужен авторитет судьи, чтобы поставить точку в правовом споре. Важно, однако, чтобы рассуждение судьи было диалектическим (в античном значении этого термина), а не “математическим”.

При разрешении вопросов, связанных с разделом благ, речь не идет об абсолютной истине. Решение и подчинение объективной истине - это вообще разные вещи. Нельзя решить, что дважды два - четыре, это можно только признать. В правовом дискурсе разумным признается не то решение, которое соответствует истине, а то которое на данный момент обосновано лучше прочих. Для оценки обоснования, данный метод требует наличия аудитории. При выне-

сении каждого данного решения, складывается положение, при котором доказуемы многие тезисы, но ни один из них не очевиден. Авторитет законодателя в целях обеспечения стабильности может установить некоторые обязательные модели решений, ценность которых опять же определяется не их истинностью, а их социальной полезностью. Принятие решения осуществляется в любом случае через "взвешивание" различных точек зрения. Роль лица выносящего решение заключается не только в описании реальности, но и в выражении своей позиции по отношению к данной реальности. Подлинный онтологический подход вообще состоит не в простом описании сущего, но в иерархизации его аспектов. Отсюда следует итоговый вывод, согласно которому, юридический дискурс должен быть открытым, и никакое из выработанных положений не должно априори признаваться окончательным.

Такова, в наиболее лаконичном изложении, позиция брюссельской школы логики права. Именно очевидная близость установок этой школы к формулам аристотелевской логики позволила ей войти в историю правовой мысли нашего столетия под именем "***школы новой риторики***"[41].

Вилле, горячо симпатизируя брюссельской школе, видит ценность ее разработок в том, что она признала право искусством спора и, таким образом, осуществила четкое противопоставления теоретического и практического значения диалектики.[42] Вместе с тем, некоторые аспекты перельмановского учения он считает неверными (как, например, концепцию «позитивного естественного права»[43]) и не имеющими отношения к «истинной диалектике». Творчески развивая положения, предложенные школой "новой риторики", Вилле кладет в основу своих рассуждений два тезиса. Во-первых, диалектика является инструментом теоретической спекуляции. Во-вторых, она есть - инструмент естественного права (в античном понимании этого выражения). Именно право осталось последней сферой интеллектуальной деятельности, в которой возможно сохранение античной модели диалектики.[44]

В классическом понимании этого слова, диалектика была почти синонимом философии. Корни диалектики античность видела в теории (понимаемой не как создание искусственных рациональных построений, а как живое созерца-

[41] Следует заметить, что и Перельман и Вилле несколько преувеличивают значение аристотелевской риторики в правовой практике Древней Греции и Древнего Рима. Между тем совершенно прав М.Л. Гаспаров, который, давая оценку соответствующим разработкам Аристотеля, заметил: «...эта система учила скорее исследовать речи, чем их составлять, была средством науки, а не школы; поэтому при всем уважении к имени Аристотеля, его «Риторика» почти не повлияла на практику риторического преподавания». (М.Л. Гаспаров. Цицерон и античная риторика. – в кн. Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. - М.: НИЦ. "Ладомир", 1994. – с. 12).

[42] М. Вилле. "Новая риторика и естественное право". "Critique de la pensee juridique moderne". p. 85-104.

[43] Авторство данной концепции принадлежит Ферье - одному из брюссельских логиков права. Вкратце ее суть сводима к следующему. Закон - не единственный источник права. Он, как и судебные решения, вытекает из мнений, преобладающих в социальной группе, и рассматриваемых в качестве основных принципов права. Совокупность этих явлений и составляет феномен "позитивного естественного права".

[44] Это ограничение является теоретическим достижением Вилле. Перельман, а отчасти - Хайдеггер и Леви-Стросс не исключали применения классической диалектики в качестве метода философии. Первый даже настоятельно рекомендовал его философам.

ние реальности). Истина определялась не как соответствие тезиса другому тезису (что имеет место в аксиоматике), а как соответствие тезиса положению вещей[45]. Для реалистической философии истина, таким образом, представляется лишь приблизительно достижимой. Мы можем видеть вещи лишь фрагментарно. В связи с этим Вилле приводит известный пример Гуссерля о кубе, из шести граней которого мы одновременно можем видеть не более трех. Чтобы увидеть все шесть - необходимо обойти куб. Эта аналогия дает пример необходимости рассмотрения изучаемого предмета с различных точек зрения.

Признаваемая аристотелизмом общественность человека проявляется не только том, что человек не может не только жить в одиночестве, но и в том, что он не способен качественно познавать мир в одиночку. Относительно каждого изучаемого предмета возможно множество аспектов изучения, поэтому диалектический спор в принципе представляется бесконечным. Для достижения результата необходимо в определенный момент искусственно поставить в этом споре точку. Эта практика широко применялась во времена Аквината, когда наставник, как сторонний, но авторитетный наблюдатель завершал диспут учеников оглашением своего мнения. Диалектический спор вообще только так и должен завершаться. Логическое заключение по силлогистической модели относится к другим методам познания. Они хороши для естественных и точных наук, но плохо применимы к наукам общественным. Как говорит сам Вилле: *«Можно сколько угодно долго доказывать, что жить в СССР плохо, или напротив - хорошо, но, в конце концов, здесь все сводится к убеждению»*.

Такая система познания, по его мнению, позволяет освободиться от цепей формальной логики и преодолеть нетерпимость и закрытость философских систем. Ценность практического момента не должна преувеличиваться. Классическая философия вообще не знала свойственного нам противопоставления теории и практики. Св. Фома, например, видел в этом лишь два рода применения одного интеллекта. Классическое взаимоотношение теоретических и практических установок Вилле иллюстрирует следующим образом. Идея “Этики” (теоретической книги) Аристотеля, может быть выражена формулой: «Дело обстоит так. Если хотите, ищите здесь руководство для поведения». Очевидно, что формула обращения к читателю этических трактатов Модерна иная: «Так должно обстоять дело. Поэтому вы должны видеть в этом руководство для поведения».

В правовой же деятельности и в правопознании, поскольку мы хотим использовать специфический метод, который обеспечил бы нам необходимую автономию права, мы должны руководствоваться рядом принципов.

Главным принципом, согласно Вилле, должно быть отмежевание от теорий тех философов и теологов, которые не имели достаточных познаний в области юриспруденции. С этим же связано требование не употреблять термина “есте-

[45] Издеваясь над «школьной философией», Вилле в одной из своих записных книжек предложил следующее «определение»: «Истина есть соответствие интеллекта написанному в учебниках».

ственное право” в той трактовке, которую «привязали» к нему моралисты нового времени. Необходимо возвращение к античному пониманию этого термина. Мы уже знаем мнение Вилле о том, что право для античных мыслителей представляло собою особого рода вещь - вещь бестелесную. Однако это не означает, что право понималось как вещь ментального мира. Оно относится к реальному миру и потому вполне может обозначаться терминами “dikaion phusikon”, “jus naturale”, то есть - “естественное право”. Право, как часть сущего, представляется нам как бытие в возможности. Юридическая конституция общества никогда полностью не достигает бытия в действительности - она либо постоянно формируется, либо разрушается действием каких-либо сил. То же во многом относится и к моральной сфере. То, что римляне имели обыкновение называть “добрыми нравами” рассматривалось как естественное существование, всегда сущее в возможности, но не всегда достигающее бытия в действительности. Однако так как право есть часть сущего, оно может быть объектом теоретического познания[46]. Именно результатом такого познания, как считает Вилле, были нормы Римского права, представлявшие собой не императивные предписания, а теоретические индикативы. Право, познаваемое через теорию и предстает как естественное право, предшествующее конкретному правовому решению, императиву, действию, и т.д.

Теоретический характер права определяет и его диалектический характер. Теория касается внешнего мира, объекты которого, как мы помним, в индивидуальном порядке и только с одной точки зрения не могут быть восприняты с должной полнотой. В основе правопознания, следовательно, находится постановка многочисленных вопросов, диспуты по этим вопросам и противопоставление различных точек зрения. Такой подход к правопознанию, на практике в древнем Риме определял диалектический характер самой структуры Римского права и его практики. Для последней он определялся ролью судьи, который ставил точку в диалектическом споре сторон. Обобщение судебной практики дается в сентенциях юрисконсультов, и немногочисленных нормативных актах, правила, содержащиеся в которых, замечательны тем, что они не рациональны (то есть - не выводимы логически их априорных принципов), а обоснованы авторитетным разрешением предшествующего им диалектического противоречия. Эти правила, по существу, и есть - последний акт теоретического анализа в рамках естественного права. Неизбежным конечным результатом отрицания этой методологии права Вилле видит легализм и позитивизм, преследующие исключительно прагматические ценности, необходимость прибегать к громадному числу юридических фикций, каждая из которых, в сущности, есть не что иное, как ложь.

[46] В концепции Вилле имеются два тезиса, между которыми существует непримиримое противоречие. С одной стороны Вилле объявляет задачей правовой науки изучение сущего и ориентацию на сущее. С другой стороны, он призывает представителей этой науки вернуться к античному правопониманию, исходя из своего представления о нем, как о должном.

Такими Вилле видит основания методологии права. Их, по его мнению, необходимо настойчиво вводить в практику. Нельзя менять логику права, не сокрушая в целом неверной философии права, не нападая на принципы юснатурализма Модерна и его наследия в нашем веке. Брюссельские логики не выдвинули столь радикальных требований, и это дало Вилле основание заявить, что они "остановились на полпути". Сам он предлагает дополнить "новую риторику" доктриной «истинного естественного права» и предлагает базовые принципы концепции, должной получиться в результате такого синтеза. Прежде всего, предполагается, что добротная логика права может быть основана только на ясном определении права. В поиске этого определения, мы главным образом можем солидаризироваться с одним из двух альтернативных направлений современной философии. Мы можем выбрать, например, дуализм, с присущим ему разделением природы и духа, сущего и должного. Идеалистические системы такого рода противопоставляют право природе, как бы они не пытались это скрыть. Источниками права признаются, прежде всего, воля бога, или суверена, разум, договор, или закон. Современные попытки вывести право из социальной воли, при кажущейся прогрессивности, доктринально не отличаются от указанных моделей. Право все равно продолжает признаваться искусственным продуктом человеческой мысли. Это значит, что право строится по законам человеческой логики, а стало быть - необходимо складывается в систему, которой присущ нормативный порядок. Это направление Вилле считает бесперспективным. Но мы можем выбрать и классическую школу естественного права, которая понимает право не как приказание природы. Это - природная вещь, трансцендентная человеку и потому полностью им не познаваемая и являющаяся постоянным объектом поиска. Познание этой реальности возможно только с применением диалектики античного образца.

Следующим принципиальным требованием является избавление от пережитков позитивизма. "Новая риторика", как считает Вилле, еще не достигла в этом существенных результатов. Брюссельцы, несомненно, стоят выше социально - механистического объяснения правовых явлений в духе Маркса, или Иеринга. Они придерживаются противоположной точки зрения, с которой право видится как раз в качестве инструмента, призванного воспрепятствовать действию брутальных социальных сил. Решение суда, следовательно, должно удовлетворять не в силу своей «разумности», и не в силу уверенности в том, что его исполнение будет поддержано силой государства или радикальной социальной группировки. В этом последователи Перельмана, как полагает Вилле, правы. Однако большим перегибом брюссельцев Вилле считает фактическое сведение правовой деятельности к войне адвокатов, ссылающихся для победы на законы, или прецеденты, или принципы. Можно согласиться, что в осуществлении этой деятельности состоит цель адвоката, но, придерживаясь этой по-

зиции, нельзя ни объяснить относительной стабильности судебных решений, ни обосновать благородных целей права[47].

Не вполне удачным Вилле считает и сам термин “риторика”, применяемый в данном контексте. Сам он предпочитает говорить о “диалектике”. Причем понимать этот термин следует не приземленно, как искусство убеждения кого попало, а как искусство спора избранных.[48] Аристотель, как специально подчеркивает Вилле, выделял в логике две части. Первую часть можно назвать логикой науки. Это - монологическая логика, рассуждение, основанное на неоспоримых посылках, или - иными словами - демонстративное рассуждение. Европейское рационалисты претендовали на обоснованность своих рассуждений неоспоримыми посылками чистого разума, поэтому именно эту часть «Органона», как наиболее соответствующую их запросам, они долее всего культивировали. Юристам, придерживающимся легалистских иллюзий, и рассматривающим закон в качестве первой посылки силлогизма, она также более всего подходила. Однако сам Аристотель не придавал этому разделу логики абсолютного значения. Действительно, для построения наук необходимо, прежде всего, установить некоторые базовые посылки, но когда рассуждение касается конкретных вещей в области морали и права, начинают действовать собственные принципы изучаемого предмета. Здесь произвольные постулаты рассматриваются в качестве гипотез. Выдвижение множества таких гипотез, является ответом на теоретический вопрос в данной области. Начинается диалектический диалог. Монологи, составляющие его, основываются на логике первого рода. Однако сердцевиной процесса является не рассуждение каждого, а столкновение позиций. Таким образом, система диалектических рассуждений строится не вертикально, а горизонтально. Диалектика, применимая к праву именно потому не может быть названа “риторикой”, что она как раз и представляет собой нечто среднее между риторикой, как искусством убеждения и демонстративной логикой. Ее задача не только в убеждении противной стороны и аудитории, но и преследование истины. Необходимо существование людей, выполняющих функции близкие, к функции римских юрисконсультов - посредничества между адвокатами и философами. Именно в деятельности таких людей изобретение права и правоприменение сливается в относительно гомогенный и весьма плодотворный процесс.

Наконец, главным недостатком перельмановской теории Вилле считает то, что она *«бросает право не произвол случайностей риторики»*. Ведь от право-

[47] Вилле, похоже, изменяет в этом вопросе своему любимому реализму. Очевидно, что в правовом действии, помимо возвышенной цели права, проявляется целеполагание всех участников (напр. обвиняемого, потерпевшего, адвокатов, государства и пр.). Любой процесс есть проявление сложной системы целей, более или менее подчиненных общей цели права. От степени этого подчинения, несомненно, зависит правомерность конечного результата, однако реалистический подход подсказывает нам, что полное подчинение вряд ли будет возможным. Еще Цицерон писал: *«дело судьи – при разборе дел всегда следовать правде; дело защитника – иногда защищать правдоподобное, даже если это не вся правда»* (Об обязанностях. Кн. II. XIV, 51). Кстати, если задуматься, в этой простой фразе уже содержится в сжатом виде почти вся брюссельская методология права.

[48] Перельман, напротив, доказывает, что термин “риторика” гораздо удобнее термина “диалектика”, так как исторически сложившаяся многозначность последнего общеизвестна.

вых решений следует требовать справедливости, а не только обоснованности и приемлемости.[49]

3.5. *Необходимость замены теории права философией права.*

Продавцы плохого товара не могут любить тех, кто показывает, из каких порченых компонентов он составлен. Следовательно, философы не имеют никакого шанса быть благожелательно принятыми на юридическом факультете
Мишель Вилле

Различение и даже противопоставление таких понятий, как “философия права” и “теория права” Вилле считает неосновательным. Для него это - почти синонимы. В целях обоснования своей позиции Вилле выдвигает антиномию и доказывает обе ее части.

Первое утверждение состоит в признании “вредности” философии для определенных аспектов правопознания. Обоснование этого положения в современных условиях совсем не трудно, так как наиболее распространенным является снисходительно-скептическое отношение к юристам, изучающим «философию права». Сам этот термин - германского происхождения, однако, корни явления следует искать в европейском юснатурализме в целом. Очевидно, что и для юснатуралистов и для “крестных отцов” философии права в Германии основным объектом внимания являлись моральная философия и зачастую - теология. Говоря о юстиции, они интересовались главным образом ее моральной стороной, тем, что у Аристотеля относится к общей справедливости. У таких столпов философии права, как Кант и Гегель чрезвычайно мало внимания уделяется собственно юридическому искусству.[50] Вместе с тем, ставя перед собой специфические задачи, эти авторы активно использовали прикладную терминологию “позитивной юриспруденции”. Это привело к тому, что их сочинения внесли определенную путаницу в правовой лексикон. Это грубое проникновение философии в право приводит к возникновению ряда теоретических проблем.

Прежде всего, именно созданное философскими концепциями правопонимание на практике дает жизнь множественным коллизиям права как системы норм. Это понятно, исходя из того, что рационализм, в конечном счете, приво-

[49] Philisophie du Droit. Vol. II. p. 43

[50] *“В праве человек должен найти свой разум, должен, следовательно рассматривать разумность права, и этим занимается наша наука в отличие от позитивной юриспруденции, которая часто имеет дело лишь с противоречиями... Философская наука о праве имеет своим предметом идею права... “* Г.Гегель. Философия права. Предисловие и дал. Введение, §1. - М., Мысль, 1990. Стр. 57-59

дит к формализму. Последнему же не сопутствуют механизмы избегания коллизионности содержания.

Праву была предложена несвойственная ему логика, базирующаяся на деонтических началах. В сущности, право сводится к "пара-морали".[51] Ему были навязаны неизвестные римским юристам моральные аксиомы. Даже когда делались серьезные попытки разделения права и морали, это приводило к негативным результатам. Так Кант фактически сделал из права эрзац морали. Представление о праве, как явлении исключительно императивном, и, в конечном счете - сливающемся с законом, в таких условиях неизбежно должно было возникнуть и возникло в действительности.

Наконец, свой аутентичный смысл потеряло само слово "право". Оно понимается либо как система законов, либо как система субъективных прав. Из изложенных в предыдущих разделах положений, ясно как должен был относиться Вилле к такому пониманию права.

Таким образом, выходит, что философия исказила все основные правовые понятия. Философы создали отвратительный лексикон, мешающий праву. Получается, что теория права, которой занимаются серьезные юристы, предпочтительна, так как ее лексикон не затемнен философским туманом.

Придя к этому выводу, Вилле тут же начинает доказывать противоположное утверждение.[52]

Беда состоит в том, что все критические замечания, сделанные по поводу философии права в полной мере относимы и к теориям права. Это - не более чем новая этикетка философии права, которая "стесняется быть философией". Но отказ от философских исследований ведет в тупик. Для того чтобы определить основания права, нужны более широкие знания, чем просто информация правового характера. "Чистым юристам" не хватает исследовательского вкуса и компетенции для определения права. Особенная ограниченность присуща в этом плане авторам общих частей отраслевых учебников. Чтобы разработать специфической метод права, нужно быть в состоянии компетентно противопоставить его методам других наук. По необходимости, чтобы быть теоретиком права, нужно все же быть одновременно и философом права.

Слабая философская культура юристов приводит к тому, что у них пользуются успехом наиболее вульгаризированные философские концепции. *«Можно поставит под сомнение философскую культуру Кельзена, Жени и Дюги. Они читали только то, что было модным и то, для чего они находили время»*.[53] Самое распространенное применение философии в современном праве - это использование ее в правовой риторике для произведения достаточного эффекта на публику. Примером вульгаризации в теории права философских разработок яв-

[51] "Critique de la pensee juridique moderne". p. 219 -234.

[52] Эта постоянная неожиданность "мыслительных ходов" Вилле была причиной того, что современники окрестили его "Пикассо философии права".

[53] В качестве эталона философской культуры в изучении права, Вилле называет все ту же брюссельскую школу "новой риторики".

ляется широко известная теория разделения властей, ставшая сегодня правовой догмой.

В конечном счете, Вилле приходит к выводу, что невозможно обойтись без добротной философии права. Юристам необходимо понять, что определения области и основания права - есть чисто философская задача. Правоведение не двинется вперед, если не избавится от разделения права на объективное и субъективное, если не преодолеет номинализм, индивидуализм и дедуктивизм. Решение этих задач под силу только философии. С другой стороны, философы обязаны прекратить игнорировать право. Они должны анализировать его специфику, а не навязывать внешние ему методы.

Сам Вилле прекрасно понимает, что из-за сложившейся в нынешнем ученом мире системы стереотипов, его программа с трудом может быть реализована. По своему характеру современная философия обречена на игнорирование права. Философы не собираются идти на конструктивный контакт с юристами. Забыты традиции мышления в аристотелевском духе. Без их возрождения невозможно и возрождение подлинной философии права. Надежды Вилле связаны только с возможным появлением на исторической сцене нового поколения юристов и философов, которые психологически и интеллектуально будут готовы к тому, чтобы совместными усилиями осуществить необходимый синтез юриспруденции и философии.

3.6. *Возвращение к классическому понятию естественного права и проблема позитивного права*

Мой идеал это не разум, а природа
Мишель Вилле

Сама идея рассмотрения природы как источника права не кажется Вилле ошибочной. Другое дело, что истинное понятие естественного права, по его мнению, не следует смешивать с “курьезным” его пониманием, данным юридическим рационализмом Модерна. Классическое понятие естественного права берет свое начало в Древней Греции, где его развивали софисты, Платон и Аристотель. В средневековой Европе единственным настоящим продолжателем этой традиции был Аквинат. Для возрождения правильного значения этого термина необходимо, как считает Вилле, вернуться к традициям античной онтологии. Модерн не рассматривает и, более того, даже не мыслит Сущее в его совокупности, разбивая мир на различные сферы изучения. Наука в строгом смысле этого слова занята изучением мира фактов. Мир должного рассматривается как область морали. Сама природа не имеет универсального определения. *«Термин этот разбился на множество терминов, обозначающих отдельные*

аспекты реальности».[54] Вилле представляется необходимым возвращение единства этого понятия.

Любая вещь для Аристотеля - реальность, внешняя по отношению к нашему субъективному сознанию. Эта реальность, по определению, может быть объектом нашего теоретического поиска. Среди вещей выделяются природные вещи подлунного мира. Они не сводятся ни к чистой материи, ни к чистому разуму, обладая комплексным характером.

Понятие “естественного”, порожденное Модерном, носит на самом деле искусственный и условный характер. Именно поэтому современные естественные науки не в силах ничего толкового сказать о человеческом социальном порядке. Картезианское разделение духовного и телесного мира связало понятие природы именно с последним. Таким образом, это понятие оказалось значительно суженным по сравнению с его античным аналогом.

Аристотелю неизвестно четкое разграничение естественных и гуманитарных наук. Как бы много не значили наши действия, направляемые нашей волей, мы живем “по природе”. Тело не отделено от духа. Психические и общественные явления также носят природный характер. Этика Аристотеля - есть не что иное, как “теория естественной морали”. Естественны и пороки и добродетели. Если к этому прибавить четкое понимание того, что мораль говорит о поведении людей, а право - об отношениях между ними, то становится очевидным возможность построения на этой основе целостной и логичной концепции естественного права.

Модерн выводит право из неизменного понятия “природы человека”. В этой системе естественной может считаться лишь природа отдельных индивидов. Социальные же отношения - всегда искусственный продукт человеческой мысли. Между тем, для Аристотеля эти отношения также естественны, как и их участники. Каждое человеческое существо по природе есть часть общества. Общественные отношения существуют объективно. Это относится не только к человеку. Роды и виды - вторые сущности - также связаны естественными отношениями.

Далекий от номинализма Аристотель склонен говорить о естественных сообществах. Политическое сообщество, как и семья - не являются искусственным изобретением людей, первоначально разобщенных в мифическом “естественном состоянии”.

Классическая философия говорит о неотделимом от природы естественном динамизме. Ни одно природное существо не есть свершившийся факт, ему присуще развитие и постоянное изменение. Как известно, по Аристотелю происходит постоянное изменение от одного состояния к другому, в силу четырех причин (материальная, формальная, движущая и целевая). Последняя причина, как полагает Вилле, является определяющей[55]. Модерн интересовался главным об-

[54] Philosophie de Droit. Vol. II. p. 116.

[55] Разумеется, с этим утверждением Вилле согласились бы не все толкователи аристотелевской «Метафизики». Я, лично, склонен с ним соглашаться.

разом движущими причинами и это, в понимании Вилле, было одним из факторов, помешавших развитию качественного правопонимания. Современный вульгарный материализм вообще считает, что цели может иметь только человек, как разумное существо, но никак не природа, все произведения которой явились делом случая.

Аристотелевская философия видела в глубине природы благо. Причем не происходило жесткого разделения сущего и должного. Благо ассоциировалось им с сущим. Лучшую формулировку этой позиции дал Св. Фома, сказавший, что благо есть полнота реализации сущего. Сущность античного реализма, считает Вилле, как раз и состоит в стремлении поиска блага путем наблюдения природы, а не путем отвлеченных размышлений о должном. Основанная на последних, современная теория естественного права не позволяет онтологически доказать его существования. Поскольку субъективный фактор здесь неустраним, существует несогласованность ценностных суждений. По существу, общее мнение относительно справедливости отсутствует.

Становится ясным, что в таких условиях наука естественного права (если предположить что все науки строятся на простых идеях) невозможна. Вилле полагает, что предметом науки могут быть лишь неизменные вещи и повторяющиеся явления. Однако в природе мы наблюдаем постоянные колебания (материя - форма, возможность - действительность, и наоборот). Еще более непредсказуемы изменения в сфере человеческих отношений. Изменчивы и позитивное и естественное право. Их познание возможно, стало быть, только через диалектику.[56]

В чем же состоит столь предпочитаемая Вилле аристотелевская концепция естественного права? Право, как мы это уже выяснили, состоит в пропорции благ, распределяемых между лицами. В человеческих сообществах до вербальной формулировки права существовало естественное право, не зависящее от суждений человеческого разума. Естественным полисам присущи естественные отношения их граждан (ведь распределение еще до формулировки права существует в силу необходимости), спонтанно формирующие конституцию. Подобно тому, как биолог называет нечто монстром, не исходя из своих представлений об идеальном животном, а исходя из реального несоответствия признаков этого существа реальной же норме строения тела данного вида, также и понятия о справедливом и несправедливом возникают из реальных представлений о норме, диктуемой естественной необходимостью. Возникающее право есть не

[56] Здесь вновь проявляется следование Вилле традициям Аристотеля. “Никомахова Этика” гласит: *“Иные считают узаконенными все виды права, ибо природное неизменно и всюду имеет ту же силу; так например, и здесь и в Персии огонь жжется; однако, как меняется то, что считается правосудным, видят своими глазами. В таком виде это мнение не верно, но в известном смысле может быть верно. Для богов, во всяком случае, изменчивость, видимо, совершенно исключена, а для нас хотя и возможно нечто правое от природы, все это, однако, изменчиво и вместе с тем одно существует от природы, другое - не от природы. Какое право от природы, а какое по закону и уговору, если речь о том, что может быть и так и иначе, и при условии, что и то и другое подвержено изменениям, также ясно; и для других вещей подходит такое же разграничение...”* Аристотель. Сочинения. Т. 4. Стр. 160

субстанция, а отношение. Так как ему присущ естественный характер, а природе свойственна изменчивость, право редко достигает своей законченной формы[57], находясь в постоянном развитии. Такое естественное право есть, в сущности, материальная причина права в более широком смысле этого слова. Но по большому счету, любое право, в том числе и позитивное - естественно[58].

Естественный характер права означает, что, как конституция политического сообщества, так и конкретные правила распределения конкретных благ предопределены социальной структурой, в свою очередь предопределенной природной необходимостью. Следовательно, публичное и частное право, в сущности, неразделимы. Естественный порядок требует наличия и частных вещей, и публичных вещей, и ограничений полномочий собственников.

Такое понимание естественности права, определившее во многом успехи римских юристов, по мнению Вилле, имеет ряд преимуществ перед нынешним вариантом юснатурализма и перед противостоящей ему крайностью "натуррехтсфобии". Реальность, в отличие от "чистого разума", неисчерпаема и потому более богата, в качестве источника права. Природа изменчива, и потому, как правовое мышление, признающее такой источник, так и правовая система, порожденная этим мышлением, могут легче приспособиться к изменчивым условиям социальной среды. Сама рецепция римского права произошла в Европе не благодаря какому-либо субъективному решению, считает Вилле, а ввиду объективной ценности данной правовой модели.

Вместе с тем, эта доктрина естественного права не "стерильна" и не лишена этической нагрузки. "Естественный порядок вещей" не означает "неважно, какой порядок". В вещах можно наблюдать и справедливое и несправедливое. Этот истинный юснатурализм заслуживает ренессанса, но ему должен обязательно предшествовать *«ренессанс классического восприятия природы»*.[59]

После рассмотрения вопроса об отношении Вилле к понятию ***естественного права***, нам кажется вполне логичным произвести краткий анализ понимания им места и роли ***права позитивного***. В этом ключе, Вилле особенно интересует генезис писаных законов и концепций позитивного права.

Изначально необходимым Вилле считает отказ от сугубо нормативистского понимания закона. Теологическое понимание закона, лежащее в основе европейского нормативистского мышления исходит не только из евангельского "в начале было Слово", но из архаически-античных понятий "Doron Theon" и "Donum Dei". Существует, однако, перспективная альтернатива этой концепции. В античной классике, как это уже было выяснено, источником права, в широком смысле этого выражения, является природа. Природный порядок вещей

[57] А это одновременно означает и то, что право не всегда достигает своей цели, что, согласно учениям Перельмана и Вилле о методологии права, как мы помним, вполне нормально.

[58] При этом согласно «Никомаховой Этике», любое право (в том числе и естественное) всегда является «политическим» правом. Это гармоничное сочетание естественного и политического начал в правовой теории Аристотеля, так непохожее на их решительное размежевание в философии Модерна, разумеется, не могло не импонировать Вилле.

[59] Philosophie du Droit. Vol.II. p. 154

всегда предшествует формуле закона. Законодатель пытается выразить в положениях закона естественный порядок вещей, но это всегда можно сделать лишь весьма несовершенным образом.

Известные формулы Хрисиппа (O, Nomos, panton basileus!) и Дигест (Lex est omnium regina) - "Закон - всего владыка" - относятся именно к универсальному закону природы, а не к позитивному правовому закону. Фома Аквинский, относя вечный закон – Lex Aeterna - к сфере вечного света – Lux Aeterna, сводит естественное право к его отражению в сотворенном мире, и лишь как отражение отражения трактует позитивное законодательство.

Однако поскольку позитивный закон является, пусть и очень несовершенным, но все же отражением естественного закона, не следует, подобно софистам, противопоставлять законодательство естественно порядку вещей. И Аристотелю, и Фоме Аквинскому удалось избежать этой нелепой крайности.

Соотношение закона и природного порядка вещей трактуются Вилле не как противоречие, а как расхождение. Классическая традиция видит в праве искусство, а любое искусство есть подражание человека природе. В этой формуле, по мнению Вилле, как раз и следует искать источник правильного понимания соотношения естественного и позитивного права.

Вопреки позиции юснатурализма Модерна, Вилле утверждает, что из "врожденных принципов" и "различения добра и зла" нельзя извлечь никаких конкретных правовых решений, ибо эти понятия слишком абстрактны для подобного применения. Невозможно также и дедуктивное выведение позитивного закона из закона естественного, так как последний не является вербально сформулированным и не может в силу этого выступать в качестве исходной посылки. Логика Модерна вообще не способна справиться с этой задачей и потому единственное, что нам остается, это прибегнуть к диалектике античного типа. Вопрос о том, что соответствует естественному порядку вещей, может быть предметом диалектического столкновения мнений. Интеллектуальное качество разрешения этого спора как раз и должно обосновать ценность выводимых на данный момент правил, не давая одновременно повода к тому, чтобы рассматривать последние в качестве раз и навсегда установленных и единственно верных. Применение таких логических форм в наше время чрезвычайно осложнено. Подобно тому, как мы не имеем единого определения права, понятие закона, которым мы пытаемся оперировать, также чрезвычайно дезинтегрировано.

Преодоление этой дезинтегрированности, как считает Вилле, возможно только через обращение к философии Аристотеля, с присущей ей строгой градацией различных толкований термина "закон". Согласно Стагириту, каждая разновидность человеческой деятельности связана со своими специфическими закономерностями. Законы физиков и законы моралистов отличны друг от друга. Естественный закон всегда диверсифицируется в ходе придания ему писаного характера представителями различных областей знания.

Возникает базовый теоретический вопрос: заслуживают ли правовые законы наименования законов в общенаучном смысле этого слова?

Понятно, что понимаемый по-аристотелевски писаный закон имеет естественные границы своего применения. Если традиция общественного договора сближает понятия “закон” и “право”, то античная концепция не считала закон правом в строгом смысле этого слова. Закон, несомненно, выполняет в организованном человеческом сообществе ряд важнейших функций. Первая из них - политическая функция. Идеал номократии[60], как требование к политическому сообществу выдвигается практически всеми античными мыслителями. Политический закон опирается, прежде всего, на предшествующие ему политические обычаи. Римские законы излагаются, как правило, в императивном наклонении. Закон создает строгий порядок в обществе, а также закрепляет юридическую процедуру, тем самым значительно способствуя формированию права. Без общего политического авторитета, создающего законы для поддержания общественного порядка невозможно нормальное функционирование права.

Закон несет также моральную функцию, которая по важности не уступает функции политической. Именно моральная проблематика является сердцевиной работ Платона и Цицерона, посвященных законам. До изобретения юридического искусства именно моральный закон брал на себя роль права[61]. Моральное законодательство, несомненно, является основой полисного порядка, а стало быть - и правопорядка. Его важность некоторым образом превосходит важность права, и право в силу необходимости пересекается с моральным законом. Юрист обязан учитывать требования морали. Моральный аспект существует в каждом правовом казусе. Использование морального закона для управления империей также легче и эффективнее, чем поддержание имперского порядка с помощью права, основанного на частной справедливости.

Вместе с тем, четкое понимание античными классиками разницы между законодательством и правотворчеством не вызывает сомнения у Вилле. Прежде всего, очевидно, что авторами цивильного права рассматривались и в действительности являлись не моралисты и не законодатели, а юрисконсульты. Материя, требующая приложения сил моралистов и юрисконсультов, различна. Первых интересует поведение индивида, его пороки и добродетели. Вторые заняты изучением социальных связей и конкретными спорами между конкретными ли-

[60] Этот идеал часто принимается исследователями за предвестие идеала правового государства. Это грубое смешение понятий. Как часто, обосновывая античные корни концепции правового государства, наши исследователи цитируют платоновские дифирамбы закону! Однако они совершенно не обращают внимания на то, что Платон требует номократии для несовершенного государства. В совершенном же государстве законы так же необязательны для мудрого правителя, как необязателен старый сборник рецептов для опытного врача. Из позиции Аристотеля также вытекает, что закон необходим в силу несовершенства человеческого разума, неспособного всегда без руководящего указания находить справедливое положение вещей. У Фомы Аквинского необходимость человеческого закона также связывается с неспособностью большинства людей непосредственно понимать требования естественного закона и руководствоваться ими. Одним словом, ни у кого из этих титанов закон не рассматривается в качестве самостоятельной, и, тем более – высшей социальной ценности.

[61] Сказать это – значит признать, что ранняя западная традиция правового регулирования идентична восточной.

цами по поводу принадлежащих им благ. Моральные и юридические тексты различны по форме. Моральные правила императивно направляют поведение людей, юридические же формулы индикативно излагают положение вещей. Именно индикативное наклонение дает возможность для существования правовой интерпретации. Наконец, в совокупности классических правовых текстов, немногочисленные законы почти незаметны на фоне бесчисленных дефиниций, сентенций и регул, воспринимавшихся как нормальные формы письменного оформления права. Более того, писаное право никогда не сводится лишь к совокупности regula juris. От этой сферы неотделимы письменные распоряжения властных органов. Именно формулы магистратов определяли существо спора подлежащего судебному разрешению. И судьи и юрисконсульты, будучи гражданами, обязаны были следовать постановлениям сената.

Таковы намечаемые Вилле границы позитивного права в античном мире, которые он считает вполне применимыми и в современности. Правовые правила не должны, как он полагает, отождествляться с правилами поведения, санкционированными публичной властью. Право никогда не развивается от рациональных принципов, через их закрепление в законах - к реальным отношениям. Движение всегда обратно - от межиндивидуальных отношений – к диалектическим обобщениям. Положения эти он считает элементарными. Непонимание их современными юристами можно объяснить несколькими причинами. Современная юриспруденция преувеличивает значение публичной власти, в то время как классическая юриспруденция видела четкие пределы ее вмешательства в сферу права. В основе этого лежит кризис классического правопонимания в эпоху Империи с происходившим в это время ростом значения имперских конституций. В новой Европе правовые правила, выработанные юрисконсультами, уступают место законам, разработанным государством. Диалектика правотворчества сменяется его рационализацией. Создание правовых норм давно уже является делом депутатов представительных органов, компетенция которых в любой стране оставляет желать лучшего. Право перестало быть созданием юристов, и все более становится скверно откормленным чадом политиков.

Вторым фактором, мешающим нормальному пониманию роли позитивного права, является покоящийся на ложных основаниях морализм современной юриспруденции, сводящий право к совокупности правил поведения, составляющих дедуктивную систему. Современным государствам выгодно трактовать право именно в качестве такой императивной системы. Они считают удобным закреплять правовые нормы в систематизированных кодексах, претендующих на то, чтобы считаться рациональными.

Между тем, для четкого представления о действительной роли письменных правовых источников, необходимо вернуться к пониманию этой проблемы именно в аристотелевско-томистском ключе. Чтобы уяснить феномен подчинения писаному праву, надо сконцентрироваться на классическом объяснении

необходимости существования этих источников и хотя бы временно забыть все обоснования авторитета закона в духе нового времени.

Аквинат, опираясь на авторитет Аристотеля, доказывает, что, поскольку далеко не все члены общества интеллектуально способны к нахождению справедливого положения вещей, необходимо установление для них письменно зафиксированных образцов справедливых решений. Опыт определения справедливого вырабатывается не на основе одного единственного дела, но на основании разрешения множества правовых споров. Следовательно, опыт этот необходимо фиксировать для его накопления. Закрепление справедливых решений в письменных источниках способно помочь судьям избежать влияния своих симпатий и эмоций на качество решения[62].

Это позволяет объяснить авторитет писаного права именно его "юриспруденциальным" происхождением.[63] Мы, стало быть, вправе, считает Вилле, использовать терминологию Св. Фомы, разделяя письменные источники на заключения и определения. Первая группа источников представляет собой отображение естественного права, как естественного порядка вещей, определяющего нормы частной справедливости. Они имеют должны иметь право на существование, только будучи результатом диалектического обсуждения проблематики. Таким образом, эти документы могут представлять для нас источник опосредованного знания о естественном праве.

Вторая группа - определения - представляет собой, совокупность распоряжений законодателя. Эти распоряжения не касаются существа правовой проблематики, а носят вспомогательный характер (например - установление конкретных сумм штрафов, определение порядка возмещения, разработка процедуры и т.д.).

Любой источник писаного права неизбежно имеет ряд неустранимых недостатков. Прежде всего - любое "общее правило" недостаточно по своей природе. Сама изменчивость социальных отношений приводит к тому, что ни одно правило не может одновременно быть истинным, постоянным и универсальным. К тому же авторитет как органа, издавшего письменный акт, так и авторитет самого письменного источника может быть оспорен в любой момент.

К письменным источникам мы прибегаем не ввиду их очевидной или достаточно обоснованной ценности, а за неимением лучшего и ввиду их относительной полезности.

---

[62] Термин, который древние римляне относили к своему законодательству – ratio scripta – мы традиционно переводим, как «писаный разум». В контексте рассуждений Вилле, можно, однако, вспомнить и о том, что «ratio» означает не только «разум», но и «пропорция». Если мы допустим, что «ratio scripta» в первоначальном употреблении означало именно «писаную пропорцию», а принципиальных возражений против этого допущения мы не предвидим, то справедливость рассуждений Вилле о роли законодательства в классической римской традиции покажется нам гораздо более очевидной.

[63] Там же. p. 211

3.7. *Новшества и пробелы концепции Вилле*

Я не люблю философии без юмора, без ироничного взгляда на самого себя. Я не люблю таких философов, как Кант, Фихте, Гегель, воспринимающих себя слишком серьезно. Вот у Бёрка достаточно юмора. Я также полагаю, что он был свойственен Аристотелю и Святому Фоме
Мишель Вилле

Итак, перед нами концепция, по существу призывающая к возвращению к античным традициям правопознания, причем признающая самоценность этих традиций. Сама идея не является радикально новой, но применительно к праву она впервые выдвинута с такой последовательностью. Если мы сравним позиции Вилле с позициями Хайдеггера, то при сходстве их главных установок, мы увидим ряд существенных различий. И у Вилле и у Хайдеггера аристотелевский “номос” трактуется в значении раздела, или распределения, причем не субъективного, а объективного - пребывающего в “логосе”, и обозначается как то, в чем происходит наличие наличествующих вещей и как распределение распределимого в Сущем. Хайдеггер также призывал к крушению субъективистских ценностей, и для этого предполагал необходимым сделать шаг назад, чтобы в греческом духе осуществить ценностный анализ, истинностное испытание достижений мысли, а затем - перешагнуть и через греческую модель мышления. Подобно Вилле Хайдеггер видел в позитивизме продолжение логики Модерна и называл в числе его предтеч Оккама и Гоббса. Однако он не допускал жесткого разграничения юридического и философского позитивизма, как это делал Вилле. Основой возвращения к древним мыслительным моделям Хайдеггер видел обращение к реальному и освобождение от понятия о человеке, как о существе, подчиняющем себе все сущее. В его философии также наблюдается тема возврата к досократикам, что не имело места у Вилле. Вилле эти идеи интересует в основном в отношении права. Если Хайдеггер, в конечном счете, предлагает перешагнуть через греческую модель, то Вилле не ставит такой задачи, что гарантирует в случае реализации его философско-правовой программы стабильность права, которому не грозит новое изменение философской основы. Ведь именно отход от греческого опыта, по его представлению привел к тому, что от верного аристотелевского понятия естественного права (нечто, по своему существу справедливо принадлежит кому-либо), свершился переход к искаженному его понятию (возможность, или свобода иметь что-либо, или действовать каким-либо образом).

Существует и еще несколько существенных различий. Если для Вилле Римское право и томизм - органичное продолжение аристотелизма, то Хайдеггер, напротив, воспринимает их как этапы отрыва европейской мысли от греческой традиции. Главным источником его антимодернизма не была критика философии Модерна, притом, что последнее справедливо в отношении Вилле.

Также, несмотря на близость своих положений к разработкам Леви-Стросса, философия права Вилле отличается от них рядом особенностей. Леви-Стросс считает необходимым пересмотреть соотношение реального и идеального в праве, позитивного и естественного права. Это, по его мнению, должно быть сделано не в духе нового времени, породившего кантовское жесткое разграничение сущего и должного, но через аристотелевское учение о целевой причине. То, чем вещь должна быть - есть не что иное, как то, к чему она стремится по своей природе. Должное заложено в самом сущем, и может наблюдаться в самой природе. Вместе с тем, у Леви-Стросса еще не было критики понимания права, как главным образом - права субъективного. Не было призыва к построению философии права целиком на основе концепций аристотелевского толка. Эти моменты появятся только в философии Вилле. Расхождение Леви-Стросса с Вилле проявляется еще и в том, что если первый требовал независимости правовых ценностей от исторических изменений, то Вилле всегда требовал основывать право на конкретных отношениях, приспособленных к конкретным условиям. Положение об относительности права во времени и в пространстве - один из лейтмотивов его доктрины. Любопытную позицию в этом вопросе занимают уже известные нам А. Рено и Л. Сосо. Они указывают на верный, но не сразу бросающийся в глаза факт. Ставя право в зависимость от исторических условий, Вилле полагает, что он действует в духе античной традиции. Это действительно так, но правильно ли это? Грекам “предшествовало слишком мало истории”, для того, чтобы они могли извлечь из нее урок необходимости существования универсальных внеисторических ценностей. Современные же ученые, обремененные “исторической памятью” о катаклизмах пережитых человечеством, вполне имеют право придерживаться иной системы координат.[64]

Интересна позиция Рено и Сосо и в отношении критики Вилле концепции субъективного права. Из рассуждений Вилле вытекает, что если мы делаем человека субъектом права, это означает, что мы рассматриваем индивида в качестве главного принципа и ведущей цели правил, регулирующих жизнь политического сообщества. Но справедливым будет задать вопрос: рассматривает ли в действительности мысль Модерна индивида в качестве субъекта права? Ошибка Вилле состоит в том, что он неправомерно сближает значение терминов “гуманизм” и “индивидуализм”. В понимании гуманизма нового времени, человек не ожидает регулятивных норм от закона, от природы вещей, или от бога, а создает их своим разумом и волей, признавая себя, таким образом, и их автором и их субъектом. Из субъективного права вовсе не вытекает с необходимостью неограниченный индивидуализм. Главным в традиции Модерна является непризнание внешних по отношению к человечеству источников права. (Тут правомерен вопрос: понимают ли Рено и Сосо, что это утверждение с трудом соотносится с целым рядом форм юснатурализма?) Если мы признаем договор об

[64] См. A.Renault et L.Sosoe. Philosophie du Droit. p. 136-137

условиях существования источником права, разве это не ограничивает независимость индивида и не обеспечивает ту необходимую автономию права, которой добивается Вилле? Мы позволим себе выразить наше резкое несогласие с этой позицией французских коллег. В свое время П. И. Новгородцев мудро заметил, что поскольку договор является феноменом низшего по отношению к праву порядка, на нем некорректно основывать право в целом. С этим утверждением мы согласны. Если же нельзя чтобы одновременно и договор обусловливал право, и право обусловливало договор, мы вынуждены будем признать, что этот основной договор порожден иной сферой - политической или моральной, а это будет уже нарушением принципа автономии права, которого придерживается Вилле. Вдобавок, если этот мифический договор ограничивает таки в пику индивидуализму независимость индивида, это не означает с необходимостью, что индивид уже не может выступать в качестве субъекта права. Важно вспомнить и еще одно положение концепции Вилле. Поскольку авторы договорной теории не рассматривали общественного договора в качестве реального факта, а просто выдвигали гипотезу, позволяющие объяснить правовую и политическую реальность, то логически это только ухудшает положение вещей, так как бессмысленно основывать реальное на гипотетическом и очевидное - на фикции.

Вместе с тем, ряд замечаний Рено и Сосо по поводу виллеанской критики субъективного права, представляется нам достаточно справедливым. Вилле, считают они, похоже, сам сознает некоторую трудность своей позиции, так как из нее логически должна следовать необходимость отказа от всего, что выражает идея субъективного права. Это верно. Ведь Вилле ничего не имеет против древнеримских jura, которые, в сущности, выражают идею, близкую к той, что выражено современным термином “субъективное право”.

Здесь нам кажется уместным сделать указание на одно парадоксальное обстоятельство. Одной из причин искажения современного правопонимания Вилле считает недостаточно четкое разграничение понятий “индивид” и “лицо”. Любопытно, однако, что Ж.-П. Бо упрекает Вилле в том, что в его собственной концепции эти понятия также недостаточно четко разделены. Он вроде бы не понимал, что под “персоной” подразумевается абстрактная конструкция, внесенная в естественный порядок вещей, для которого нормально, чтобы индивид выступал в нем как тело - обиталище души. Абстракция лица служит тому, чтобы человек перестал идентифицироваться через свое тело. Лицо выступает как реальное создание на правовой сцене. Это - действительно субъект права, изобретенный для того, чтобы быть таковым и, таким образом, создать субъективную концепцию права. Естественный порядок накладывает ограничения на власть юриста, но внутри этих ограничений юрист имеет созидательную власть над лицами. Значит - право не может быть копированием естественного порядка, как это считает Вилле, не осознавший, по мнению Бо, что изобретение персоны было моментом дезинкарнации права. Рецепция различения между право-

вым и физическим, по его мнению - само важное звено рецепции Римского права Европой.[65]

Эту критику мы не склонны разделять в полной мере. То, что "индивид" и "персона" различаются в философии Вилле достаточным образом, мы не сомневаемся. Другое дело, что Вилле действительно недостаточно развил концепцию правовой личности и не обратил достаточного внимания на эту концепцию у римлян. Это действительно - большой пробел. Именно понятие персоны - наиболее значительное изобретение римлян, определяющее качественные преимущества их правовой мысли и их системы права перед всеми предшествующими[66]. Понятие персоны не было известно Аристотелю, и это главное, что воспрепятствовало тому, чтобы его учение о частной справедливости стало логически завершенной правовой теорией. Мы убеждены, что именно с появления этой категории начинается подлинная история правовой науки. Если бы Вилле сконцентрировал свое внимание на этом факте, он получил бы в руки более надежное оружие для критики "традиции Торы", чем все то, которым он пользовался. Констатация того факта, что в древних обществах биологическая личность не отличалась от правовой - уже сверхдостаточный аргумент для того, чтобы назвать право этих обществ пред-правом или квази-правом[67], для доказательства чего Вилле предпринимает гораздо больше усилий.

Интересно и другое положение. Вилле признает, что Модерн создал иное понятие человеческое свободы, нежели античность. Получается, что объективное право Аристотеля и Св. Фомы действительно лучше освящало проблему ограничения индивидуальных воль, но источники естественного права античности с трудом могут быть использованы теперь ввиду их несоответствия нашему понятию свободы. Получается, что и античное естественное право, и волюнтаризм Модерна фактически одинаково потерпели крушение.

Рено и Сосо делают поразительный вывод: философия права Вилле носит трагический характер. Истинная и, несомненно, более привлекательная идея права безвозвратно потеряла свою практическую ценность. А так как существу-

[65] J.-P. Baud. L'Affaire de la main volee. p. 59-77

[66] Качественная правовая мысль невозможна без представлений о правоотношении. Особенность правовых отношений состоит в том, что это есть сочетание конкретных отношений конкретных людей, или их групп, по поводу конкретных вещей, или благ с абстрактными отношениями лиц по поводу объектов. Понимание этого дуализма невозможно без развития понятия об абстрактной юридической личности, проявляющей себя в правовой сфере не через все свои индивидуальные характеристики, а через стандартный и ограниченный набор характеристик, имеющих юридическое значение. Это и есть персона. Без изобретения этого понятия не было бы возможности рассматривать коллективные образования в качестве субъектов права. Трудно бы было развивать учение о правовых статусах, о гражданстве, - одним словом - самые необходимые юридические понятия. Именно поэтому я придаю такое значение этому древнеримскому изобретению. Подробнее об этом речь идет в моей статье «Право и личность: иллюзорность непосредственной связи» (См. в приложении к настоящему изданию, с. *).

[67] Термин этот, на наш взгляд, может быть так же естественно употребляем, как и термин "протогосударство". Под "квази-правом" я понимаю раннюю, первичную форму развития права, еще не освободившуюся от пережитков первобытного социального регулирования. Этой форме свойственна недеферренцированность отраслей и слабость развития институтов; отсутствие развитой и неоднозначно трактуемой терминологии; чрезмерная связь с иными традиционными формами социального регулирования. И главное - "квази-праву" соответствует нерефлектирующее правосознание.

ют вопросы, требующие объективного решения, нам все же придется уповать на произвол законодателя. Данный вывод справедлив только отчасти. Вилле понимает, что критиков его учения, прежде всего, будут волновать вопросы, касающиеся возможности практической реализации его философско-правовой программы. Прежде всего - он заранее отметает возможный упрек в архаичности своих установок. Необходимость в распределении благ, считает он, не исчезла с римских времен. Ряд необходимых корректировок все же придется внести. Появление мирового рынка и ядерного оружия оправдывают существование международного права, какой бы нелепостью это не казалось юристам, мыслящим в соответствии с римскими конструкциями. Несомненно, что сложились условия, непохожие на римские и потому нам придется искать иные конкретные решения, нежели те, что находились древними юристами, но основной круг проблем, с которыми имеет дело практическое право, остался тем же. Противопоставляемая архаизму классического права, новизна права современного, по мнению Вилле, главным образом заключается в его лексиконе, но не в технике правовой деятельности[68].

И главное – философии Вилле всегда был присущ заряд юмора, иронии и самоиронии. Не могла быть трагичной, даже при всем ее пронзительном «донкихотстве», концепция человека, на полном серьёзе записавшего однажды в своей записной книжке мудрую фразу: *«В конце концов, наука – это не более чем забава».*

Заключение

Осуществленная в этой работе попытка систематизации и анализа концепции Мишеля Вилле дает возможность сделать ряд обобщений.

1. Прежде всего, систематический анализ всей совокупности произведений Вилле, в отличие от ознакомления с отдельными его работами (без учета других) позволяет отметить, что перед нами - действительно логически построенная система взглядов, а не просто совокупность соображений, выдвинутых по ряду правовых вопросов (что иногда некоторые авторы пытаются выдать за “доктрину”). В концепции Вилле четко видна философская основа - ари-

[68] С тезисом о необходимости возвращения к античному правопониманию могут быть связаны и другие теоретические проблемы. Так И.Ю. Козлихин считает, что такое возвращение может означать лишь смешение права и морали. Это мнение трудноосporимо хотя бы потому, что в современной науке отсутствует однозначное определение права. Рассуждения на эту тему вне контекста учения Вилле могли бы увести нас далеко в сторону. Не выходя же за рамки данного контекста можно отметить, что сама система взглядов Вилле не могла привести его лично к такому выводу. Ведь, согласно ему, именно Аристотель провел теоретическое разграничение между правом и моралью, как сферами человеческой жизни, имеющими различную цель бытия.

С одной стороны, действительно представляется, что окончательное разделение права и морали произошло с возникновением юридического позитивизма. С другой стороны, в системе Вилле этот вывод не срабатывает однозначно. Вилле всячески подчеркивает индикативный характер истинного права, рассматривая императивность как признак морального регулирования. С этой точки зрения, утверждение позитивистами императивности правовых предписаний, не могло представляться ему чем либо иным, как (по крайней мере) методологическим смешением права и морали.

стотелианство и антимодернизм. Конечные философско-правовые выводы Вилле согласованы с его онтологическими и гносеологическими посылками. Он четко сознает цель создания своих работ и возможную общественную и научную реакцию на их появление. Те или иные положения высказываются им не ради словесной игры, а ради опровержения конкретных моделей правопонимания и предложения более перспективных формулировок. Таким образом, мы можем сделать вывод, что перед нами хотя и достаточно бессистемное по форме изложения, но систематическое по содержанию философско-правовое учение, которое, чтобы быть верно понятым, должно рассматриваться только как таковое.

2. Философия права Мишеля Вилле венчает развитие антимодернизма аристотелианского[69] направления в правовой философии. В ней находят свое логическое завершение и существенное дополнение идеи, высказанные его предшественниками в этом направлении. Однако особое значение Вилле в

[69] Раскрытие роли Вилле в истории антимодернизма не являлось первоочередной задачей исследования, поэтому доказательству обсуждаемого тезиса не уделяется чрезмерного внимания. Вместе с тем, считаю возможным сделать утверждение о важнейшей роли Вилле в истории антимодернизма по ряду соображений. Во-первых, если сделать краткий обзор истории правового антимодернизма нашего века, то можно заметить, что у Хайдеггера мы найдем лишь его базовые принципы. Его мысль далеко не всегда направлена на правовую материю.

У Леви-Стросса концепция более развита. Он выделял два проявления модернистского отрицания права: историзм и позитивизм и призывал к возвращению к греческой модели восприятия мира. Эта модель, по его трактовке, предполагала, что природа главенствует над традицией, что она есть не авторитет, как в юснатурализме, а эталон. Право, отражающее природный порядок, всегда объективно и относится к природе, как средство к цели. Природа есть иерархизированный космос. Право указывает всякому его место в космическом порядке и его задачи по реализации высших целей. Это обуславливает неисторичное понимание естественного права Реализация лучшего государственного устройства и политического режима - есть шанс, а не историческая закономерность. Политика, таким образом, не сводится к технике и право не попадает в зависимость от прогрессизма. Правовая философия Модерна, таким образом, есть, согласно Леви-Строссу, «забвение права». Человеческая природа у мыслителей Нового времени заменила Природу, понимаемую как целостность мироздания. Человеку в эпоху Модерна был присущ эгоцентризм. В принципе предлагавшаяся в эту эпоху концепция естественного права представляла собой не правовой натурализм, а правовой гуманизм. Леви-Стросс выделял три последствия такого отношения к правовой материи:

1. Познание из воспринимающего становится действующим. Греки искали право в природе вещей, человек Модерна конструирует право, исходя из своих рациональных систем.

2. Природа воспринимается не как целостная завершенная система, а как материал для обработки.

3. Вместо природы эталоном становится сам человек с его разумом и волей. Отсюда - триумф субъективного права.

Следовательно, считал Леви-Стросс, необходимо возвращение к античной традиции и построение такой философии права, которая не была бы философией свободы.

Вкратце, собственно философско-правовая критика юридического модернизма этим у Леви-Стросса ограничивается. Как видим, здесь опять же нет столь подробно развитой правовой концепции, как у Вилле.

Хана Арендт исключается из нашего обзора, так как она не развивала аристотелианской линии. Мак-Интайр, с его противопоставлением права и добродетели, также отходит от этой линии. Никто из антимодернистов, как видно, не пытался глобальным образом раскрыть причин изменения правосознания, как это сделал Вилле. Это позволяет нам утверждать, что философско-правовая концепция Вилле наиболее развита и качественным образом венчает историю правового антимодернизма двадцатого века. Далее. Если даже наш предыдущий тезис неверен, когда мы говорили о концепции, “венчающей” направление мысли, это не обязательно означает, что эта концепция является наилучшей. Некоторым образом Фейербах “венчает” развитие немецкой классической философии, как ее завершитель. Очевидно при этом, что он не является ни самым ярким, не самым влиятельным ее представителем. Концепция же Вилле объективно является последней яркой антимодернистской концепцией нашего столетия.

плеяде антимодернистов состоит в том, что только у него правовая проблематика становится центральной темой исследования. Несомненно, также, что мы имеем дело с заключительным этапом развития антимодернизма (по крайней мере - на базе аристотелианства) в праве. Вилле исчерпывает все его возможности и приходит к самым крайним выводам, дальнейшее развитие большинства из которых фактически невозможно. Все что остается делать в антимодернистском направлении правовой мысли - это либо "сглаживать углы" виллеанства, смягчая некоторую крайность его оценок, либо искать практические пути приведения в жизнь предлагаемой программы преодоления кризиса правосознания. Перспективным представляется направление работы упомянутого нами Ж. Пьери, уточняющего вопрос о соотношении права и справедливости с опорой на более широкую, чем просто античная классика, основу. Однако в любом случае, если не произойдет выхода на иную - не аристотелианскую - форму антимодернизма, дело не пойдет дальше уточнения и некоторой корректировки уже имеющихся разработок и ничего качественно нового и оригинального не может быть изобретено.

3. Мнение Вилле о наличии в нашем времени кризиса правосознания можно признать в значительной степени резонным. В ряде случаев проводимая им демонстрация внутренней противоречивости господствующих доктрин, логической "недостроенности" ряда правовых институтов и фиктивности многих аксиом права настолько убедительна, что вывод о необходимости привлечения самого серьезного внимания правоведов к данным вопросам напрашивается сам собой.

Также во многом справедлива виллеанская критика современной концепции прав человека. Внимательное изучение этой критики позволило бы ученым, занимающимся данной проблемой, по-новому к ней подойти, преодолев накопившиеся за десятилетия догмы. Подлинно научный подход к этому сектору философии права Вилле должен заключаться в предельной объективности и абсолютной свободе оценок от влияния эмоций. Необходимо уяснить, что французский мыслитель выступает здесь не как реакционер или антигуманист, а как беспристрастный ученый, пытающийся решить вопрос о возможности подлинно научного обоснования прав человека вне выхода за пределы чисто правовой сферы. То, что может показаться нам причудой автора, вряд ли удивит опытных исследователей данной проблемы. Многие из европейских ученых, не сомневаясь в благотворности учения о правах человека, в то же время считают, что признание их правами в юридическом смысле и поиск квазиюридических форм их защиты не благоприятны ни для права, ни для нравственности. Если даже такой известный теоретик прав человека, как профессор Марк Ажи, иногда говорит о желательности использования для них термина "естественные человеческие чаяния", нам, видимо, нужно объективно оценить возможность рассмотрения этой проблемы вне собственно правового контекста.

4. Нам кажутся в значительной степени перспективными теоретические и практические возможности, которые предоставляются юристам и правоведам в результате развития Вилле идей брюссельской школы логики права. Если мы даже не станем трактовать античную диалектику в качестве единственно возможного метода права, в его обработке она, несомненно, становится еще одним из методов, о практическом применении которого есть смысл говорить. Если о применении античного метода к рассмотрению правовых споров Вилле сказал достаточно, то об использовании его в правопознании говорится крайне мало и, восхваляя его достоинства, он применяет его, и то не в полной мере, лишь в некоторых своих работах. Вместе с тем, нам представляется возможным рассматривать античный вариант диалектики в качестве чрезвычайно полезного метода не только в постижении, но и в преподавании правовой материи. Проблема современного осмысления традиций классического диалектического спора, на наш взгляд является чрезвычайно актуальной и требует самого серьезного анализа, помощью в осуществлении которого, несомненно, могут и должны являться разработки Перельмана и Вилле.

5. Очевидно, что наряду с несомненными положительными чертами, философии права Вилле присущ и ряд негативных моментов. Занимаясь серьезными проблемами, и претендуя на программное теоретизирование для нужд, по меньшей мере, всей европейской правовой науки, он привлекает недостаточный для полной убедительности своих доводов эмпирический материал. Особенно это характерно для поздних его работ. В период их создания Вилле, по всей видимости, не смог избежать соблазна подчеркнутой маргинальности, что привело его к ослаблению логического обоснования. Выше мы приводили примеры несогласованности определений, нарушения нормального хода доказывания, наличия “порочного круга” в рассуждениях автора. Иногда мы имеем дело с вольной или невольной подменой понятий, а порой - с обрывами цепи логических рассуждений. В результате многие из идей Вилле остаются недосказанными. Их приходится реконструировать исходя из контекста и общего смысла всей концепции. Восстановление всех “звеньев” доктрины Вилле может стать целью дополнительного исследования. Осуществить это будет возможно с привлечением ряда материалов, которые не были еще опубликованы, и доступ к которым начинает открываться лишь сейчас (домашний архив Вилле, его письма, черновики, дневники и т.д.). Только с завершением анализа всех этих источников, возможно будет заявить о том, что концепция Вилле изучена и исследована в полном объеме, или, во всяком случае - не хуже, чем многие из хорошо известных классических философско-правовых доктрин.

6. Не подлежит сомнению, что, несмотря на все логические небрежности и недосказанности, перед нами - несомненно, яркое учение, глубокое и оригинальное по содержанию. Главная ошибка Вилле состояла в том, что в его аргументации слишком большое значение придавалось ссылке на античные авторитеты в ущерб собственной аргументации. Вместо того чтобы убедить читателя

в справедливости своего правопонимания по существу, он убеждает читателя в соответствии данного правопонимания концепциям Аристотеля и римских классиков. Справедливо видя в аристотелевской философии исток европейского правоведения, он опрометчиво объявляет ее же высшей точкой – «альфой и омегой», как будто процесс познания истины завершился в самом своем начале, а вся последующая история была только чередой ошибок и недоразумений. Б.Н. Чичерин остроумно критиковал тех, кто сводил всю философию к учению Гегеля, говоря, что они «принимают крышу за все здание». О Вилле можно сказать, что он за все «здание» европейской философии права принимает ее «фундамент». Однако если не принимать во внимание некоторую бессистемность его мысли, порой вольное обращение с первоисточниками, определенное стремление выдать желаемое за действительное, если обратить внимание на существо его концепции права, то станет ясной ее самостоятельная ценность. Вилле честен. Допуская некоторую некорректность в своих доводах, он не обманывает читателя, а обманывается сам. Философия права Вилле – часть интеллектуального наследия человечества. Это факт, на который уже невозможно закрыть глаза. Доктрина Вилле высоко оценивалась многими современниками. Даже противники ее не осмеливались не признавать философского таланта ее создателя. Доктрина эта, как нам кажется, занимает свое особое место в истории философии права. Она заслуживает внимания ученых:

- как завершающая историю правового антимодернизма;
- как качественно новый вариант обращения к ценностям правовой классики;
- как пример (пусть и не во всем совершенный) сочетания исторического и логического в правовых исследованиях;
- как оригинальная попытка объяснить духовные истоки развития европейского правопонимания (Тора - Дикайон)
- как одна из наиболее ярких и развитых альтернатив современному нормативизму;
- как разработка, опубликование которой значительно стимулировало интерес к философии права в европейском масштабе.

Наконец, когда мы говорим о “виллеанстве”, мы вправе подразумевать не только учение самого Вилле, но и разработки его учеников и последователей. Школа философии права Мишеля Вилле - это реальность современной европейской мысли.

Все вышеизложенное приводит к выводу о необходимости изучения творчества Вилле отечественными учеными. Нужно скорейшее включение хотя бы общих данных о концепции Вилле в читаемые в юридических вузах страны курсы Истории политических и правовых учений. Наконец, назрела необходимость в переводе хотя бы основных работ Вилле на русский язык. Возможно, именно в России учение Вилле имеет большие перспективы. Вспомним, что одной из целей виллеанской программы было совмещение усилий юристов и фи-

лософов для разрешения основных философско-правовых проблем. В нашей стране, где большинство авторов, создавших значительные правовые учения, действительно имели прекрасное юридическое образование и одновременно прекрасную философскую подготовку, никогда не существовало того полного отчуждения “мира юристов” и “мира философов”, которое заставляло Вилле досадовать при взгляде на современную ему Европу.

7. Перспективы дальнейшей разработки данной и смежных с ней тем представляется нам в наиболее общих чертах следующим образом:

а) Максимально полное изучение материалов, связанных с творчеством Вилле,

б) Целостный анализ истории и содержания европейского антимодернизма с обнаружением всех совпадений и расхождений в позициях его представителей,

в) Привлечение дополнительного материала (работы второстепенных авторов в данном направлении, критические очерки, рецензии и т.д.),

г) Анализ иных форм обращения к аристотелианству и римской классике в XIX и XX вв.

д) Предельно обоснованное заключение о роли и месте Вилле в истории философии права в целом и антимодернизма - в частности.

Задача эта требует для своего решения больших временных и интеллектуальных затрат и ее решение остается делом будущего. В данной же работе перед нами стояла задача приближения к философии права Вилле в наиболее важных аспектах, ее теоретического осмысления и систематизации.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ и ЛИТЕРАТУРА

Источники:

1. Michel Villey. Le Droit et les Droits de l’Homme. PUF. Paris. 1990
2. Michel Villey. Questions de saint Tomas sur le Droit et la politique. PUF. 1987
3. Michel Villey. La Croisade. Vrin. 1941.
4. Michel Villey. Philosophie du Droit. Vol. I. “Definitions et fins du Droit”. Dalloz. Paris. 1986.
5. Michel Villey. Philosophie du Droit. Vol. II. “Les moyens du Droit”. Dalloz. Paris. 1984.
6. Michel Villey. Recherches sur la litterature didactique du droit romain. Domat. Monchestein. 1945
7. Michel Villey. La formation de la pensee juridique moderne. Monchrestein. 1968
8. Michel Villey. Seize essais de philosophie du droit. Dalloz. 1969

9. Michel Villey. Critique de la pensee juridique Moderne. Paris. 1968
10. Michel Villey. Le droit romain. Son actualite. PUF. 1993
11. Michel Villey. Reflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets. PUF. 1995

Литература:

12. Jean-Pierre Baud. L'affaire de la main volee. Une histoire juridique du corps. Editions du Seuil. Paris. 1993
13. Jean-Pierre Baud. Le droit de vie et de mort. Archeologie de la bioethique. Paris. 2001
14. Henri Batiffol. La philosophie du Droit. PUF. Paris. 1993
15. J.-L. Gardier. Logique du Droit. Dalloz. 1975
16. Chaim Perelman. Droit, morale et philosophie. Paris. 1968
17. Georges Pieri. Jus et jurisprudentia \\ Archives de la philosophie du droit. Tome 30. Siray. 1985
18. Alain Renault - Lukas Sosoe. Philosophie du Droit. PUF. Paris.
19. Marcel Valine. Individualisme et le Droit. Domat. 1943
20. Антология мировой философии в 4-х томах. Том 1., - М., 1971
21. Аристотель. Никомахова этика \\ Сочинения. Т. 4. - М.: Мысль, 1983.
22. Аристотель. Большая этика \\ Сочинения. Т.4. – М.: Мысль, 1983
23. Аристотель. Политика \\ Сочинения. Т. 4. - М.: Мысль, 1983.
24. Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. - М.: Новый Акрополь, 1996.
25. Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. - М.: Юридическая литература, 1989.
26. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1994
27. Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика \\ Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. - М.: НИЦ. "Ладомир", 1994.
28. Гегель Г. В.Ф. Иенская реальная философия \\ Работы разных лет. В 2-х тт. - М.: Мысль,1972-1973.
29. Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика \\ Работы разных лет. В 2-х тт. - М.: Мысль,1972-1973..
30. Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М.: Мысль,1990.
31. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского \\ Сочинения. В 2-х тт. - М.: Мысль,1989-1991.
32. Горан В.П. Древнегреческая мифологема судьбы. - Новосибирск: Наука, 1990.
33. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. - М.: Международные отношения,1997.
34. Декарт Р. Частные мысли \\ Сочинения в 2-х томах. Т.1. с. 573., М., 1989

35. Дигесты Юстиниана \\ Законы XII Таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997
36. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль, 1979.
37. Духовные наставления преп. Серафима мирянам и инокам \\ Преподобный Серафим Саровский – Мюнхен, Москва, 1993
38. Институции Гая \\ Законы XII Таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997
39. Кант И. Метафизика нравов в двух частях. Сочинения. Том 4, ч.2. - М.: Мысль,1965.
40. Ламеттри Ж.-О. Сочинения. - М.: Мысль,1976.
41. Локк Дж. Опыты о законе природы \\ Сочинения. Т.3. - М.: Мысль,1988.
42. Локк Дж. Два трактата о правлении \\ Сочинения. Т.3. - М.: Мысль,1988.
43. В.Н. Лосский. Опыт догматического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991
44. Мелье Ж. Завещание. – М., 1954
45. Мотрошилова Н.В. О лекциях Ю. Хабермаса в Москве и об основных понятиях его концепции. \\ Юрген Хабермас. Демократия, разум, нравственность. - М.: И.Ц. “Academia”, 1995.
46. Новгородцев П.И. Кризис современной философии права. Введение. Сочинения. - М.: Раритет,1995.
47. Первое послание к коринфянам Святого Апостола Павла \\ Библия. Изд. Библейских обществ
48. Платон. Евтифрон \\ Собрание сочинений. Т. 1 – М., 1991
49. Платон. Государство \\ Собрание сочинений. Т.3. - М.,1994.
50. Платон. Критий \\ Собрание сочинений. Т.3. - М.,1994.
51. Платон. Политик \\ Собрание сочинений. Т.4. - М.,1994.
52. Платон. Законы \\ Собрание сочинений. Т.4. - М.,1994.
53. Поппер К. Открытое общество и его враги. - М., 1992 .
54. Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира – Ярославль: Терра, 1991.
55. Ренан Э. Жизнь Иисуса – М., 1991
56. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о причинах и основаниях неравенства между людьми. Трактаты. - М.: Наука, 1969.
57. Руссо Ж-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. Трактаты. - М.: Наука, 1969.
58. Секст Эмпирик. Две книги против логиков \\ Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. Т.2 – М.,1976
59. Соколов В. Философия древности и средневековья \\ Антология мировой философии в четырех томах. Т. 1, ч.1. – М.,1969
60. Сюнь-цзы \\ Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т.2. – М.,1973

61. Фейербах Л. История философии нового времени от Бекона Веруламского до Бенедикта Спинозы \\ История философии. Т. 1. - М.: Мысль, 1974.
62. Федорова М.М. Модернизм и антимодернизм во французской политической мысли XIX века. - М., 1997.
63. Философия в энциклопедии Дидро и Даламбера. - М.: Наука, 1994.
64. Хабермас Юрген. Демократия, разум, нравственность. - М.: Academia, 1995.
65. Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. - М.: НИЦ. “Ладомир”, 1994.
66. Цицерон М.Т. Диалоги. О государстве - О законах. - М.: НИЦ. “Ладомир”, 1994.
67. Цицерон М.Т. Письма. В трех томах. - М.: НИЦ. “Ладомир”,1994.
68. Цицерон М.Т. Об обязанностях \\ О старости. О дружбе. Об обязанностях. – М., 1974
69. Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя – М., 2001
70. Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. - М., 1897.

Научная жизнь

ФЕНОМЕН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СТАГНАЦИИ И БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

А.И. Субботин
Педагогический институт
Южного федерального университета

Отчет о дискуссии в рамках 2-го тура второй летней школы «Политическая концептология: теоретико-методологические основания и институционально-символические аспекты социальных наук», 1-2.09.09, выставочный зал ДГПБ.

1. Организация и тема.

После перечисления ведущим, В.П. Макаренко, многочисленных отечественных и зарубежных заслуг и регалий гостя, Николая Сергеевича Розова, презентации его последних книг, дело, наконец, дошло и до доклада.

Заявленная в программе тема была изменена докладчиком, видимо, исходя из того факта, что его одноименная статья[1] была написана еще в 2006 году, опубликована в нескольких журналах и размещена на множестве сайтов. У интересующихся было время ознакомиться с материалом, а докладчик решил не пережевывать снова старую мочалку, но познакомить аудиторию со своими новыми идеями. Его цель, очевидно, вытекала из предположения, что поскольку обзор ситуации в теоретической социологии, сделанный участниками проекта «Мыслящая Россия», давно опубликован, известен и уже получил свои оценки (см. в Интернете отклики В. Данилова, Н. Просандеевой и др.), а присутствующие знакомы с его многочисленными статьями (на сайте www.nsu.ru), то нужно переходить от причитаний, обличений и доморощенных, никому не интересных, открытий (отраженных в книге «Мыслящая Россия») к анализу перспектив выхода теоретической социологии (прежде всего – в лице самих теоретических социологов) из надоевшего всем им кризиса (когда теоретические разработки пользуются вопиющей невостребованностью, а сами социологи вынуждены наниматься в период выборов к политикам ниже среднего ранга на должности мальчиков на побегушках). Тем более, что докладчик только что вернулся с V Философского конгресса в Новосибирске, где председательствовал на секции теоретической социологии, и был полон новых и свежих впечатлений.

Именно с обобщения-резюме этих впечатлений он и начал, перечислив «7 смешных грехов теоретизирующих философов», которые он наблюдал при выступлениях тамошних докладчиков, сразу заинтриговав аудиторию. Это: 1) *невнятность мысли*, 2) *соскальзывание*, т.е. хаотические переходы мысли, 3) *невежество*, когда не принимаются во внимание другие отечественные и зарубежные авторы, 4) *догматизм*, т.е. продолжение критики «буржуазных теорий», 5) *вымороченность*, т.е. отсутствие всякой связи с реальностью и результатами конкретных исследований, 6) *сервильность*, т.е. угождение начальству, 7) *легкий аутизм*, т.е. равнодушие к реальным проблемам и стремление строить «воздушные замки».

Введя, таким образом, совершенно новую для аудитории систему нормативов самооценки для присутствующих, более или менее теоретизирующих философов, социологов и политологов, и приведя их в состояние относительной заинтересованности (вытекающее из смутного ощущения собственной неполноценности, порожденного семью уколами потревоженной совести), докладчик перешел к основному содержанию, а именно – к презентации концепции «интеллектуальных сетей», изложенной в книге (переведенной им лично) Рэнделла Коллинза «Социология философии» (Сибирский хронограф, Новосибирск,

[1] «(Не)мыслящая Россия. Антитеоретический консенсус как фактор интеллектуальной стагнации»// Политическая концептология: журнал междисциплинарных исследований, № 1, 2009; politconcept.sfedu.ru

· Хотя, не исключено, наоборот, что у докладчика был сознательный расчет на более, чем обычное по России, незнакомство присутствующей ростовской (периферийной и отсталой по отношению как к Москве, так и к Новосибирску) философской публики (включая ведущего) с его статьями (т.к. он вел себя крайне сдержанно и не вступал ни в какие споры); его расчет, если он имел место, оправдался, почему – см. ниже.

2002, 1282 с.). Эту книгу, вместе с собственной (Н.С. Розов. Историческая макросоциология: методология и методы. Учебное пособие. Новосибирск, 2009), он предлагал желающим по себестоимости (по 1 р. за страницу). Некоторые купили.

Была представлена компьютерная презентация концепции «интеллектуальных сетей» Рэндела Коллинза: показаны основные контексты и в каждом перечислены основные принципы. Суть ее хорошо выражена в следующей цитате: «С одной стороны, везде с интеллектуалами происходит «одно и то же»: идет кристаллизация групп (фракций); мыслители и их группировки ищут и используют организационные основы, спорят между собой, что составляет основу интеллектуальных ритуалов с обменом культурным капиталом и эмоциональной энергией, формулируют интеллектуальные позиции, соперничают между собой за пространство внимания, делятся или объединяются, заимствуют и распространяют вовне свои идеи, комментируют классиков, переживают периоды расцвета творчества и времена идейного застоя, образуют соответствующие *интеллектуальные сети* (те самые связи личных знакомств между мыслителями), завоевывают долговременные интеллектуальные репутации при условии непрерывности спора во многих поколениях, достигают все более высоких уровней абстракции и рефлексии, развивая космологические, метафизические, эпистемологические и другие последовательности. С другой стороны, везде и во все времена это происходит по-разному: уникальность отнюдь не игнорируется, но Коллинз показывает, каким именно образом эти *неповторимые конфигурации* складываются из принципиально общего состава «ингредиентов» интеллектуального творчества. Данный *вызов нашим привычным установкам и ходам мысли* является лишь одним из множества, содержащихся в книге»[2] (курсив мой. – А.С.).

Реакция аудитории прошла, по мере изложения, ряд стадий: снисходительную, зарождения внимания, усиления внимания, первичной заинтересованности, первичного уяснения, первичной оценки, первичной озабоченности, первичной настороженности, первичного несогласия, первичного желания возразить (этот цикл далее повторялся). Докладчик был краток и покорил аудиторию своим любимым афоризмом, свидетельствующим о его пролетарском происхождении: «Для докладчика: рот закрыл – рабочее место убрано». Затем присутствующим предложили задать вопросы.

Заданные вопросы свидетельствовали о сильной заинтересованности аудитории, и больше в негативном плане (по старой русской традиции, к которой докладчик явно давно привык); спрашивали, 1) отражено ли в этой концепции понятия души (проф. Лешкевич Т.Г.); 2) насколько вообще данная концепция актуальна для России (проф. Швец Л.Г.); 3) распространяется ли эта концепция на филологию (проф. Чубарова В.Н.); 4) как соотносится эта концепция с тео-

[2] Розов Н. Глобальная рефлексия интеллектуального творчества в книге Р. Коллинза «Социология философий»/ www.gumer.info/bogoslov_Buks/Phi-los/Rozov/GlobRef.php.

рией М.К. Петрова (проф. Ерыгин А.Н.). Автор этих строк задал два вопроса: а) соотносится ли эта концепция с идеей особого национального пути России и роли в нем интеллигенции? б) Говорит ли она что-нибудь о социальной востребованности интеллектуального труда?

На эти вопросы было отвечено кратко: 1) что, по Канту, душа и Бог – не предметы научного исследования; 2) что это надо решать нам самим; 3) что, наверное, да, так как, например, два известных филолога – Желтовский и Щеглов – уехали в Америку и там процветают; 4) что, наверное, соотносится, но это надо выяснять. На мои вопросы было отвечено, что а) скорее всего, нет; б) безусловно, да.

Затем присутствующим было предоставлено право краткой реплики, и проф. Драч Г.В. выразил уверенность, что подобные контакты сыграют большую роль в знакомстве ростовской философской школы как с новосибирскими, так и с перспективными западными концепциями. Остальные реплики выглядели, как небольшой камнепад на участке бывшей Военно-Грузинской дороги, известном под названием «Пронеси, Господи!» (что, впрочем, ничуть не смутило докладчика, спокойно выслушавшего весь этот грохот).

Затем был содоклад ведущего, В.П. Макаренко, имевший существенно дополняющий характер, из которого следовало, что в современной России, с одной стороны, до сих пор имеет место «идеологическая эксплуатация интеллигенции», а с другой – у нее до сих пор наблюдаются «верноподданнические установки, препятствующие развитию». Поэтому для интеллигенции до сих пор свойственны явно не смешные грехи: 1) «заинтересованное лакейство», 2) «миф о посредничестве интеллигенции между властью и обществом», 3) «приверженность к негативной свободе, проявляющейся для развенчания советского образца науки». В результате «идея уроков истории потеряла смысл», а «культура – самоценность», при сохранении устаревшей «методы работы»: «разобрать на части». В качестве редкого примера преодоления этих недостатков содокладчик привел творчество Е. Гурко, которая написала книгу о Зильбермане, с восторгом принятую на Западе[3].

Содокладчику был задан один вопрос (проф. Марченко Т.А.), – не является ли увлечение в России такими концепциями интеллектуальной модой?[4] Вопрос,

[3] Стоило заглянуть в Интернет, чтобы узнать, что предпоследняя книга Е. Гурко «Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум), Как избежать разговора: денегации». Минск, 2001 (filosof. historic.ru/books/item/f00/s00/z0000215/) вызвала разноречивые отклики, в частности, такие (из рецензии С. Фокина): «Книга Е. Гурко – прекрасный образчик этого стремления связать свое имя с громким именем, как если бы отсутствие собственного имени могло быть восполнено присутствием чужого имени на обложке книге» (www.guelman.ru/slava/nrk /nrk8/27r.html). Последняя же книга Е. Гурко «Модальная методология Давида Зильбермана» (Минск: Экономпресс, 2007) явно должна расширить и дополнить контекст свободного построения концептов и обосновать его онтологически, опираясь на исследования Зильбермана.

[4] Этот вопрос имел подтекст: еще 6-7.12.2007 в Ростове-на-Дону прошел международный симпозиум «Интеллектуально-политические моды: концептологический подход», по его материалам была опубликована статья Мамедова О.Ю. «Интеллектуально-политическая мода (конъюнктурная или актуальная переоценка ценностей)»/ Экономический вестник РГУ, 2007, том 5, № 4 (есть в Интернете), хорошо известная присутствующим, но явно неизвестная докладчику.

хотя и остался, фактически, без ответа, был встречен аудиторией сочувственно, что отразилось потом в выступлениях.

После перерыва (было выпито три кипятильника для кофе и чая с печеньем – хорошая традиция!) начались выступления. Проф. Ерыгин А.Н. долго и убедительно, с предъявлением документов[5], доказывал, что концепция Коллинза не нова, что она подвергалась критике еще в 80-е, так, еще В.Н. Дубровин на Петровских чтениях 2003 года показал, что эта концепция весьма поверхностна и по своему содержанию и смыслу значительно уступает поликонтекстуальной теории культуры М.К. Петрова. Затем он сказал много горьких слов о незаслуженной и неоправданной неизвестности идей Петрова не только в Америке, но и в России. Между тем, как Петров еще в своих лекциях 60-х годов создал концепцию «европейского способа мышления» как, собственно, научного, чтобы затем, на богатейшем материале, в рамках поликонтекстуального подхода, показать его кризис. Его поддержала проф. Марченко Т.А., а Н.С. Розов отреагировал в том смысле, что подобный местнопатриотический порыв следует поддержать и организовать, очевидно, имея в виду, что если идеи Петрова хорошо «пропиарить», то совсем не исключено, что ими заинтересуются в Америке, а местное философское сообщество сможет, встав на его плечи, зацепиться за мировую философскую интеллектуальную сеть.

Это дало повод проф. Лешкевич Т.Г. попытаться подвести концепцию Коллинза под понятие «пошлость»; вновь всплыло понятие «мода»; докладчик пожелал услышать определения этих понятий, что вызвало, наконец, оживленный обмен мнениями, не приведший, однако, к согласию. До скандала дело не дошло, хотя некоторые и пытались его спровоцировать; так, докладчику был задан провокационный вопрос, одинаковы или различны социальные проблемы в Америке и в России? Когда он ответил, что, конечно, различны, последовал вопрос о смысле использования в России концепций, порожденных в Америке и для Америки. На это внятного ответа дано не было, как и на вопрос, зачем мы все, российские интеллигенты, социологи, политологи, философы (включая М.К. Петрова) сдались американцам, так как их интерес к России, включая российскую науку, явно шкурный (т.е. в лучшем случае – купля-продажа по предельно заниженным ценам, а в худшем – откровенное воровство). Очевидно, Н.С. Розов счел, что уместный ответ должен даваться теми, кого это касается (т.е. теми, кто считает, что это его касается, например, Г. Дерлугьяном), и не словами, а делами.

В заключение первого дня ведущий выразил удовлетворение имевшей место полноценной дискуссией и надежду на прогресс в развитии философских идей как здесь, в Ростове, так и вообще.

[5] См.: Ерыгин А.Н. Завещание философа (памяти В.Н. Дубровина)/ Философское и культурологическое россиеведение: феномен восточнохристианской цивилизации. Вып. 15. EN ARHE: изд. ЮФУ, Ростов н/Д, 2006. Эту книгу А.Н. Ерыгин торжественно подарил докладчику.

Второй день был посвящен политическим вопросам; доклады Н.С. Розова и В.П. Макаренко опирались на их ранее опубликованные статьи[6]. Вывод из статьи Н.С. Розова, важный для данной дискуссии, выглядит как призыв к интеллектуально-социальной революции: «Переход к *честной игре* в российской политике, соответствующее избавление от страхов и оживление самоорганизации — дело не только трудное, но и затяжное. Элите развития предстоит сыграть в этом судьбоносном переходе главную роль, именно представители данных кругов, которые сейчас атомизированы и запуганы, обладают вместе, солидарно, немалым потенциалом и энергией обновления. Вот мы и подошли к раскрытию роли интеллигенции, которую определим грубо, но операционально, – все лица с высшим образованием, которые по своему роду деятельности *пишут и/или говорят,* т.е. формируют общественный дискурс. Интеллигенция в таком понимании не только существенно пересекается с элитой развития (по М. Афанасьеву), но также *может и должна служить ее голосом*. Сформулируем принцип опять же в марксистских терминах: *роль интеллигенции в том, чтобы элита развития превратилась из «класса-в-себе» в «класс-для-себя»* (т.е. обрела собственную идентичность – сознание своих интересов и своей общественной роли)».

В.П. Макаренко, подробно описав и разоблачив в своей статье многие интеллектуально-политические моды, заключает «банальностью: все указанные интеллектуально-политические моды скрывают влияние дипломатических, военных и разведывательных агентств на реальную политику и процессы производства идей. Отсюда вытекают вопросы, почти не осознанные отечественным научным сообществом: следует ли считать такое влияние нормой или аномией (в смысле Э.Дюркгейма) или аномалией (в смысле Д. Норта)? свободны или несвободны люди, которые подчиняются данным модам и бездумно (иные – вполне осознанно) строгают историософские, геополитические и культурно-цивилизационные тексты? можно ли идти против течения в мире интеллектуально-политических мод или лучше уподобляться «ученому из Баку» в московской или ростовской разновидности?..»

Тем самым, прозвучал внятный призыв к интеллигенции Ростова идеологически объединиться, чтобы действовать. Но интеллигенция, не желая в данном случае изменять старой народной привычке, выработанной за сотни лет, безмолвствовала.

Заключительное выступление автора этих строк было слишком кратким, чтобы его здесь воспроизводить; ответственное отношение к данному отчету, к докладчику и к самому факту его участия в этой дискуссии заставило меня углубиться в научное творчество Н.С. Розова, хорошо представленное на сайте nsu.ru; открывшаяся мне картина заставила меня во многом изменить свое мне-

[6] См.: Розов Н.С. Кризис и ближайшие развилки российской политики: альтернативная повестка дня/http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/rozov-strate-gy.htm; Макаренко В.П. Научно-обывательское знание – интеллектуально-политические моды?//Политическая концептология: журнал междисциплинарных исследований, № 2, 2009; politconcept.sfedu.ru.

ние из-за существенного расширения информационного поля* (см. Отдельный комментарий).

По окончании дискуссии докладчик, некоторые аспиранты и студенты отправились в «Лиманчик» (лагерь отдыха РГУ в Абрау-Дюрсо, Новороссийск), чтобы достойно завершить «летнюю школу» и окончательно, практически, с использованием надежных, неэлектронных технических средств, на которые издавна богат сей лагерь, решить все теоретические затруднения, связанные с самоопределением современной российской социологии, философии, да и политики. Не исключено, что вследствие этого возникнет, наконец, устойчивая связь, включающая ростовское философское сообщество в мировую интеллектуальную сеть с центром – где? В Америке, Новосибирске, Ростове или в «Лиманчике»? Этот вопрос требует дополнительного углубленного исследования, так как все эти географические точки имеют на то свои основания. Ведь если не зацикливаться на образе сети, как паутине, в центре которой сидит паук, а взглянуть на нее, как на функциональную систему (в духе Анохина), в которой центр (целевой фокус) может изменять свое положение в зависимости от ситуации, то в этом, похоже, что-то есть. Но для этого нужна и новая сеть мировых взаимоотношений, не сводящаяся к рыночной, а включающая ее как средство.

Отдельный комментарий. К проблеме выхода российской философии, социологии и политологии из интеллектуального ступора: позиционный анализ.

Бросается в глаза, что теория интеллектуальных сетей Коллинза, которую представил Н.С. Розов, по своему содержанию очень похожа на обобщение схемы сетевого маркетинга и иных форм сетевой социальной организации – пирамид, тоталитарных сект, международных монашеских орденов, мировой преступной сети и т.п. Применение такой схемы к анализу отношений в обществе в целом, очевидно, представляет интерес в обществе с рыночной культурой, но у нас, где рынок еще не стал культурной нормой, это вызывает, по меньшей мере, недоверие, что и проявилось на обсуждении, поскольку научное содержание этой теории – минимальное. Ведь эта схема ничего не объясняет в научном плане, т.е. не отвечает ни на один вопрос типа «Почему в обществе что-то происходит?» С другой стороны, она явно отвечает на другой неявный вопрос, обращаемый к некоему философу, социологу, политологу: «Почему ты такой неудачник: мало зарабатываешь, никому не известен и никому не нужен?» От-

** Только после этого мне стало понятно необычное спокойствие Н.С. Розова на этой дискуссии: для его уровня мы – всего лишь *такие* философы, социологи, политологи; он приехал к нам не для того, чтобы просвещать, а чтобы посмотреть, что́ мы можем ему предложить взамен его идей, поучаствовать в разговорном «интерактивном ритуале». Но мне страшно подумать, что было бы, если бы на обсуждение была выставлена, например, его статья «Социологическая «отмена философии», которую участники (и даже ведущий), конечно, не читали, как и предшествующие ей публикации. Тогда состоялся бы уже не разговорный ритуал. Видимо, Н.С. Розов предвидел такой поворот событий. Обмен товарами не состоялся. Но студенты явно заинтересовались.

вет подразумевается простой: «Потому что ты (медведь берложий, пассивный, тупой, блохи заели, лень почесаться и т.д.) не подключился к мировой интеллектуальной сети»[7].

В своей статье[8] Н.С. Розов прямо пишет: «Когда «Социология философий» Рэндалла Коллинза будет по-настоящему освоена интеллектуальным сообществом, что-то очень существенное изменится в характере философского мышления. Произойдет своего рода социологическое взросление философов и философии, так что прежние способы интеллектуального поведения покажутся новым поколениям если не наивными, то, по крайней мере, принадлежащими уже прошедшей — «социологически дорефлексивной» эпохе».

Тем самым, В.Н. Розов предстал в Ростове в виде некоего вербовщика нашей философской молодежи (на стариков он в этом плане не надеется) активнее подключаться к «мировой интеллектуальной сети», т.е. входить в отношения ученичества с зарубежными учеными, чтобы цитировать, развивать и применять (как? где?) их теории, получать от них признание (которое мгновенно должно невероятно поднять их авторитет в тех кругах России, которые поклоняются Западу), заводить собственных учеников и т.д. Практически это сделать просто: надо больше подавать заявок на иностранные гранты: они и дадут всё – и деньги, на которые так скупо для науки наше государство, и мировое признание, которого в России не добудешь. Самый легкий путь – начать пропагандировать именно теорию Коллинза, и сеть превращается в пирамиду, замкнутую на самовоспроизводство.

А в статье[9] Н.С. Розов, предлагая выход («саморазвитие через идейный экспорт»), пишет: «Нравится нам или нет, но геокультурные зоны интеллектуального престижа лежат вовне России — на Западе (сноска: «Модель Коллинза использовал Г. Дерлугьян для объяснения неэквивалентного интеллектуального обмена между США и Россией»). С этой реальностью приходится считаться, более того, нужно знание данного факта использовать. Важное следствие: российские исследователи и исследования получают наибольший престиж на родине, будучи признаны на Западе. Прорвать антитеоретический консенсус нельзя методологической полемикой, но можно — высоким престижем теоретических работ. Чтобы такие работы были поняты и признаны на Западе, они должны трактовать (развивать, обогащать, либо опровергать) признанные и наиболее активно обсуждаемые западные же теории и модели… Далее «дело за малым»: начать и кончить теоретико-эмпирическое исследование, в результатах которого должны содержаться сильные и подкрепленные данными утверждения относительно известных в соответствующей западной науке теорий и моделей, за-

[7] Эта схема напоминает рекламный слоган Энди Таккера: «Почему ты болен? – Потому, что ты не купил патентованное средство доктора Воф-Ху от всех болезней».

[8] Розов Н. Глобальная рефлексия интеллектуального творчества в книге Р. Коллинза «Социология философий»/ www.gumer.info/bogoslov_Buks/Phi-los/Rozov/GlobRef.php.

[9] «(Не)мыслящая Россия. Антитеоретический консенсус как фактор интеллектуальной стагнации»// Политическая концептология: журнал междисциплинарных исследований, № 1, 2009; politconcept.sfedu.ru.

тем приложить большие усилия для публикации результатов в наиболее авторитетных отечественных и, главное, западных журналах, добиваться включения своих идей и результатов в западные дискуссии, после этого — пропагандировать и расширять такого рода исследования в России, привлекать молодежь».

Яснее не скажешь. Но лично у меня возникает такой вопрос: какое отношение имеют все предлагаемые усилия для решения социальных и иных проблем *России*? Н.С. Розов уже ответил на этот вопрос: никакого. Это – сложившаяся позиция. Но именно с этого вопроса, по-моему, и должно *начинаться* самоопределение молодого социолога, политолога, философа. А дальше – дело совести каждого: оставаться русским или становиться «космополитом». Ведь русский вроде бы имеет больше оснований помочь России по самому факту своего национального самоопределения, а космополит – еще неизвестно, чем, как и при каких условиях. Тот, кто уехал работать *в* Америку, работает *на* Америку. Многие в России тоже работают на Америку, не сознавая того. А мы в России решаем вопрос: что значит «работать на *Россию*?» Ведь российские проблемы не решит никто в мире, кроме россиян. Это факт. А чтобы их решить, нужна самостоятельность во всех отношениях.

Но политико-мировоззренческий взгляд далеко не достаточен, чтобы оценить потенциал теории Коллинза. Важен и теоретический анализ. В статье[2] Н.С. Розов отмечает, что в теории Коллинза «важно само выделение Коллинзом такой реальности как пространство интеллектуального внимания, в котором появляются и борются между собой идейные позиции. Философская книга теперь выступает не как «самореализация» личности автора и не как «отражение» конкретно-исторического контекста, а как своего рода шахматный ход в борьбе мыслителей за интеллектуальное внимание в конкретной расстановке соперничающих идейных позиций». В самом деле, если к философам никто не прислушивается, то почему бы не поиграть в философских гладиаторов. Это должно привлечь публику. А когда сформируется индустрия таких боев, так что можно уже будет организовывать договорные бои (как матчи в футболе), то тут и хорошо зарабатывать можно.

Но самое интересное в этой статье – взгляд на практические возможности и перспективы, раскрываемые книгой Коллинза. Н.С. Розов пишет: «Можно ли считать, что книга Коллинза откроет новые познавательные пространства, и предполагать существенную последующую смену траекторий научного и философского мышления? Что касается истории и исторической социологии мышления, то сомнений в этом не возникает. После освоения «Социологии философий» нынешним и следующим поколением полноценная работа в области истории идей будет с необходимостью предполагать учет сетевых факторов, анализ хода борьбы отдельных мыслителей и групп за пространство внимания, изучение специфики и закономерностей влияния разных организационных основ на соответствующие перегруппировки интеллектуальных фракций, исследование закономерностей расцвета и стагнации, идейных заимствований и «идейного

экспорта», рассмотрение контекста включенности в долговременные интеллектуальные последовательности. Здесь вполне резонно ожидать резкий поворот интереса исследователей от «личной биографии» мыслителя и «исторического контекста» к сетям, сообществам, структурам пространства внимания, смещению его фокусировки, ритуалам, идеям и доктринам как символам группового членства, системам покровительства, влиянию политических и экономических событий на системы поддержки интеллектуальной жизни (нечто подобное уже произошло в литературоведении в смещении внимания от отдельного текста к интертекстуальным связям, в миросистемном подходе к антропологии и т.д.)».

Трудно отделаться от мысли, что здесь изложен проект будущей мировой цеховой организации историков-социологов-политологов. В этом нет ничего плохого, наоборот, можно только порадоваться за историков-социологов, активно взявшихся, наконец, за решение проблем своей профессионально-экономической самоорганизации. Похоже, мы действительно вошли в эпоху нового средневековья. Всем остальным, наверное, нужно делать то же, а не задаваться глупыми, никому не нужными, вопросами типа «А в чем смысл бытия?», «А в чем смысл жизни?», «А что же будет дальше с человечеством?» Гораздо выгоднее подсчитывать, сколько людей в мире задается подобными вопросами и как их понимает, чтобы, исходя из этой информации, влиять на интеллектуальную моду и формировать структуру спроса на интеллектуальные продукты для философов – производителей ответов на такие вопросы, ведь дать на них ответ может любой колдун, гадалка, астролог, мошенник с психологическим образованием. В этом свете шесть сценариев[10] Н.С. Розова, описывающих возможные реакции научной общественности на книгу Коллинза, выглядят естественным описанием внутрицеховой борьбы за клиента. Что же касается седьмого сценария, то непонятно, к кому автор его относит: кто будет выискивать «на что он (Коллинз. – А.С.) замахнулся, на что указал, о чем намекнул, что можно у него вычитать, но решения чего в книге нет». Ведь Коллинз сам указывает на сферу «глубоких философских затруднений», но непонятно, какое отношение имеет к ним его теория, которая не является ни объяснительной, ни предсказательной, а только описательной. Или речь идет о проблемах адекватного описания?

И далее Н.С. Розов, с выставленной напоказ самокритичностью, за которой скрывается глубокий сарказм, пишет: «При всей законной гордости в достоинствах философской рефлексии, нам, философам, полезно признать, что весьма основательную рефлексию над процессами и закономерностями философского творчества на этот раз совершил отнюдь не философ, а исторический социолог». Что ж, это хорошо, что хоть для кого-то философы станут предметом социального исследования, и нам скажут, чтó мы делаем не так, чтобы жить хорошо. Правда, уже лет триста это делают с интеллигенцией вообще, а толку

[10] Н.С. Розов часто использует этот псевдологический прием: описать все, на его взгляд, возможные варианты позиций, решений, оценок, интерпретаций и т.п., чтобы альтернативы однозначного, выгодного ему, выбора были очевидны.

пока никакого. Ведь «в книге Коллинза представлена именно социологическая рефлексия, что оставляет обширное поле возможностей для философской трактовки нового ценнейшего материала». Это-таки да. Вот так выглядит сотрудничество философов и социологов: первые будут рекламировать идеи вторых на личном примере.

Для философов, безусловно, «особенно перспективными представляются проблемы онтологического статуса выделенных Коллинзом реальностей, таких как: «пространство интеллектуального внимания», «культурный капитал», «эмоциональная энергия», «иерархия уровней абстракции-рефлексии» и т.д. Также намечается новый виток развития проблематики, связанной с социальной обусловленностью познания вообще и философского познания, в особенности, но теперь уже не в примитивных схемах «социального заказа» или «отражения социального бытия», а при посредстве новых рафинированных моделей макро- , мезо- и микросоциального обусловливания философского творчества. Назовем эту первую выделенную проблемную область философским осмыслением социальной и макроисторической динамики интеллектуального творчества». Конечно, определение всех вышеприведенных понятий, скорее всего, относится к сфере «глубоких философских затруднений», но можно ведь обойтись и без определений, особенно в сфере «новых рафинированных моделей макро- , мезо- и микросоциального обусловливания философского творчества», где – для успешного пиара – вполне достаточно звонких и приковывающих внимание дилетантов терминов, – это же уровень «глобального заказа».

Это верно, что «сам принцип соотнесения сегодняшней работы отдельного философа с накопленным идейным арсеналом и движением мировой философской мысли становится проблемой». Но не только с этим. Стоит сказать больше – с возможностью определения смысла жизни. И здесь мы снова приходим к границе личного сознания – к совести. Решать эту проблему для сороконожки, привыкшей быстро бегать, равносильно смерти. Поэтому проще всего сказать, что эта проблема неразрешима, а раз так, то и вся философия повисает в воздухе – у нее нет критерия знания, а мнения могут быть о чем угодно, а социальный успех мнения опирается на совсем другие факторы. Об этом давно сказал Фейрабенд: если критерия истины нет, то можно пользоваться чем угодно, лишь бы тебе поверили. Здесь вспоминается Достоевский, считавший, что неверие в Бога сразу порождает всеобщий разбой. Наше же время – это время всего лишь всеобщего мошенничества. Но нормальная ли это жизнь? Кажется, еще немного – и мы все подадимся в экзистенциалисты.

Заключительный тезис этой статьи: «Так или иначе, наибольшую пользу философы и философия извлекут из книги Коллинза, если воспримут ее как серьезнейший вызов, ставящий под сомнение всю эту почтенную традицию».

В следующей статье[11] Н.С. Розов начинает говорить всерьез, доказывая на историко-философских фактах полную бесполезность философии вообще, исходя из того, что философы всегда спорили между собой, чья философия вернее, не имея и не вырабатывая для этого никаких научных оснований. Отказываясь от коллинзовской дипломатичности, он прямо и резко формулирует свой тезис: «*Ни знаний, ни открытий в философии нет; в ней накапливаются только мнения, соответственно, в философии нет и поступательного познавательного продвижения*» (имеются в виду знания и открытия, отвечающие критериям научности, которые формулируются тут же). Н.С. Розов считает, что такие критерии вполне можно применить и к философии, исходя из ее «сущностных черт — ее претензий на трактовку предельных оснований любых суждений и целостное осмысление мироздания», потому что философию он определяет, как «*мышление, направленное на предельное обоснование любых суждений и построение целостного осмысленного образа окружающего мира и места в нем разумных существ*». Правда, он видит «внутреннюю противоречивость и определенную безнадежность в самом этом «проекте»», но продолжает анализировать и критиковать его, со всеми вытекающими далее из этого последствиями для философии.

Для этого он берет себе в помощь некоего С. Фукса, который «оказывается гораздо более последовательным (и, увы, — циничным) социологом», чем Коллинз (и, видимо, даже сам Н.С. Розов). Этот Фукс «долбает социологическим молотом» по философии; он «ставит под сомнение само различение между теоретическим уровнем и уровнем наблюдения. Эта граница также оказывается переменной, она относится не к основаниям, которые могла бы выявить философия науки, а лишь к меняющимся результатам развивающихся частных наук. Социолог Фукс не отказывает себе в удовольствии откровенного издевательства над философами науки и философами вообще. «Вместо того, что бы искать универсальные и логические «критерии», которые всегда будут отделять теорию от фактов, философам следовало бы проследить, как действительные продвижения в технологии постоянно сдвигают линии между реализмом и позитивизмом. Конечно же, для этого философы сперва должны прекратить заниматься философией» (это уже цитата из Фукса. – А.С.). Суть такого мнения – в разделении подлинных (теоретических) и неподлинных проблем: философия не решает подлинных проблем. Такие известные «философские проблемы», которые веками считались неразрешимыми, как «смысл истории, как и свобода воли, не постижимы в научном исследовании, соответственно данные понятия являются бесполезными для познания, а соответствующие философские

[11] См.: Розов Н.С. Социологическая «отмена философии» – вызов, заслуживающий размышления и ответа//Вопросы философии, № 3, 2008; http: //www.nsu.ru/filf/rozov/publ/otmena.htm. До ознакомления с этой статьей я считал, что позиция Н.С. Розова – некая случайная аномалия; после ознакомления я понял, что у него уже имеется концепция, которая целенаправленно им развивается: любые сомнительные моменты в каждой предыдущей статье становятся предметом специальной разработки и обоснования в последущей; это говорит о развитой теоретической рефлексии автора. В результате его концепция медленно, но верно, приобретает качество фундаментальности. Вот только о чем она?

проблемы — не разрешимыми в принципе, но не потому, что они особо глубоки, а потому что они являются псевдопроблемами, которые просто не надо ставить» (это тоже мнение Фукса. – А.С.). Но Н.С. Розов не так доверчив, чтобы верить ему на слово: «Философский подход обнаруживает свою силу, поскольку сосредотачивается на основаниях, выявляет скрытые и умалчиваемые основания и систематически работает с ними. Действительно, надо или нет ставить те или иные проблемы — зависит от точки зрения, прежде всего — от принимаемых ценностей. Пусть какие-либо проблемы не решаются научным подходом, но их не надо ставить только при условии принятия весьма ограниченной — *сугубо сциентистской* системы ценностей».

Отсюда вытекают сразу две темы, которые Н.В. Розин далее разрабатывает отдельно: 1) вопрос о фундаменте (социологическом) философских проблем и 2) такой же вопрос о ценностях.

Что такое (великая философская) проблема? Это то, что обсуждается в профессиональных (философских) кругах долгое время (может быть, сотни или тысячи лет), как, например, скандал в королевской семье долго обсуждается в аристократических кругах и в прессе. Это то, что надежно привлекает внимание заинтересованной публики, готовой покупать сведения и версии (независимо от их истинности и обоснованности); как пишет сам Н.С. Розов: «Итак, что же делает философскую проблему великой? Сформулируем тот же вопрос более точно: какие причинные факторы, в какой взаимосвязи между собой и каким образом обусловливают высокую долговременную значимость философских проблем?» Следы этого обсуждения, как и ментальные связи между участниками (философами), можно легко отследить в публикациях по ссылкам. Предмет социологического исследования налицо. Его существование можно доказать, исследуя его (философии) историю, что и делает Коллинз в своей книге. Это сети взаимных цитирований, заимствований, сформировавшиеся в (философские) школы и выполнявшие в то время, скорее, функцию взаимной внутрипрофессиональной морально-интеллектуальной поддержки. В XX-XXI веке эти средневековые цехи обречены на экономическое вымирание: законы мирового рынка требуют новых подходов и организации профессиональной деятельности.

Что нужно продавать на рынке? То, что покупается. А что продолжает продавать наша философия? Никому не нужное старье. Поэтому философия «непременно потеряет свои еще пока сильные позиции в учебных программах, в популярности среди студенчества, в доле грантовой поддержки исследований. Ее роль в лучшем случае будет походить на нынешнее незавидное положение греко-римской классической филологии, а в худшем – на старую громоздкую пыльную пальму, оставшуюся в доме от прежних владельцев, которая точно,

что никому не нужна и место зря занимает, но выкинуть как-то рука не поднимается»[12].

Но является ли такое неуважение к философии случайным? Почему ее перестают считать ценностью? На это Н.С. Розов выдвигает свою концепцию ценностей[13]: «Под *ценностями* здесь понимаются предельные нормативные основания актов сознания и поведения разумных существ» (описание предмета), которые «имеют статус *культурных образцов*» (субстанциально-инвариантная сущность предмета); «Основная масса ценностей — *этосные ценности*, т.е. принадлежащие тому или иному этосу» (содержание предмета) и «*Общезначимые ценности — это понятийное выражение главных условий, выполнение которых необходимо для сохранения возможности всех людей (индивидов, групп, сообществ) осуществлять свои этосные ценности*» (предельное обобщение предмета). Далее легко уже ввести понятие суперценности на примере «смысла истории»: «Загадка смысла истории, таким образом, раскрывается как проблема выявления механизмов *превращения этосного в общезначимое*». Готов ценностный критерий для любой деятельности, например, философского исследования. Он же – критерий прогрессивности, осознание которого философами – единственный залог их выживания. Законы истории – вещь объективная, переть против них – значит погибнуть; лучше сесть на них верхом (если удастся) и ехать без хлопот в светлое будущее. А опоздавших не ждут.

После этого, видимо, можно уже без обиняков, прямо и откровенно предложить умирающей в России философии способ выжить в этом кризисном мире. Что делать? Надо: «***Поддержать движение за многополюсное партнерство и устойчивое развитие.*** Главная надежда и вероятный будущий козырь философии – подъем Мегатенденции III: переориентация экономического развития, направленности на многополюсный мировой порядок, мультикультурализм и устойчивое развитие»[14]. И далее Н.С. Розов воспроизводит бодрый призыв В.С. Степина и В.С. Толстых: «От глобального рассмотрения кризисных проблем необходимо перейти к парадигмальной критике (аналитике) мировых цивилизаций, их исторически сложившихся оснований. Если мировая цивилизация на гребне своих высших достижений подошла к осознанию того, что никакого гарантированного будущего нет, что, напротив, возникла реальная угроза прекращения, обрыва ("конца") истории, то, используя известный оборот "сам Бог велел", его представителям на Земле нужно задуматься о том, почему такое событие и финал стали возможными». Если философии удастся на этой основе представить целостный, понятный и широкой общественности и влиятельным группам мировой элиты образ настоящего и направление глобальной переориентации развития человеческого рода, то рядом с таким эпохальным ре-

[12] См.: Розов Н.С. Философия и теория истории. Книга 1. Пролегомены. М., Логос. 2002, раздел 7.1.10. «Что ожидает философию?»/ hpsy.ru/link/400.

[13] См.: Розов Н.С. Общезначимые ценности и смысл истории/ http: //www. nsu.ru/filf/rozov/publ/.

[14] См.: Розов Н.С. Философия и теория истории. Книга 1. Пролегомены. М., Логос. 2002, раздел 7.1.10. «Что ожидает философию?»/ hpsy.ru/link/400.

зультатом последующее повышение статуса и возврат ведущей роли философии, ее рецентрация будут просто частным побочным следствием».

Но тут возникает вопрос, о какой философии идет речь? Этой темой теперь занимаются все, кому не лень. Об американской? Или о российской? Н.С. Розин это чувствует и сразу же за этим пишет: «***Российская философия за общенациональную консолидацию.*** В России и для российской философии встает та же задача. Вместо прислуживания западничеству или изоляционизму необходимо найти идейные основы для социального компромисса и широкого социального партнерства. Необходима общенациональная консолидация, но не в попытке имитации Запада (все равно не получится) и не в новом горделивом отгораживании (во-первых, не получится, во-вторых, отбросит страну далеко назад), а в согласии относительно комплекса главных национальных стратегий для выживания, успешного соперничества и победы в жестких условиях открытости ветрам геоэкономики, геополитики и геокультуры. Грош цена нашей российской философии, если она не сделает достойного вклада в идейное обеспечение такой консолидации». Вот это лозунг! Таких не было со времен большевиков! И всего-то делов: тяп-ляп «найти основы для социального компромисса и широкого социального партнерства» (мы их до сих пор никак не можем найти, видно, хорошо спрятаны), установить социальное «согласие» в деле «выживания, успешного соперничества (с кем? – А.С.) и победы (над кем? – А.С.) в жестких условиях…» И грош нам цена, если мы не победим![15]

Но сможет тот, кто может, и нечего оглядываться на тех, кто не может. Далее идут конкретные деловые рекомендации для тех, кто может: «***К грантовой поддержке мультидисциплинарных проектов***. Этот сюжет сразу подсказывает оптимальную линию поведения в обещающей обострение ситуации конкуренции в университетской среде, куда перемещается центр тяжести исследовательской работы». Суть – в объединении, с помощью грантов, исследователей из самых разных дисциплин, а «необходимость онтологической, концептуальной, методологической согласованности между столь разными областями науки всегда будет обеспечивать запрос к философским разработкам». Тут сразу вспоминается Г.П. Щедровицкий с его идеей «синтеза наук»[16]. У него это не вышло «мытьем», может быть, теперь у Н.С. Розова получится «катаньем». Но даже это будет ох, как непросто! Ведь много десятилетий ситуация в нашей науке определяется межпрофессиональной (междисциплинарной) разобщенностью, чтобы не сказать – ненавистью. Другая блестящая перспектива: «Философы, которым сегодня нельзя не задумываться о вероятном глобальном и нацио-

[15] Здесь описываемая ситуация живо напомнила мне эпизод из повести М.А. Булгакова «Белая гвардия»: «- Немцы побеждены, - сказали гады. – Мы побеждены, - сказали умные гады. То же самое поняли и горожане… Значит, значит – одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в Городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, умирать не будут, кто же будет умирать?» Но это ведь не социологический вопрос. В социологии спрашивают: «Сколько?»

[16] Щедровицкий Г.П. Синтез знаний. Проблемы и методы/На пути к теории научного знания. М., 1984; переиздано: Г.П. Щедровицкий. Философия. Наука. Методология. М.: ШКП, 1997; www.circle.ru/archive/gp84a1.html.

нальном будущем, вполне могут взять на себя роль соединителей интересов социальных практиков с научными социально-историческими исследованиями», т.е. грантодателей с грантополучателями. А дальше начнется «автокаталитический эффект», который сформирует «новое пространство глобального интеллекта». Правда, между делом, придется еще научить этого монструозного младенца – «глобальный интеллект», не гадить в мировые пеленки…

Дальше: надо широко развернуть макросоциологические исследования всего, на манер Ф. Броделя, переводить зарубежные книги и статьи, что будет полезно «нашим историкам, социологам, политологам, культурологам». А философы смогут «быть инициаторами составления заявок комплексных исследований для получения грантов, организовывать коммуникативные сети между исследовательскими центрами и дисциплинами, становиться в центре этих сетей и предлагать общие интеллектуальные основы для научной коммуникации». Как это заманчиво! Да что-то верится с трудом. Кто же это из историков, социологов, политологов, культурологов пригласит *философа* для такой работы? Ведь это означало бы сразу признать собственную неспособность это сделать. И делиться деньгами? Еще чего! А если сам философ проявит такую инициативу, то с ним будет то же, что с Г.П. Щедровицким.

И завершает статью блестящая рыночная идея, по сути, «ноу-хау» Н.С. Розова: идея социологически-исторически-политологически-культу-рологически-философского товара, пользующегося неизменным спросом для всех времен и народов: сценарии «будущего на основе явно заданных предпосылок. Практика показывает, что именно сценарии являются главной приманкой и для широкой публики, и для практиков, и для коллег-критиков». Вообще-то, при этом явно придется вступить в конкуренцию со многими другими предсказателями из сферы религии, магии, астрологии, лженауки и др., и совсем не очевидно, что они будут побеждены. Но если это произойдет, то дальше – дух захватывает: освоив эту практику, новая философия сможет «играть одну из ведущих ролей в развитии глобального интеллекта как широкой сети мультидисциплинарных исследований, использующих современные компьютерные технологии, с ориентацией на воссоздание "невидимых колледжей" и научных школ с автокаталитическим эффектом, основанных на грантовом финансировании и прямо связанных с социальной практикой» и тем самым, осуществить «Вторую философскую трансформацию». Великую.

Пора подводить итоги. Чего хочет Н.С. Розов? Что он делает? Почему? Кто же он, наконец?

Чтобы понять человека, надо разобраться в его самоопределении. Написанного выше, в общем, интуитивно, достаточно. Но принцип систематичности анализа требует четкости. Понять самоопределение Н.С. Розова напрямую невозможно (да и не нужно); нам достаточно выяснить, какое самоопределение он предлагает принять или отвергнуть другим. В его статьях бросаются в глаза три

формы самоопределения, соответственно, в моральном, антропологическом и духовном контекстах, свое отношение к которым он высказывает прямо. Это «человек-гражданин», «человек-ин-дивид» и «человек-трансцензус» (терминология моя. – А.С.).

1. Человек = гражданин. То, что Н.С. Розов социолог, а не философ, бросается в глаза любому философу, хотя он часто повторяет: «Мы, философы…». В этом убеждает его желание реформировать философию, сделать ее, наконец, «полезной обществу». Этот оборот для него значит: сделать философию (а заодно и социологию, культурологию, политологию, историю и т.д.) профессиями, приносящими тем, кто ими занимается, доход, престиж и мировую известность. Предлагаемые им способы достижения этого – чисто рыночные и откровенно манипулятивные, в мировом масштабе. Есть ведь прецеденты – институт Гэллопа в США, Левада-Центр у нас и т.п. Но Н.С. Розов хочет разрушить такие инертные структуры с помощью сетевого принципа организации. Видимо, для любой профессии такое предложение является супервыгодным. Потенциал развития сетей велик; их кризис наступит, только когда они охватят весь мир, всех и каждого, и во всех отношениях, – лет на 1000 хватит.

Но что может ответить на такое предложение современный, отдельный, рядовой философ-гражданин, бывший преподаватель диа- и истмата, с советским стажем работы? Для кого как, а мне приходит на ум диалог д'Артаньяна с кардиналом Ришелье из «Трех мушкетеров»: когда Ришелье, убедившийся в больших достоинствах д'Артаньяна, предложил ему перейти на службу к нему, тот отказался, ответив: «Все мои друзья находятся среди мушкетеров и гвардейцев короля, а враги, по какой-то непонятной роковой случайности, служат вашему высокопреосвященству, так что меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение, ваша светлость». И далее он предлагает кардиналу испытать его в деле защиты государственных интересов, по идее, находящихся выше различий «король-кардинал», – осады Ларошели: «Быть может, в будущем я приобрету право бескорыстно отдать вам себя, тогда как сейчас это будет иметь такой вид, будто я продался вам», на что Ришелье ему отвечает: «Молодой человек, если мне представится возможность сказать вам еще раз то, что я сказал сегодня, обещаю вам сказать это». Д'Артаньян ужаснулся на эти слова, но не изменил своего решения.

Для молодых, не читавших «Трех мушкетеров», есть повод задуматься, почему он так поступил. И если Н.С. Розов допускает тот вариант, что можно сначала «продаться», завоевать доверие, а потом «подсунуть *свой* товар» или даже «повлиять на чужое производство» (он намекает на это в статье[17]), то стоит принять к сведению, что уже во времена д'Артаньяна понимали бесперспективность этого. Для Америки, да и для всего мира, идея «уникального национально-исторического опыта России для решения мировых проблем» – явная фикция. Россия собственных-то проблем никак решить не может, тех, которые

[17] Розов Н.С. Общезначимые ценности и смысл истории // http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/.

давно решены в других странах. У Америки свои цели, а другие страны решают свои нынешние проблемы сами и по-своему. Что значит – решать глобальные проблемы не в американском смысле? как их решение соотнести с решением проблем России? возможно ли решение вторых в результате решения первых? – вот это касается самоопределения российского гражданина как представителя России (хотя бы в собственном сознании).

Н.С. Розов может возразить, что д'Артаньян так и не сделал карьеры: поздно разбогател, использовав подвернувшийся случай задействовать, наконец, свой врожденный авантюризм; капитаном мушкетеров стал в пятьдесят лет, а маршалом – с день своей гибели на поле боя. Но я вижу за этим такое его самоопределение: быть на месте вовремя в нужный для истории момент, хотя бы для этого пришлось ждать всю жизнь. И на мой взгляд именно своим равнодушием к богатству, власти, престижу д'Артаньян так симпатичен русским людям. А чтобы получить славу, он просто жил и действовал, как мог, и ему хватало.

2. Человек = индивид. Что представляет из себя и какое место занимает «человек» в социологии? А в коллинзовской интеллектуальной сети? Что такое «социологическая философия», Н.С. Розов объясняет хорошо. А что такое «социологическая антропология»? Для ответа обратимся к его статье[18], в которой автор, стремясь противодействовать разрушительной деконструктивистской тенденции в социологии, предлагает «эскизный контур методологических и онтологических оснований для желательной крупной метаморфозы социального и гуманитарного познания». При этом Н.С. Розов вовсе не мнит себя новым лидером этой науки; он прямо дает понять, что если эта его программа провалится, то это произойдет потому, что найдутся исследователи, которые разработают лучшую программу и добьются более значимых результатов (как это, например, произошло с Эрлангенской программой Гильберта). Таким образом, его «поражение» все равно пойдет на пользу социологической науке. И он разъясняет, что «номологическое исследование (анализ) означает изучение эмпирических явлений с целью их объяснения и/или предсказания на основе… универсальных или охватывающих законов…», а «предлагаемая стратегия *номологического синтеза* как путь интеллектуальной интеграции социального и гуманитарного познания состоит в систематическом и кумулятивном сопоставлении и объединении, согласно логическим схемам и стандартам, заданным К. Гемпелем и И. Лакатосом, наиболее достоверных теоретических результатов, относящихся к одному и тому же фрагменту социокультурной действительности». Это звучит внушительно, но еще большее впечатление производит перечисление основных и новейших достижений социологии; это: 8 постулатов микроуровня Мида-Коллинза об индивидах, 8 законов и 2 принципа (Цикуреля и Гардфинкеля) мезоуровня о группах и сообществах, 3 принципа макроуровня, 5 законов

[18] См.: Розов Н.С. Номологический синтез теоретических знаний об истории и культуре (проект интеллектуальной стратегии)/ anthropology.ru/ru/ texts/rozov_ns/kagan_07.html.

геополитической динамики Коллинза, 6 эволюционных законов макроуровня, законы макродинамики Тернера, законы о динамических стратегиях Снукса. Это, действительно, похоже на универсальную социологическую модель для исследования любых социальных явлений. Видимо, если все эти законы и принципы применить разом к какому-то одному социальному явлению, то вся его природа, сущность, детали и прочие подробности будут выявлены досконально и исчерпывающе, и все станет ясно.

Следует отметить, что у Н.С. Розова есть некоторые основания возлагать надежды на идею «номологического синтеза»: у него есть прецедент попытки внедрения такового в социологическую практику. Речь идет о споре Б.Н. Миронова с С.А. Нефедовым и об отклике на него Н.С. Розова[19]. Он предложил взглянуть на этот спор не с эмпирической, а с теоретической, концептуальной позиции. Суть в том, чтобы две частные социологические модели, представленные двумя социологами-историками, подвести под более общую, более теоретичную социологическую модель, которую и предлагает Н.С. Розов, чтобы, по крайней мере, иметь основание для их объективного сравнения. В результате он приходит к тому же выводу, что и в других откликах на этот интересный спор, – что «позиция С.А. Нефедова представляется более теоретически обоснованной», хотя и «в аргументации Б.Н. Миронова есть своя правда». Польза же концептуального подхода, еще не очень развитого в теоретической социологии, в том, что с его помощью можно, хотя бы в общих чертах, выявлять те факторы, остающиеся без внимания или недооцениваемые в частных моделях, учет которых может, как минимум, снять противоречия этих частных моделей, а как максимум – задать основание новой, более общей модели, непротиворечиво объединяющей две прежние. И «чтобы выделить сложную взаимосвязь этих факторов и динамик, отличить закономерное от «случайно» сложившегося, необходимы не только и не столько новые источники и данные (неизбывный фетиш традиционной истории), сколько специальная концептуальная и теоретическая работа».

Эта идея выглядит вполне естественной и методологически многообещающей, когда речь идет о социальных явлениях, поддающихся количественным измерениям (хотя в Интернете не заметно благодарственных откликов от социологов на это предложение Н.С. Розова). Но что получается, когда ее распространяют на антропологию?

Вернемся к статье[20] и взглянем на сами постулаты Мида-Коллинза «*об основах мотивации* индивидуального поведения и сущности межличностных конфликтов: I. Каждый индивид конструирует свою собственную субъективную реальность. II. Индивидуальное познание конструируется из социальных коммуникаций. III. Индивиды существенно влияют (have power over) на

[19] Розов Н. С. Отклик на полемику Б.Н. Миронова и С.А. Нефедова/clio-dynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Ite.

[20] См.: Розов Н.С. Номологический синтез теоретических знаний об истории и культуре (проект интеллектуальной стратегии)/ anthropology.ru/ru/ texts/rozov_ns/kagan_07.html.

субъективную реальность друг друга (из I и II). IV. Каждый индивид пытается максимизировать свой субъективный статус до того уровня, который позволяется ресурсами, доступными для него и для тех, с кем он контактирует. V. *Каждый индивид высоко оценивает то, в чем он лучше всего преуспевает, и старается делать это и общаться по поводу этого как можно больше*. VI. *Каждый индивид ищет те социальные контакты, которые дают ему наибольший субъективный статус, избегает тех, в которых он получает наименьший статус* (из III, IV и V). VII. Там, где ресурсы индивидов различаются, в социальные контакты включается неравная сила оказания влияния на определение субъективной реальности. VIII. Ситуации, в которых используется такая неравная сила, и где нет возможности немедленного ухода (отступления), имплицитно включают конфликт», к которым естественно примыкает следующий закон мезоуровня: «XI. Человеческие существа являются животными, а человеческие социальные связи фундаментальным образом основаны на автоматически вызываемых эмоциональных ответах».

Кажется, комментарии излишни. Что может по этому поводу сказать философ социологу? Ничего. Но для молодых напрашиваются такие вопросы: 1. *Кому именно* нужны и полезны знания такого рода о человеке; *кто и для чего* будет их использовать? 2. Включает ли Н.С. Розов *себя и свою деятельность* в рамки этой концепции индивида (т.е. является ли эта концепция рефлексивной для него)? (Наводящие вопросы. К 1.: Для кого в обществе люди всегда были не более, чем скотиной (как тут не вспомнить базовую схему социологической концепции католической церкви: «овцы – пастыри – псы»; ее смысл – в защите всех от «волков»)? Ко 2.: Если Н.С. Розов не включает себя в рамки этой концепции, то кем он тогда оказывается? А если включает, то тогда кем?)

И снова моя память подсказывает мне литературный пример: Окуджава Б. «Мерси, или Похождения Шипова. Истинное происшествие. Старинный водевиль»/ lib.misto.kiev.ua/PROZA/OKUDZHAWA/ shipov.txt.

Как жандармский полковник Муратов реорганизовал отдел сыска, обнаружив, что в нем работают совершенно случайные люди: «Нет, подумал тогда Николай Серафимович, это ужасно и этого не должно быть. И начал посещать лекции по элементарной психологии и римскому праву в Петербургском университете. Человеком правит злость и зависть, гнев, и презрение, и страх. Их нужно приструнить, приспособить, дать им направление, тогда они принесут пользу. Деньги – это слишком мало. Человек должен жить, зная, что он на виду, что положение его безвыходно, что единственное спасение для него – это он, полковник Муратов, круглолицый и розовогубый. И вот тогда все свойства души этого несчастного, все его струночки зазвенят ради одного, что определил ему Николай Серафимович. Так размышлял он, совершенствуясь в мастерстве, разрабатывая свои теории, и спустя уже год ликвидировал два нелегальных пропагандистских кружка с помощью новых своих сотрудников, обработанных по новой методе… Старания его заметили, но с легкой руки некоего знатного завистника

он был объявлен чудаком и даже психом… и был переведен в Тулу. Неудача не обескуражила его, даже наоборот. Вдали от высокопоставленных невежд ему легче было проверить свои открытия и было много простора для фантазии… Он делал свое историческое дело, и на круглом, гладком его лице царило мудрое спокойствие человека, уверенного в собственной правоте. Дух захватывало от картин, раскрывающихся перед ним, и ощущение полета сопровождало его, и легкость в крылах была великолепна».

3. Человек = трансцензус. Каков нормальный масштаб человеческого мировоззрения? Несколько лет назад Н.С. Розов обратил внимание на небольшую работу А.Н. Чанышева и не мог ее не прокомментировать[21]. Чем-то она его зацепила, настолько существенным, что его позиция раздвоилась: с одной стороны – глубокое уважение к А.Н. Чанышеву, своему учителю и хорошему человеку (Н.С. Розов сетует на свой слишком резкий тон), а с другой – некая установка, порождающая всеохватывающую ее критику. В конце концов, «для настоящего философа, каким, безусловно, был Арсений Николаевич, критические баталии, текстологические казусы и живые страсти вокруг оставленного наследия — лучшая посмертная награда». Что это – принцип или просто желание показать себя («ради красного словца не пожалеет и отца»)? Если читать только одну эту статью, то может и так показаться. Но в свете всего им написанного – это далеко не так.

Отдавая должное философскому качеству «Трактата», Н.С. Розов отмечает, что анализировать его можно в двух направлениях – интертекстуальном, т.е. рассматривать его связи с аналогичными текстами, и интратекстуальном, «который состоит в детальном анализе самих тезисов и аргументов «Трактата». Последнее означает, что (в отличие от других рецензентов, критиковавших «Трактат» с философских позиций, как, например, Кутырев В.А., Разинов Ю.А., и защищавших его с тех же позиций, как, например, Селиванов А.И. и Солодухо Н.М.), Н.С. Розов собирается это делать со своей собственной позиции, на которой он стоит и не может иначе. Анализировать текст Н.С. Розова текстуально не имеет смысла: он говорит сам за себя. Но что представляет из себя его позиция?

Ее, в данном случае, можно охарактеризовать следующим образом: цель, во-первых, доказать, что небытие не может обладать атрибутом существования (это нетрудно сделать, исходя из того, что подлинным существованием обладает только настоящее – воспринимаемое, указуемое, познаваемое и т.д.; вообще, отрицание есть лишь оператор перехода от одной формы бытия к другой, например, от одной коровы к другой; если «коровы вообще» не бывает, то тем более не бывает того, что обозначается термином «не-корова» (хотя термины «корова» и «не-корова» логически однопорядковы; древний индиец Дигнага был не так глуп, как полагает Н.С. Розов); цель, во-вторых, доказать, что

[21] См.: Чанышев А.Н. Трактат о небытии/Вопросы философии, 1990, № 10 (psylib.org.ua/books/_chana01.htm); Розов Н.С. Философия небытия: новый подъем метафизики или старый тупик мышления?/ hpsy.ru/link/400.

небытие не может быть обосновано и не может быть основанием (причиной) чего либо; цель, в-третьих, доказать, что небытие, неподвижное по своей сути, не может быть движущей силой: движение порождается только движением; цель, в-четвертых, доказать, что подлинным бытием обладает только род, а не отдельный индивид; утверждение обратного может подтолкнуть несчастного индивида к самоубийству, а вот у рода гораздо больше возможностей для выживания; цель, в-пятых, доказать, что смерть не так уж страшна, а вот тот, кто пугается ее до ужаса – псих, подающий дурной пример другим, а тот, кто утверждает неизбывность этого ужаса – враг рода человеческого (на самом деле ужасы порождает жизнь, а не смерть, которой умерший человек ни чувствовать, ни сознавать не может); на самом деле «реалистичное и трезвое сознание бытия вполне может быть трагичным… А что собственно дурного в трагичности сознания?» Настоящий человек тот, кто мужественно преодолевает ужас смерти и небытия, лучше всего в духе «оптимистической трагедии».

Н.С. Розов соглашается с А.Н. Чанышевым, у которого написано: «26. Знать, что все проходит, и в то же время не впадать в ужас — вот чему учит подлинная философия, «философия небытия». Но не согласен он с ним в том, для такого вывода совсем незачем было вообще начинать с ужаса и пугать читателя почем зря. Ведь сама «человеческая душа не может долго уживаться с ужасом». Врожденная психическая защита избавляет человека от него. Лучше уж сразу начинать с сути. Поэтому «Трактат», по Н.С. Розову, включает в себя только «достаточно известные риторические ходы, софистические приемы и психологические механизмы» и свидетельствует только о «затянувшемся на десятилетия провальном периоде развития мировой и отечественной философии».

Но чего же хочет сам Н.С. Розов? Об этом он пишет прямо: нужна новая, оптимистическая, позитивная, жизнеутверждающая, крупномасштабная (глобальная) онтология, этика и аксиология, в которых смерть и небытие не будут иметь никакой ценности и не будут пугать народ, наталкивая на бессмысленные умствования, и отвлекать от жизненных задач. Чем думать о небытии, не лучше ли задуматься над оптимальными средствами разрешения конфликтов? В самом деле.

Приговор «Трактату» и его автору выглядит так: «В конце анализа «Трактата о небытии» корень представленной метафизики был усмотрен в *авторской психологии*, а стержень психологического механизма — *в трансформации страха смерти в ужас перед всеобщей гибельностью, который сублимируется в восторг и преклонение перед небытием*. Безусловной и вовсе не узко индивидуальной реальностью является здесь страх и ужас. *При переводе из личной психологической проблемы в общекультурный план* эта реальность ужаса воплощается в трагическом осознании конечности и гибельности всего сущего, которое противоречит бесконечным и абсолютным претензиям человеческого сознания и культуры. Сам А.Н. Чанышев достаточно четко выразил этот момент в

«Трактате», но лишь для того, чтобы его преодолеть и отменить» (курсив мой. – А.С.). Все ясно: обуянный страхом смерти философ А.Н. Чанышев трансформирует его в онтологический ужас, т.е. совершенно неоправданно переводит его из плана «личной психологической проблемы» в «общекультурный план» и только потом говорит, что его нужно преодолевать. Нелогично. Наверное, гораздо лучше подавлять этот страх в зародыше, а еще лучше – не допускать его в свое сознание совсем. Тогда он не будет мешать человеку счастливо жить и работать.

Далее, как бы опомнившись, осознав, что он зашел слишком далеко, Н.С. Розов бросает на чашку весов с заслугами А.Н. Чанышева тот аргумент, что любая, даже самая завиральная концепция, даже самая неразрешимая проблема дает ту пользу, что, опровергая ее, добывается новое, истинное знание. Какое – это должен сказать сам читатель: «Так что же это за проблема? — вправе спросить читатель. Здесь моя задача состоит лишь в том, чтобы наметить ориентиры перспективного философского мышления, к которым сподвигает подмеченное в «Трактате» реальное бытийное противоречие. Есть что искать, есть куда двигаться. Пути открыты, направление намечено, разве этого мало?» Да, немало.

И завершается статья самобичеванием: «Завершить статью хочу, отступив от академического тона. Далее следует искренняя личная самокритика и небольшое заклинание (чтобы не выпасть из славного хоровода философов). Говорю себе снова и снова: отличный же трактат! В кои-то веки мой современник сумел измыслить такой удалой текст, грамотно порубить в капусту всю предшествующую философию, сказать новое и живое слово в метафизике. А я, вместо того, чтобы поддержать почтенного коллегу, более того, живого классика, книги которого читал еще в студенчестве, опять бросился в критиканство. Пусть бы еще получилась уважительная, размеренная критика, но *зачем же столько насмешек и ехидства*? *Зачем этот издевательский психологический анализ*? Почему нельзя было помягче, повежливее, поприличнее, в конце концов? *Откуда такая жажда отрицания и разрушения*? Не иначе как вездесущее небытие попутало, будь оно трижды неладно» (курсив мой. – А.С.). Да, не иначе.

Но можно еще дать то объяснение выделенных курсивом авторских вопросов к самому себе, что мировоззрение Н.С. Розова, описанное выше, будучи целостным и системным, распространяет свои идеологические принципы и на онтологию. Ведь ему, как идеологу (как бы он себя еще ни называл) нужен *человек рынка*, способный продавать все, что угодно, и продаваться; *человек-животное*, неспособный самостоятельно оценивать себя, живущий рефлексами, без самосознания. Ему не нужен *трансцендирующий человек*; такой для него, скорее, вреден. Поэтому-то он и выступает резко против столь естественного фактора, пробуждающего самосознание у любого человека, как собственная смерть. Похоже, что он сам ничуть не боится смерти, и его возмущает, когда кто-то упоминает о ней, тем более – возвышает ее до небытия. Это вызывает

уважение. Остается надеяться, что он сохранит это свое представление до самой своей смерти, и порадоваться за него. Но удастся ли ему убедить в своем оптимизме других? Ведь он далеко не первый в этом желании за всю историю человечества. Правда, ее можно переписать (по методике Коллинза), вычеркнув все негативное. Тогда можно будет воспитывать человечество только на позитивном. И начнется, наконец, новая история. Вот только кто будет умирать?

Вывод. С одной стороны, хочется пожелать Н.С. Розову успехов: ведь он затеял дело на столетия. С другой стороны, наличие неразрешимых проблем, как и попытки их разрешения – вечное состояние человека. Каждое новое поколение, не знавшее войны, голода, бездомья (т.е. ничего не знающее об их неразрешимости), задорно бросается их решать (и конечно, не решает, тем самым, воспроизводя их в культуре). Счастлив человек, если он думает, что уже разрешил (всегда разрешает) важные проблемы. Но что о нем будут думать другие? Можно, конечно, не обращать внимания на непонимающих (что и делает Н.С. Розов), и надеяться на здоровую, перспективную, полную сил молодежь, не думающую ни о своей, ни о чужой смерти. Но и это не новая стратегия. Сохранит ли эта молодежь до старости то неуважение к смерти (хотя бы своей), которое ей пропагандирует Н.С. Розов? Это надо еще посмотреть. Хотелось бы надеяться, что нет.

P.S. Я хорошо понимаю, что этот комментарий, своим объемом свидетельствующий о моем искреннем интересе к Н.С. Розову, больше работает на пропаганду его идей, чем на их ниспровержение: негативный пиар – все равно пиар; таким образом, она отвечает его желанию получить ответ на его вызов, способствующий расширению обсуждения поднимаемых им проблем, и я рад, что смог как-то это желание исполнить.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЛИТЭКОНОМИИ ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ МАКРОСОЦИОЛОГИИ?

(Мысли по поводу докладов и дискуссий на конференции
«Возвращение политэкономии:
к анализу возможных параметров мира после кризиса»
Москва, Политехнический музей, 11-12 сентября 2009г.)

Н.С. Розов
Институт философии и права
Сибирского отделения РАН,
Новосибирский государственный университет

Известное сентябрьское теле-пиар-действо в Ярославле предполагало приезд знаковых интеллектуальных героев Запада (самые знаменитые из которых Э.Тоффлер и И.Валлерстайн), а у некоторых из этих персонажей есть свои капризы. Не хотят они приезжать только ради придворного шоу, а подавай им общение с российской научной интеллигенцией. Поэтому в качестве «нагрузки» к ярославскому мероприятию в Москве проведена конференция под мудреным названием «Возвращение политэкономии: к анализу возможных параметров мира после кризиса». Было выбрано знаковое место — лекторий Политехнического музея, где во время хрущевской «Оттепели» читали стихи тогда еще молодые Р.Рождественский, Е.Евтушенко и Б.Ахмадуллина, пел Б.Окуджава. Прозвучала также версия (не проверенная), что именно с этой сцены еще раньше В.И.Ленин возвестил свой знаменитый тезис «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны!»

Организаторами конференции значились журнал «Эксперт» (В.Фадеев) и «Институт общественного проектирования» (В.Плигин), но, как я понимаю, формировал программу и лично приглашал докладчиков Георгий Дерлугьян, любимый ученик и соавтор И.Валлерстайна, выпускник Института стран Азии и Африки МГУ, а ныне профессор социологии Северо-Западного университета (Чикаго), он же и вел заседания.

Небольшая конференция по составу докладчиков получилась действительно международной, в отличие от большинства подобных действ, где, как сказал Г.Дерлугьян, обычно присутствуют только американцы и местные. Кроме докладчиков из США и дискуссантов из России, были также представлены Китай, Франция, Великобритания и Украина. Доклады были весьма пестрыми по

тематике, по идейной направленности, по информативности и по научному уровню (программу конференции см. здесь: http://www.inop.ru/page558/page559/).

Зал был неизменно полон, аккредитацию получило около 2 000 человек. Обсуждение докладов проходило достаточно живо, а иногда и бурно. Довольно четко в аудитории проявилось два непримиримых направления: либерально-прогрессистское (с упованиями на принципиально новые формы общества, информационные технологии, инновации и проч.) и антилиберальное (от марксистского до державно-патриотического). Представители последнего воспринимали на «ура» все, что со сцены говорилось против капитализма и глобализации, но вопросы и реплики от этого фланга были такого уровня, что докладчики иронически улыбались, а ведущему часто приходилось закруглять бурные перепалки шуткой. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что либерально-прогрессистское направление также отметилось несколькими сакраментальными сентенциями. Чего только стоит громогласное заявление: «Аристотель и Маркс давно устарели!»

Остановлюсь только на нескольких выступлениях, составивших смысловой стержень конференции.

В первый день наибольший резонанс вызвал доклад главы Отделения политологии Китайского университета Гонконга, главного редактора междисциплинарного журнала ‘China Review’, советника Правительства КНР Ван Шао Гуана на тему "К вопросу о дальнейшем строительстве социализма с китайскими особенностями". Вообще значимость докладов, статей и книг полезно оценивать по тому, насколько они способны изменить нашу картину мира в соответствующем ее фрагменте. В СССР и России давно сложилось весьма критическое (даже насмешливое) отношение к маоистскому периоду в истории Китая, прочно ассоциированному с «культурной революцией», «большим скачком», хунвейбинами и проч. Однако докладчик весьма убедительно показал, что именно в этот период были заложены главные основы последующего могучего роста: построено множество железных и автомобильных дорог, ирригационных сооружений с резервуарами для поливного земледелия, создан промышленный потенциал, резко повышен образовательный и квалификационный уровень огромных масс населения, включая не только мужчин, но и женщин, появилась разветвленная система здравоохранения и т.д. Оправдывает ли все это массовые репрессии, ставку на насилие и принуждение? Нет, не оправдывает, но одно сопутствовало другому.

Важный урок состоит в том, чтобы учиться принимать противоречия, с которыми наши умственные привычки, настроенные на целостную нравственную оценку, никак не хотят мириться. Гений и злодейство вполне даже совместны. На примере творчества Маяковского ошибочность пушкинской максимы убедительно показал А.Жолковский (в книге "Блуждающие сны"). Для социально-политической и экономической истории это еще более верно. Жестокие и раз-

рушительные войны и революции, эпидемии нередко расчищают пространство для последующего роста и расцвета. Прекрасные эпохи благоденствия и довольства обычно сопровождаются безответственной растратой ресурсов, размягчают и измельчают души, делают их неспособными противостоять надвигающимся бедам.

В конференции принял участие Джек Голдстоун, (профессор Отделения публичной политики, Университет Джорджа Мейсона, Вашингтон), один из крупнейших исторических макросоциологов, создатель неомальтузианской структурно-демографической теории (дискуссантом выступил приехавший из Екатеринбурга историк С.Н.Нефедов, успешно развивший теорию Голдстоуна и применивший ее к истории России). Проведенный Голдстоуном анализ последствий кризиса во многом был основан на глобальных демографических трендах. Голдстоун предрекает закат США и Европы с их расслабленным и стареющим населением, возлагает надежды на страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, молодое население которых, как он полагает, более готово к напряженному труду, восприимчиво к творчеству и инновациям.

При всем уважении к мэтру, отмечу, что его доклад оставил впечатление не только похвальной благонамеренности, но и немалого благодушия. Огромные массы молодых людей могут стать мотором роста только при особых условиях: при открытой и добротной системе образования, эффективном и легитимном государстве, уже имеющимся производственном потенциале, доступе к капиталу, материальным ресурсам и рынкам сбыта. Такие условия точно есть, например, в Китае и Южной Корее, в большой мере они присутствуют в Эмиратах и Турции. Однако про большинство стран Средней Азии, арабского мира, Южной Америки такого сказать уже никак нельзя. Огромные массы полуобразованной, безработной и голодной молодежи навевают мысли не об инновациях и бурном экономическом росте, а о нелегальных миграциях, росте преступности, этнических конфликтах, уличных мятежах и складывании воинственных тоталитарных движений.

Особенный ажиотаж вызывало, разумеется, ожидание доклада главной знаменитости — одного из основателей миросистемного анализа Иммануила Валлерстайна. Русский перевод его доклада «Динамика (незавершенного) глобального кризиса: тридцать лет спустя» был размножен и роздан участникам в самом начале конференции, он также выложен в Интернете: http://www.inop.ru/files/wallerstein_politeh.doc.

Доклад Валлерстайна прочесть надо непременно, пересказывать его я не собираюсь, укажу только на самые яркие мысли. В анализе Валлерстайном мировой динамики с середины XX в. наиболее любопытно соединение экономической темы кондратьевских циклов, капиталистических стратегий по завоеванию квазимонополий и темы политико-идеологических трансформаций. Грубо говоря, революцию 1968 г. Валлерстайн трактует как одновременно, разоблачение воинственной американской гегемонии (движение против войны во

Вьетнаме) и тотальную дискредитацию «старых левых», которые номинально захватили власть во всем мире (в I мире – социал-демократы с идеей социального государства, во II – коммунисты, в III – национально-освободительные движения). Начавшаяся с 1980-х гг. «глобализация» в данном контексте — это реванш правых (Тэтчер, Рейган), реванш США и реванш капитализма, особенно яркий в связи с распадом Варшавского блока и СССР, с интеграцией Китая в мировую экономику. Валлерстайн считает нынешний кризис наиболее обширным, глубоким и разрушительным.[1] С видимым беспокойством, но и не особенно скрываемой радостью, он предрекает его завершение не только как новое издание памятного 1968 г., но и как полный провал правой идеологии и политики («конец либерализма»), а также всей 500-летней системы капитализма. Если в 1970 гг. Валлерстайн писал о будущем мировом социалистическом правительстве, в 1990-е — довольно общо и расплывчато о «более справедливой и эгалитарной системе», то в данном докладе сказано лишь о непредсказуемых результатах бифуркации, а в качестве вариантов указаны четыре идейных направления (два в либеральном «духе Давоса» и два в альтерглобалистском «духе Порт-Аллегри»).

С Валлерстайном мы знакомы еще со времени моей стажировки под его руководством в Центре Фернана Броделя в 1995г., позже я советовался с ним при составлении выпусков альманаха «Время мира», мы встречались на разных мероприятиях в Москве и совсем недавно в Ереване. В первый день конференции в кулуарах я рассказал Валлерстайну о своей идее освободить миросистемный анализ от левачества, которое вижу не в теоретической, а в сугубо идеологической установке на чаемый «конец капитализма». Действительно, капитализм уже пережил множество глубоких кризисов и неизменно показывал свою гибкость, живучесть, способность принимать новые и новые формы, перемещать свои центры через моря и океаны, развиваться на совершенно различных социокультурных, этнических, религиозных и идейных основах. Далее разговор естественным образом перешел на определение базового понятия. Я определил капитализм как систему с частным накоплением капитала, который

[1] «Кризис, в который погружается мир, продлится еще довольно долго и окажется весьма глубоким. Он разрушит последнюю жалкую опору относительной экономической стабильности – роль американского доллара как резервной валюты, гарантирующей сохранность сбережений. И когда это случится, главной проблемой всех властей мира – от США до Китая, от Франции до России и Бразилии, не говоря уже о более мелких странах, – станет необходимость уберечься от недовольства оказавшихся без работы трудящихся и средних слоев, которые лишатся своих накоплений и пенсий. […] Система заходит в тупик, из которого миру будет очень трудно выбраться. Этот тупик находит выражение в виде все более и более диких колебаний, которые практически обессмыслят какие-либо краткосрочные прогнозы – как экономические, так и политические. А это, в свою очередь, лишь обострит всеобщие страхи и отчуждение простого народа […]Сочетание всех трех элементов – масштабов «обычного» краха, реального роста затрат на производство и внешнего давления на систему, создаваемого ростом китайской (и вообще азиатской) экономики – означает, что Шалтай-Болтай свалился со стены, и собрать его уже никому не удастся. Система очень, очень далека от равновесия и подвержена колоссальным колебаниям. В результате краткосрочные прогнозы становятся невозможными, и это приводит к неготовности делать потребительские решения. Именно такое состояние называется структурным кризисом.» И.Валлерстайн. Динамика (незавершенного) глобального кризиса: тридцать лет спустя. http://www.inop.ru/files/wallerstein_politeh.doc

инвестируется в прибыльные предприятия (торговлю, товарное производство, финансовые операции и проч.) и усомнился, что такая система, будучи уже столь развитой и широко распространенной, когда-либо перестанет существовать в глобальном масштабе. Валлерстайн настоял на важной добавке: «*бесконечное* накопление капитала». На этом разговор завершился. Почему порок «бесконечного накопления» на роду написан у капитализма и почему капитализм обязан погибнуть, а не принять новую форму, например, более социально ответственную и уравновешенную, мне так и осталось непонятным.

Кейван Харири (Университет Джона Хопкинса) представил взгляд недавно умершего Джованни Арриги относительно исторической перспективы экономических кризисов (доклад: «Кризис чего? Рыночные пузыри в перспективе длительной истории»).

Многие докладчики, в том числе, Фредерик Лордон (Сорбонна), Робин Блэкбёрн (Университет Эссекса), Кирен Азиз Чаудри (Университет Калифорнии в Бёркли) и другие говорили о необходимости новых институтов, которые способствовали бы большей устойчивости экономики, но на вопросы о том, какого рода должны быть эти институты, ответов так и не последовало.

В своем выступлении, озаглавленном «Глобальная многоуровневая контрактно-правовая альтернатива» я продолжил тему Арриги и Харири, основываясь на общих закономерностях развития рынков, сформулированных Р.Коллинзом. Главный мегатренд, порождающий экономические кризисы на протяжении долгой истории (longue duree) — это *перманентное отставание развития институтов и практик обеспечения экономической ответственности от роста скорости, плотности и масштабов экономических взаимодействий и процессов* (подробнее см. в статье «Глобальный кризис в контексте мегатенденций мирового развития и перспектив российской политики» // Полис, 2009, №3, С.34-46 www.nsu.ru/filf/rozov/publ/glob-crisis2.htm). В качестве гибкого и развивающегося механизма обеспечения этой ответственности предложена *контрактно-правовая альтернатива* — установление систем правил на каждом уровне (глобальном, региональном, национальном и локальном), и обеспечение контроля над их соблюдением на основе международных соглашений и построения соответствующих институтов: законодательных органов и судов. Эти правила будут обеспечивать ответственность экономических акторов тогда, когда *отсроченные негативные последствия их действий получат «авторство» и возвратятся в виде исков от пострадавших, а соответствующие суды будут по данным правилам вменять эти иски виновникам.* Особенность контрактного права в зрелой правовой среде состоит в том, что только по малой доле контрактов стороны затевают конфликт и обращаются в суд, 95-99% контрактов выполняется на основе доверия, которое является главным фактором роста социального капитала. Последний же — залог успеха масштабных стратегий, в том числе по профилактике и смягчению последующих глобальных кризисов.

В качестве заключения замечу, что на конференции было много разнообразных и ярких моментов, в том числе, отсылающих к Марксу, но уверенного и надежного возвращения политэкономии не просматривалось. Зато зримо присутствовала другая, пока еще мало известная в России наука — *историческая макросоциология*, как раз направленная на выявление и изучение совместного действия политических, экономических, социальных и культурных закономерностей. Она явно пронизывала наиболее значимые доклады, а неявные ссылки на взаимосвязь этих закономерностей присутствовали в большинстве выступлений и комментариев. Так что следующую конференцию в этой серии надо назвать уже не «Возвращение политэкономии», а «Историческая макросоциология и перспективы современного мира».

Книжная полка

ТЕХНО-ЯКОБИНЦЫ НА ПОДХВАТЕ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

В советской политике и философии 1960-1980-х гг. господствовал лозунг научно-технической революции (НТР). Согласно официальным советским представлениям, НТР обостряет противоречия капитализма, но органически сочетается с преимуществами социалистической системы хозяйства, является основным путем и средством создания материально-технической базы коммунизма[1]. Однако существовали и другие точки зрения. Например, М.К.Петров (лекции которого мне посчастливилось слушать только полтора года) развивал иную концепцию: в XX веке сложился феномен научно-технической контрреволюции. Ее главным актором является государство и ученые, поскольку они его обслуживают[2]. Отсюда вытекает исходный вопрос данной статьи: кем является советско-российское государство - революционером или контрреволюционером?

Часть вопроса я сформулировал более 30-ти лет назад. В 1977 году в Казани проходила Всесоюзная школа молодых ученых под эгидой ЦК ВЛКСМ, на которой лекции читали сотрудники Института философии Академии наук СССР. Я тогда подходил под рубрику «молодого ученого». Среди прочих тем школы была лекция на модную тогда тему НТР. Я прикинулся валенком и спросил лектора: если происходит научно-техническая революция, то кто же в ней является революционером? Профессор в ответ забормотал что-то невнятное – ведь идея об ученых как главных акторах НТР входила в состав ревизионизма, с которым тогда боролась идеологическая обслуга советского государства.

Изменилась ли ситуация сегодня? Что бормочут нынче? Историческим и фактическим материалом для ответа я взял труд Д.Холловэя – известного британского историка науки. На основе анализа истории создания советской атомной бомбы он обсуждает три проблемы XX в.: технологические инновации; сообщество физиков как область интеллектуальной автономии в советском обще-

[1] См.: Научно-техническая революция // Философский энциклопедический словарь. М., 1989, с.397-399

[2] См. об этом подробнее: Петров М.К. Социально-культурные основания развития современной науки. М., 1992; Он же. Научно-техническая революция и философия // М.К.Петров. Историко-философские исследования. М., РОССПЭН, 1996, с.20-62; Макаренко В.П. Научно-техническая контрреволюция: актуальность идей М.К.Петрова // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 2007, № 2

стве; транснациональное сообщество физиков. А в заключении констатирует: советский ядерный проект нельзя рассматривать с точки зрения внутренней динамики, структуры и ценностей советского общества; советский режим принял вызов гонки ядерных вооружений; политика «догнать и перегнать» отражала укоренившееся в сознании советских людей представление об отставании от Запада и намерении преодолеть отставание; шпионаж сыграл ключевую роль в советском ядерном проекте[3].

Именно пункт о научно-техническом шпионаже послужил толчком для моей *систематизации материала* книги Д.Холловэя. Я рассмотрю три темы: наука и жандармерия; контекст советской политики; специфика аппарата управления атомным проектом. А в заключение вернусь к проблеме: есть ли альтернативы концепции Д.Холловэя? Причем, меня интересует главным образом *концепция* книги. Исторический и фактический материал используется лишь в той мере, в которой он помогает ее вычленить.

Наука и жандармерия

Тема шпионажа стара как мир. Ее современные певцы даже Д.И.Менделеева зачислили в шпионы. По их «компетентному мнению», создатель таблицы химических элементов воровал в Америке секреты производства бензина и бездымного пороха по заданию правительства Российской империи. Директор Дома-музея им.Д.И.Менделеева И.С.Дмитриев детально изучил вопрос и констатирует: «Видимо, воровство промышленных секретов, по мысли Несторов из Службы внешней разведки, может служить самым убедительным симптомом межгосударственного сближения (между США и Россией, - В.М.). Им виднее»[4]. Но чекистский шаблон не ограничивается рамками шпионского ведомства. Чтобы убедиться в этом, стоит прочесть книгу Д.Холловэя.

В.И.Вернадский в дневнике зафиксировал: «Удивительный анахронизм, который я раньше считал бы невозможным. Научно-практический интерес и жандармерия. Возможно ли это для будущего?»[5]. Вопрос по-прежнему актуален. Главный советский диверсант П.Судоплатов в 1990-е гг. выпустил серию книг. Среди прочего он сообщает: Н.Бор, Э.Ферми, Р.Оппенгеймер, Л.Сциллард *сознательно* передавали атомные секреты Советскому Союзу во время и после второй мировой войны. Британский историк пишет, что утверждения Судоплатова ложны. Но сам не приводит никаких доказательств в опроверже-

[3] См.: Холловэй Д. Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия 1939-1956. Новосибирск, Наука, 1997, с.472-474. После введения он обсуждает следующие конкретные темы: институт Иоффе; ядерная предыстория; реакция на деление; принятие решения; начало; Хиросима; после Хиросимы; предпосылки послевоенной политики; атомная промышленность; атомная бомба; война и атомная бомба; война нервов; опасные игры; водородная бомба; Россия после Сталина; атом и мир; заключение.

[4] Дмитриев И.С. Человек эпохи перемен. Очерки о Д.И.Менделееве и его времени. СПб, Химиздат, 2004, с.476

[5] Холловэй Д. Указ.соч., с.55

ние. Наоборот, развивает концепцию, согласно которой СССР *воровал* атомные секреты не в США, а в Англии.

На основании каких же критериев проверить отношение между сознательной передачей секретов (их обладателями) и их воровством (агентами другого государства)? Дело ведь не только в истории атомного шпионажа. Общеизвестно, что внутренний и внешний шпионаж всегда связан с нарушением норм морали и права. Однако соответствующие институты существуют до сих пор, а *добровольные сотрудники спецслужб не перевелись* ни в одном государстве. Приведу лишь пару фактов.

Бывший начальник Донского областного охранного отделения, а затем начальник Варшавского отделения по охранению общественной безопасности в 1905-1910-х гг. П.П.Заварзин сообщает: главный контингент сексотов в Российской империи поставляли *люди интеллектуальных профессий* (врачи, инженеры, общественные деятели, литераторы, журналисты, студенты). С национальной точки зрения сексоты преимущественно принадлежали к еврейской и великоросской нации[6]. В данном случае Заварзин писал о внутреннем шпионаже - секретных сотрудниках охранки, которые использовались для борьбы с революционным движением в России. Как известно, борьба закончилась поражением жандармерии. Но это не мешает установить общий тип секретного сотрудника охранки до 1917 года – им был еврейский или русский интеллектуал.

Теперь перенесемся в ближнее прошлое. Бывший руководитель внешней разведки КГБ СССР Л.Шебаршин сообщает: КГБ прикармливал два-три академика с международным именем уже не для борьбы с революционерами, а для шпионажа за советскими дипломатами: «Выгода была двойная: советский посол не знал, что доносит в Москву визитер, не мог вмешаться и, пожалуй, более важное – КГБ направит телеграммы на самые верхи. От МИДа этого можно не дождаться»[7]. Кроме того, у внешней разведки есть агентурная сеть не только за рубежом, но и в политических, журналистских и научных кругах Советского Союза. «Это контакты, как правило, неоплачиваемые, но и не афишируемые. С нашими работниками делятся информацией те, кто давно привык к этому, и те, кто не может найти выход своим сомнениям в новой обстановке, кто нуждается в надежном понимающем собеседнике»[8]. Отсюда вытекает, что ученые не только выполняют деликатные поручения, но и нередко рассматривают сотрудников госбезопасности как духовников или попов.

Если использовать выражение В.Войновича, получается, что люди интеллектуальных профессий давно и успешно сотрудничают с Теми, Кому Надо. Правда, есть и список предательств советских чекистов после 1917 г. Всего до 2000 года предало страну 156 человек из числа самых доверенных людей режи-

[6] См.: Заварзин П.П. Работа тайной полиции // «Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска. Т.1, М., Новое литературное обозрение, 2004, с.420

[7] Шебаршин Л. Рука Москвы. М., ЭКСМО, с.287-288

[8] Шебаршин Л. Указ.соч., с.312

ма[9]. Отсюда вытекает нетривиальная проблема: каковы типичные мотивы и обстоятельства измены, а также пропорция изменников в разных социальных группах, включая государственный аппарат? Для этого требуются особые историко-социологические исследования.

В частности, Ф.Бродель показал, что для властно-управленческого аппарата империй давно характерно *религиозное ренегатство*, поскольку империи дают возможность чиновникам делать церковную и политическую карьеру одновременно. Для имперских чиновников теряют смысл понятия «веры», «родины», «отечества». Развивается феномен «отрыва от корней». Феномен безработицы появляется первоначально среди чиновников. Чем больше государство вмешивается в социально-экономическую жизнь, тем больше безработица становится «нормой» экономических отношений[10]. Интересно было бы конкретизировать эти общие закономерности применительно к истории Российской империи и СССР.

Но меня здесь интересуют другие проблемы: какие следствия порождает связь науки с военно-репрессивными аппаратами государства? по каким морально-политическим и юридическим критериям оценивать связь уголовного воровства с государственным шпионажем вообще, а научно-техническим – в особенности? Д.Холловэй уклоняется от обсуждения данных проблем, но его книга дает материал и пищу для размышлений.

Прежде всего надо учитывать **предпосылки сотрудничества** науки и жандармерии: феномен групповщины в научном сообществе; секретность научных исследований; конфликт между разными группами ученых; отношение между низовыми инициативами ученых и проектами научного и политического руководства; отношение между промышленностью, наукой и философией. Указанные явления непосредственно связаны с научно-техническим шпионажем.

Начну с *групповщины*. Холловэй показывает, что атмосфера в Украинском физико-техническом институте (в Харькове) была омрачена личными склоками и политическими интригами. Накануне открытия деления ядра советские вожди разрушили один из важных физических институтов страны. В то же время С.Вавилов (брат генетика Н.Вавилова) хотел сделать свой институт головным в области ядерных исследований и разрушить ленинградскую школу ядерной физики. Не следует ли отсюда, что сами ученые помогали советским вождям в их работе? Какова связь между личной склокой в научном сообществе и политической интригой, которую инициируют посторонние люди для достижения своих целей? Автор не видит этих проблем.

---

[9] См.: Полетика Д.П. Сколько стоит продать Родину. Предатели в отечественных спецслужбах. 1918-2000. СПб.-М., «Нева», 2005

[10] Так, на протяжении 1453-1623 гг. из 48 великих визирей Турции только 5 были мусульманами по рождению. Остальные (1 черкес, 6 греков, 11 албанцев и сербов, 1 итальянец, 6 армяней, 6 грузинов, 10 неизвестного происхождения) были ренегатами, преимущественно православного происхождения. См.: Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморской мир в эпоху Филиппа 11. Часть 2. Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. М., Языки славянской культуры, 2003, с.473-501

Следующее явление – *секретность исследований и осторожность ученых.* Дело не в государственной тайне. В январе 1939 г. Л.Сциллард (в то время он жил в Нью-Йорке) предложил Ферми засекретить исследования по делению ядра. В середине 1940 г. редакторы основных американских научных журналов приняли решение добровольно ограничить публикации на эту тему. Советские физики в 1939-1941 гг. не ограничивали публикации. Это отражало общую установку союза Сталина с Гитлером. Договор СССР-Германия привел к тому, что западные физики прекратили обмен информацией с советскими коллегами по проблемам деления ядра.

Однако Д.Холловэй ничего не пишет о причинах и мотивах предложения Л.Сцилларда. Не приводит также никаких данных о контактах между НКВД (в котором к тому времени существовал научно-технический сектор) и разведкой Третьего Рейха в период между 23 августа 1939 года и 22 июня 1941 г. Общие публикации на эту тему есть, но документов я не встречал. Тем более о научно-техническом шпионаже между СССР и нацистской Германией. Это обедняет реконструкцию событий.

Историк Г.В.Вернадский в то время преподавал в Йельском университете. Он послал отцу (В.И.Вернадскому) статью Лоуренса «Наука открыла громадный источник атомной энергии», которая была опубликована в «New York Times» 5 мая 1940 г. 12 июля того же года В.И.Вернадский и В.Г.Хлопин написали письма в Отделение геологических и географических наук АН СССР, а также зам. пред. Совнаркома Н.А.Булганину, в которых обращали на это внимание. То была первая попытка ученых *предупредить* советское правительство.

Но Иоффе и Курчатов находились в конфликте с Вернадским и Хлопиным. Иоффе вслед за Резерфордом утверждал: атомная энергия может быть использована только в отдаленном будущем. Как видим, расхождение во взглядах кардинальное. И никаких критериев для определения правоты того или иного взгляда в тот момент не существовало. Но проблема остается - Хлопин снял предложение правительству дать деньги на строительство уранового реактора. Взамен была создана Урановая комиссии[11]. Почти все советские ученые предпочли осторожную линию поведения. Как же провести *различие* между обычной человеческой трусостью и ученой осторожностью? Д.Холловэй эту тему тоже не обсуждает, хотя концепции для изучения политических аспектов страха в СССР и США уже появились[12].

Между тем работа комиссии затруднялась рутиной и невежеством советских бюрократов и конфликтом между группой Вернадского и физиками. Вернадский отдавал приоритет разведке урана, а не теории ядра, физики – наоборот. Автор считает, что это соперничество не содержало идеологической и политической подоплеки: «Эти люди были преданы науке, чтобы прибегать к та-

[11] С началом войны Урановая комиссия прекратила работу. Вернадский с группой академиков был эвакуирован в Боровое. 10 июля 1941 г. был образован новый орган для привлечения ученых к решению вопросов обороны. Уполномоченным ГКО по науке был назначен С.Кафтанов – глава Комитета по делам высшей школы.

[12] См.: Кори Робин. Страх. История политической идеи. М., Территория будущего-Прогресс традиция, 2007

ким методам. Они не переступали границы той области, где использовался опасный язык сталинской политики»[13]. Однако британский историк науки не приводит никаких критериев для строгого различия науки, идеологии и политики вообще, а в советских условиях – в особенности. Такие критерии были и останутся дискуссионными. Значит, когнитивная конкуренция между группами ученых (различия концепций) ставит под вопрос сциентистскую парадигму отношения между наукой и властью, из которой как раз исходит Д.Холловэй. Сама эта парадигма и является определенной идеологией, о которой ничего не пишет английский историк, принимая ее как данность.

Д.Холловэй приводит много фактов для обсуждения общей проблемы *отношения между низовыми инициативами и научной бюрократией*. Дело в том, что бывший ростовчанин Г.Н.Флеров с декабря 1941 г. по апрель 1942 г. писал письма Курчатову и Сталину о возможности использования атомной энергии в военных целях. Одновременно он требовал суда над группой Хлопина-Иоффе - виновниками прекращения ядерных исследований и «…переводил обсуждение на мрачный язык сталинистской политики»[14]. Не свидетельствует ли сдержанное отношение автора книги к Г.Флерову о том, что Холловэй предпочитает академических и политических вождей низовым инициативам? Если нет, то не следует ли отсюда, что ростовчане (к их числу относится Флеров) отличаются склонностью к демагогии в виде мрачного политического языка ради победы над сторонниками конкурирующей концепции? Видимо, на вопрос должен ответить компетентный в теме ростовчанин (на худой конец москвич), а не англичанин… Среди опрошенных ростовчан я пока не нашел ответа. Хотя хорошо помню, что над физфаком Ростовского университета в конце 1960-х гг. висел лозунг из жести: «Физика - научно-техническая революция - коммунизм»… Потом его выкинули на задворки – партком принял решение об идеологической ошибочности лозунга. Однако выдвинули лозунг как раз ростовские физики…

Не менее важный сюжет – отношение между *промышленностью, наукой и философией*. ХУ11 съезд ВКП(б) в 1934 г. провозгласил, что к концу пятилетки Советский Союз превратится в «технически и экономически независимую страну и в техническом отношении самое передовое государство в Европе». Однако промышленность интересовалась только тем, что уже было сделано на Западе, игнорируя идеи и предложения советских ученых, если они не подтверждались иностранным опытом. До войны главный советский диалектик Деборин считал, что физические концепции (индетерминизм) в философском плане близки к фашизму. После войны Сталин развернул кампанию борьбы с «низкопоклонством перед Западом». В 1948-1950-е гг. были организованы конференции по биологии, психологии, астрономии, химии и этнографии. В результате усилилась роль философов как идеологических жандармов. В середине 1950-х гг. произошел сдвиг в соотношении между научной истиной и политическим авторите-

[13] Холловэй Д. Указ.соч., с.102

[14] Там же, с.113-114. Неясно, дошло ли письмо до Сталина, поскольку не состоялось заседания, которого требовал Флеров.

том. Воинствующие «философы» перестали играть роль «сторожевых псов» идеологии. Но партия не хотела терять положение высшего судьи.

Значит, советские *красные директора* вместе с *красными профессорами* тормозили научно-техническую мысль страны. Но мне еще не попадались сведения о числе красных профессоров в естественных науках.

В контексте указанных фактов и явлений Д.Холловэй обсуждает тему научно-технического *шпионажа*. В октябре 1941 г. Рузвельт написал письмо Черчиллю с предложением вместе осуществлять английский и американский атомные проекты. Но британское правительство осознавало свое лидерство и пожелало ограничиться неформальным сотрудничеством. В июне 1942 г. Рузвельт утвердил проект Манхеттен[15].

В 1941 г. британские ученые продвинулись дальше других в понимании реальности атомной бомбы, а Советское правительство начало получать шпионскую информацию. 25 сентября 1941 г. резидент НКВД в Лондоне передал в Москву информацию о секретном совещании в комитете МОД. Однако между резидентами НКВД и ГРУ существовало соперничество. Поэтому резидент ГРУ не передавал в Москву информацию советского шпиона Фукса. Но и переданная информация никак не повлияла на советскую политику.

Только в марте 1942 г. главный подручный отреагировал на информацию из Англии: Берия предложил Сталину создать научно-консультативный орган при ГКО для координации исследований всех советских ученых и учреждений по проблеме энергии урана и (при соблюдении секретности) ознакомить специалистов с материалами разведки. Одновременно Берия указывал, что делением ядра занимались Скобельцын, Капица и Слуцкий из УФТИ. Ни один из них этим не занимался. Причем, записка Берии была *составлена на месяц раньше*, чем письмо Флерова Сталину: «Доклад Комитета Мод не только заставил англичан принять решение о создании атомной бомбы и способствовал ускорению соответствующих американских работ, но и стимулировал мероприятия, которые послужили началом советского ядерного проекта»[16].

Приведенные фрагменты позволяют ближе определить **позицию автора книги**: пионером разработки атомной бомбы является Англия; шпионская информация из Англии - главный источник принятия решений американцев и русских; письмо Флерова никак не повлияло на принятие решения; главный инициатор атомного проекта - Берия.

Но эти положения доказать трудно, поскольку сам автор пишет: на основе сохранившихся свидетельств невозможно восстановить последовательность событий между мартом 1942 г. и началом 1943 г. Взамен Д.Холловэй дает общую картину дискуссий, которые привели к возобновлению ядерных исследований в СССР. По его мнению, Сталин принял решение об этом в *конце 1942 г.*

[15] В это же время Гейзенберг сообщил командованию Вермахта, что Германия не сможет сделать атомную бомбу во время войны.

[16] Там же, с.121

В мае 1942 г. НКВД запросил АН СССР высказать мнение о реальной основе практического применения атомной бомбы и вероятности ведения работ по ее созданию в других странах. Хлопин дал осторожный ответ: единственное доказательство таких работ - секретность ядерных исследований за рубежом[17]. Другие ученые тоже осторожничали, когда с ними консультировались по поводу интереса к атомной бомбе в Германии[18]. Зато Кафтанов и Балезин (его помощник) послали письмо в ГКО, рекомендуя образовать ядерный исследовательский центр. В письме не упоминались отрицательные оценки ученых. На встрече со Сталиным (дату которой установить невозможно) Кафтанов защищал свое предложение. Принятие решения о создании первой советской атомной конторы *происходило в контексте двойного конфликта; между группами ученых; между Минвузом и Академией наук*[19].

Позиция автора по этому вопроса такова: *инициатором советского ядерного проекта являются не ученые-физики* (тем более безвестные типа Флерова), *а сталинские чиновники, среди которых на первом месте находится главчекист Берия*. Д.Холловэй настаивает: шпионская информация из Англии – главный источник советских работ. Но на этой стадии создание советской атомной бомбы казалось нереальным из-за затрат времени и усилий. Поэтому советский ядерный проект преследовал две цели: определить возможность и степень опасности создания бомбы в Германии. Главными исполнителями такого задания по определению могли быть только разведчики.

И.В.Курчатов был назначен на пост руководителя научно-консультативного совета при ГКО в начале октября 1942 г. (автор не сообщает точной даты). На этом этапе ученых *не знакомили с материалами разведки*. Курчатов поддержал предложение Флерова, но не знал, возможно ли проведение работ по урановой проблеме в условиях военного времени.

Автор полагает, что существует *связь* между кодовым названием контрнаступления под Сталинградом (*Уран*) и принятием решения о производстве работ: «Победа под Сталинградом, ее вклад в победу над нацистской Германией означали появление новой мировой державы – Советского Союза, тогда как реализация ядерного проекта должна была обеспечить Советскому Союзу ключевую позицию в послевоенном мире и один из самых мощных символов силы в нем»[20].

Этот фрагмент свидетельствует, что Д.Холловэй согласен со сталинской историографией советско-германской войны (в которой победа Красной армии под Сталинградом рассматривается как одно из решающих событий). Между тем существуют другие историографические концепции второй мировой вой-

[17] Автор полагает, что Хлопину не показали материалов разведки об английском проекте.

[18] Например, на южном берегу Таганрогской бухты советские солдаты нашли записную книгу немецкого офицера, которая содержала рабочие схемы ядерной бомбы, и была послана двум специалистам по взрывчатым веществам. Оба дали отрицательный ответ: нельзя швырять деньги на то, что даст результаты через 10-20 лет.

[19] Об этом свидетельствует история переписки между группами Вернадского-Хлопина и Кафтанова-Иоффе.

[20] Там же, с.128

ны, в которых эта победа рассматривается лишь как один из множества фактов военной истории 1942 г. Но автор ничего не сообщает о данных концепциях, хотя вряд ли они ему были неизвестны. Одновременно он пишет, что в конце 1942 г. Сталин имел уже достаточно сведений об исследованиях в других странах и не считал советский атомный проект решающим для победы над Германией: «Одобренный им проект следует понимать как некую слабую гарантию от неопределенностей, которые могли возникнуть в будущем»[21]. Думаю, в данном случае историк науки поступает как советский диалектический материалист – т.е. как обычный софист!

Кто же может дать другую версию происходящих событий? Неужели историография советско-германского участка второй мировой войны клином сошлась на сталинских схемах и их эпигонах из редакции «Военно-исторического журнала»? Между тем далеко не все историки согласны с этими схемами[22]. Все больше появляется работ, в которых детально описаны историческая, научно-техническая и политическая ложь и эпигонство властвующих клик в истории России и СССР, а также бесталанность российских и советских генералов, обусловивших все ее поражения[23]. Видимо, эта литература может пролить дополнительный свет на степень достоверности книги Д.Холловэя.

В позиции автора наряду с *календарным синдромом существует модернизация событий*: последующую оценку роли Сталинградской битвы в мировой истории XX века (которая, кстати, дана Сталиным) Д.Холловэй выдает за силлогизм в исторической логике. Стремление увидеть историческую логику там, где все определял произвол государственных мужей, - типичный шаблон историографии типа «История есть политика, опрокинутая в прошлое». История науки от него тоже не свободна.

По мнению английского историка, Сталин не верил в силу ядерного проекта. Однако здесь позиция «корифея науки» не отличалась от позиции многих ученых – Резерфорда, Иоффе, Гейзенберга и др. Согласно Холловэю, «великий вождь» был провидцем и дураком одновременно. Провидцем – потому что в разгар войны уже думал о послевоенном устройстве мира, дураком – поскольку не учитывал шпионскую информацию. Значит, пока неясно, кто даст ответ о соотношении провидческого дара и глупости в деятельности Сталина.

По указанию В.М.Молотова в феврале 1943 г. Курчатова познакомили с материалами разведки. Лишь после этого он сочинил записку о возможности создания атомной бомбы: «Тон курчатовской записки, - комментирует этот факт Д.Холловэй, - много говорит об Игоре Васильевиче. Здесь отсутствует торжество по поводу того, что получена информация, которую правительства западных держав пытались сохранить в секрете, нет в ней и горечи по поводу того, что война ускорила исследования в Англии и Соединенных Штатах, но замедлила их в Советском Союзе. Курчатов не пытается преуменьшить достиже-

[21] Там же, с.129

[22] См.: Правда Виктора Суворова. М., «Яуза», 2007;

[23] См.: Красиков В.А. Победы, которых не было. СПБ, Нева, 2004

ния английских и американских ученых или преувеличить роль своих коллег. Видна его взволнованность тем, что делается за границей, и восхищение качеством исследований. Памятные записки создают впечатление о человеке, который способен взяться за ключевые вопросы, не давая воли личным чувствам»[24]. Иначе говоря, Холловэй одобряет задним числом назначение Курчатова руководителем атомного проекта. А рассматривались ли другие кандидатуры, если они были? Об этом автор ничего не пишет.

По крайней мере, научный руководитель атомного проекта *поумнел* после знакомства со шпионской информацией, тогда как «великий вождь» был и остался дураком… Удивляет, что специалист в сфере истории науки на протяжении всей книги ничего не говорит о *различии* между либеральным идеалом ученого (реализацию которого усматривает в И.И.Курчатове) и позицией научного чиновника, которую реально выполнял один из руководителей советского атомного проекта. В последующие годы Курчатов использовал разведывательную информацию, не ставя об этом в известность своих коллег (разумеется, тут он выполнял «подписку о неразглашении»). На этой основе выдвигал новые идеи, указывал перспективные направления исследований. Но другие организации плохо сотрудничали с Курчатовым: «Причиной было непризнание советским руководством решения урановой проблемы как дела первостепенной важности. Особенно Курчатов был раздосадован разрывом в развитии советского проекта и *проекта Манхеттен*. Он лучше, чем кто-либо другой понимал, насколько велик был этот разрыв в действительности»[25].

Таким образом, руководящий пост в атомном проекте занял *плагиатор-новатор*. Советская научная бюрократия заурядное эпигонство и плагиат превратила в дело «государственной важности».

Д.Холловэй на протяжении всей книги обсуждает ряд технических данных для аргументации своей точки зрения. Неспециалисту трудно проникнуть в политический смысл технической информации[26]. Но цель этой процедуры ясна: автор *подгоняет Курчатова под идеал ученого*: отсутствие радости от получения тайной информации; отсутствие горечи от того, что другие страны опередили его родину; признание достижений коллег других стран; критическое отношение к работам коллег своей страны; отрицание личных чувств для решения ключевых вопросов. Однако историк науки не видит проблему: ученый вступает в контакт со шпионским ведомством без всякой рефлексии. Следовательно, автор *отождествляет* интеллектуальную автономию (в данном случае Курчатова) с политической верноподданностью.

Для Д.Холловэя либеральный критерий успеха (в данном случае - советского атомного проекта) остается нерушимым. По его мнению, *сообщество советских физиков - образец научного сообщества*. Физика была сферой относи-

[24] Холловэй Д. Указ.соч., с.134

[25] Там же, с.144

[26] Для установления этого смысла вполне можно использовать идею Д.Норта об аномалиях в развитии техники, в данном случае – атомной.

тельной интеллектуальной автономии в советском государстве. Эта автономия поддерживалась комплексом общественных отношений (властью, социальным статусом, наградами) и отличалась от господствующих в СССР социальных отношений. Несмотря на все усилия партийных идеологов, в физике членство в партии и положение в партийной иерархии не имели веса. Утверждения о практическом значении решения тех или иных научных проблем в социалистическом строительстве были разновидностью риторики, рассчитанной на то, чтобы задобрить власти и обосновать просьбы о выделении средств[27].

Большинство советских ученых восхваляют моральный климат труда: «Это удивительный пример того, - пишет Д.Холловэй, - как аппарат репрессивного государства *уживался* (курсив мой, В.М.) с сообществом физиков в деле создания атомной бомбы. В 30-е годы физическое сообщество … существовало в необычной атмосфере интеллектуальной автономии, которая поддерживалась рядом неформальных взаимоотношений. Эта автономия не была разрушена в результате возникновения ядерного проекта. Она продолжала существовать внутри административной системы, учрежденной для управления проектом… Дискуссии о моральной ответственности были бы … очень опасным делом, а открытое противодействие проекту … оказалось бы роковым»[28].

Здесь очередная нестыковка в позиции автора. С одной стороны, он полагает, что практическая реализации интеллектуальной автономии физиков создала советскую атомную промышленность. С другой стороны, атомный проект - это аналог сталинских строек (Беломорканала, Магнитогорска, Днепростроя), комбинация лучшего и худшего в советском обществе – энтузиазма ученых и инженеров, получивших образование при советской власти, и заключенных, живших в нечеловеческих условиях лагерей. До сих пор нет достоверных данных о стоимости проекта и числе вовлеченных в него людей[29].

Советское правительство приняло постановление добыть в 1943 г. 100 тонн урана. К августу 1945 г. был получен всего 1 килограмм. Я предлагаю разделить кило урана на число дней в 31 месяце (от января 1943 г. до июля 1945 г. включительно), чтобы получить синтез образца научного сообщества с *образцом политического решения проблемы*, который не заметил Д.Холловэй. В первые годы советского атомного проекта большую часть урана давала Восточная Европа. Чехословакия и советская зона оккупации Германии стали самым важным источником советского урана. Богатые залежи были открыты в Саксонии,

[27] Там же, с.72-73 Однако в самом сообществе физиков мера автономии была различной. Холловэй считает, что по мере усиления позиций ФИАНа на физфаке МГУ усиливалось влияние физиков, которые предпочитали искать поддержку у политического руководства для разрешения научных и административных споров.

[28] Там же, с.272

[29] По докладу ЦРУ 1950 г. общее число занятых в проекте оценивалось в 330-460 тыс.чел. Большинство (255-361 тыс.) работало в горнодобывающей промышленности. Из них в СССР 255 тыс., в Восточной Европе 241 тыс., в строительстве 50-60 тыс., на производстве 20-30 тыс., а исследованиями занимались 5-8 тыс. Шахтеры и строители были заключенными. Там же, с.233

поменьше – в Болгарии и Польше. СССР начал также добычу в Синьцзяне, который в то время находился под контролем СССР[30].

После продвижения Красной армии в Центральную Европу СССР начал эксплуатировать урановые рудники Чехословакии. В марте 1945 г. Бенеш подписал с СССР секретное соглашение. Оно дало право добычи в Чехословакии урановой руды и транспортировки ее в СССР. Урановые шахты в Яхимове к тому времени были главным мировым источником урана. Затем СССР вывез оставшихся в Германии специалистов по производству элементов атомной бомбы (М.Арденне, Г.Герц, П.Тиссен, Н.Риль, М.Фольмер, Х.Барвих, М.Штеенбек и др.). Им предоставлялись дачи под Москвой, несмотря на то, что некоторые (П.Тиссен) были членами нацистской партии с 1920-гг. Но одновременно выступали за тесное сотрудничество Германии и России[31]. Важность восточноевропейского урана подтверждена в 1953 г. А.Завенягиным, который призвал к срочным мерам по расширению сырьевой базы внутри СССР, поскольку страны народной демократии начали сопротивляться советской колонизации.

Отсюда вытекает следующая проблема: кто же был более прав – Вернадский, давно настаивавший на разведке урана, или Курчатов, использующий шпионскую информацию для продвижения туземного атомного проекта? Однако Холловэй не только не обсуждает, но и не ставит эту проблему. Значит, он согласен с советской колонизацией стран Восточной и Центральной Европы. Между тем даже на основании российских публикаций нетрудно установить, что колонизация породила множество до сих пор не решенных международных и внутристрановых проблем в Восточной Европе[32].

Д.Холловэй считает командно-административную систему *эффективной* (поскольку она смогла мобилизовать огромные ресурсы) при создании атомной бомбы, но *жестокой*, поскольку: 1. Широко использовался труд заключенных. В советской зоне оккупации Восточной Европы условия труда на урановых рудниках были ужасны. 2. В погоне за бомбой жизнь и здоровье людей не стоили и гроша. Установленные санитарные нормы допустимой ежедневной дозы радиации превышали стандарты. Особенно опасными были радиохимические работы, в которых процент женщин был выше, чем на других участках. 3. Система нанесла длительный экологический ущерб стране. По всем указанным причинам мемуаров обитателей ядерного ГУЛАГА до сих пор нет. Здесь советская власть действительно спрятала концы в воду…

К тому же Сталин и Берия приняли *дорогостоящую* стратегию нескольких альтернативных путей к бомбе: использование плутония и урана-235, графитового и тяжеловодородного реакторов, газодиффузного и электромагнитного

[30] По оценкам ЦРУ, в 1950 г. 45% советского урана получено из Восточной Германии, 33% из СССР, 15% из Чехословакии, 4% из Болгарии и 3% из Польши. Причем, оценки по СССР менее надежны, чем по Восточной Германии и Чехословакии. Там же, с.238

[31] По оценке разведки США СССР получил в Германии и Чехословакии 230-240 тонн окиси урана. США в апреле 1945 г. вывезли 1200 тонн урановой руды из соляной шахты в окрестностях Штрассфурта, который должен был попасть в советскую зону оккупации. Там же, с.155

[32] См.: Семиряга М.И. Как мы управляли Германией. М., РОССПЭН, 1995

разделения изотопов: «Принципу *избыточности* (курсив мой, В.М.), который критиковал Капица, следовали почти во всех частях проекта»[33].

Если верить Д.Холловэю, система была эффективной, хотя жестокой, дорогостоящей и избыточной. После всех этих констатаций он пишет: «Советский Союз – не единственная страна, в которой атомная индустрия нанесла ущерб здоровью людей и окружающей среде. Но в условиях интенсивного нажима ради скорейшего достижения цели – создания бомбы – не было времени обращать внимание на риск, а протесты пострадавших в сталинской системе были невозможны»[34].

Итак, для автора критерий *достижения цели любой ценой* является главным (в конце статьи я специально рассмотрю эту проблему). Здесь только отмечу, что *либеральный историк сознательно оправдывает самую жестокую политическую систему XX века*.

Я тоже подпою англичанину. О.Хархордин показал принципиальное сходство православного и большевистского способа поведения[35]. Эту идею можно углубить. В центре Сарова находились остатки православного монастыря, расцвет которого приходился на ХУШ-Х1Х вв. Здесь прожил около 50 лет (до своей смерти в 1833 г.) причисленный к лику святых Серафим Саровский, известный аскетизмом и благодеяниями. Коммунисты закрыли Саровский монастырь в 1927 г., в котором жило 300 монахов. В их кельях оборудовали первые лаборатории по производству атомной бомбы. Зеки из местного ИТП построили новые лабораторные корпуса и жилые дома. Так был создан Арзамас-16. В отличие от обитателей «Архипелага ГУЛАГа» ученые и инженеры получили привилегированные условия жизни. В 1953 г. Л.Каганович назвал атомные города «курортами». А.Сахаров начал работу над водородной бомбой в 1948 г. и переехал в Арзамас-16 в 1950 г. Он сказал: «Мы (а я должен говорить здесь не только от своего имени, потому что в подобных случаях моральные принципы вырабатываются как бы коллективно-психологически) считали, что наша работа абсолютно необходима как способ достижения равновесия в мире»[36].

Главный конструктор первого промышленного реактора Доллежаль считал бомбардировку Хиросимы «отвратительным актом циничного антигуманизма». Одновременно морально оправдывал работу над созданием бомбы и право СССР создать и использовать такое же оружие по двум причинам: создание оружия не тождественно его использованию против мирных городов, поскольку цели будет выбирать военное и промышленное руководство; обладание атомной бомбой не обязательно означает ее использование.

Как хорошо известно, европейская опытная наука была продуктом деятельности монахов. Из приведенных фактов вытекает, что советский атомный

[33] Холловэй Д. Указ.соч., с.257
[34] Там же, с.260
[35] См.: Хархордин О. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб-М., 2002
[36] Там же, с.271

проект может рассматриваться как *символ единства* православия, советского государства с его репрессивным режимом, привилегий производителей оружия и морально-политической софистики, оправдывающей это единство. Советская власть в процессе реализации атомного проекта оказалась предвестником нынешнего союза православия и российского государства. Однако титулованный историк науки ничего об этом не пишет.

Он говорит и вещает, что Сталин сохранил физику, поскольку она была нужна для усиления режима: «То, что уберегла бомба, было маленьким островом интеллектуальной автономии в обществе, где государство претендовало на контроль за всей интеллектуальной жизнью. Кроме того, физическое сообщество видело себя в каком-то … смысле частью более крупного международного сообщества и … было ближе к Западу в культурном плане, чем остальная часть советского общества. Таким образом, атомная бомба, наиболее могущественный потенциальный символ враждебности между Советским Союзом и Западом, спасла ту часть общества, которая являлась самым важным культурным и интеллектуальным звеном между Западом и Советским Союзом»[37].

По мнению Холловэя, сознание принадлежности к широкому сообществу осталось нерушимым среди советских физиков. Ядерный проект защитил ее, и это имело большое социальное и политическое значение. Под сталинским управлением научное сообщество пользовалось большой автономией: «Физическое сообщество являлось островком интеллектуальной автономии в тоталитарном государстве. Научное сообщество – и особенно физическое сообщество – было, несмотря на свои недостатки, близко к понятию гражданского общества при сталинском режиме. Ученого, по крайней мере ученого масштаба Френкеля, Капицы, Тамма, Вернадского и позднее Сахарова, более чем кого-либо в советском обществе можно было бы назвать гражданином. Ученый-гражданин был фигурой первостепенной значимости для общества в целом. Обеспечив защиту советской физике, бомба сделала большее: она помогла защитить небольшую часть подлинно гражданского общества в государстве, установившим тоталитарный контроль над всей общественной жизнью»[38]. Вслед за Вернадским физики считали науку элементом культуры, рационализирующей и демократизирующей силой общества. А Сахаров вообще рассматривал науку как модель для политики.

Короче говоря, для автора Сталин и бомба выступают *спасителями интеллектуальной свободы и связей между Западом и СССР*. Под пером английского историка советский деспот стал новым Иисусом Христом и гарантом отношений между полушариями! Хорошо, что не между галактиками… Эти тезисы можно проверить только на основании ретроспективного конкретно-социологического опроса советских физиков. Кто бы за это взялся?..

[37] Там же, с.282-283
[38] Там же, с.470-471

Но были и другие лидеры. 8 декабря 1953 г. Эйзенхауэр в ООН говорил о «вероятности разрушения цивилизации». Маленков три месяца спустя повторил ту же терминологию. Вслед за ними идет автор. В главе «Атом и мир» он сообщает: в 1954 г. один из руководителей министерства говорил научному руководителю атомной электростанции Д.Блохинцеву о ее бесполезности. Однако главной целью работы атомных реакторов было производство плутония, а не электроэнергии. 1 апреля 1954 г. Малышев, Курчатов, Алиханов, Кикоин, Виноградов послали Хрущеву проект статьи, в которой утверждали: «Развитие промышленного использования атомной энергии само по себе не только не исключает, но прямо ведет к увеличению военного атомного потенциала»[39]. Итак, руководители советской атомной промышленности (почти сразу после расстрела Берия и его клики) совершенно определенно способствовали гонке вооружений. После Женевской конференции (июль 1955 г.) состоялось совещание о мерах безопасности. СССР не сделал никаких предложений и совещание закончилось безрезультатно.

Таков один из множества мостов между атомным проектом и советской политикой.

Контекст советской политики

По мнению Д.Холловэя, советскую политику (в отличие от американской и английской) невозможно анализировать как взаимодействие людей, учреждений, обстоятельств. Она - продукт советской системы, марксистско-ленинской идеологии и выражение интересов вождей. Следовательно, нет смысла трактовать гонку вооружений как соревнование двух идентичных государств. Советская политика ядерных вооружений должна быть изучена в международном и внутреннем контекстах[40]. С этим вряд ли поспоришь. Но реконструкция данной политики – совсем иное дело…

Из множества фактов упомяну лишь те, которые позволяют уточнить концепцию Д.Холловэя. В годы войны Вернадский и Капица выступали за тесные контакты с американскими учеными. На приеме в Кремле после войны в присутствии Сталина Молотов обещал «тесные связи советской науки с мировой наукой». По мнению Д.Холловэя, это обещание отражает некоторый прогресс в работах по советскому проекту за годы войны. Действительно, Берия и Молотов были хорошо информированы о «проекте Манхеттен», но не проявили никакого интереса к расширению советских работ. Д.Холловэй объясняет этот факт следующим образом: Берия не верил сообщениям разведки, считал их дезинформацией, полагая, что противник пытается втянуть СССР в громадные затраты на бесперспективные работы.

[39] Там же, с.454
[40] Там же, с.12, 14

Эти подозрения переплелись с недоверием членов сталинской клики к ученым. Ее члены не могли убедиться в том, что Курчатов их не обманывает. Они ничего не понимали в ядерной науке и технике, а другие ученые утверждали: бомба не может быть сделана еще в течение длительного времени. Ситуация в германской науке усилила скептицизм. Летом 1945 г. советские руководители «…не считали атомную бомбу реальностью и не могли себе представить, какое влияние она окажет на мировую политику»[41].

30 сентября 1944 г. В.Буш и Д.Конант разработали меморандум, предлагая создать международный орган, который должен иметь свободный доступ в научные лаборатории и военные организации всех стран для предотвращения гонки ядерных вооружений. СССР на это не пошел. Только после Хиросимы Сталин понял роль бомбы: «Бомба все равно влияла бы на баланс сил и все равно была бы символом экономической и технологической мощи государства. Сталин все равно хотел бы иметь собственную атомную бомбу»[42].

Таким образом, автор *дезавуирует* идею американцев о создании международного контрольного органа и косвенно оправдывает поведение Сталина. Этот вывод противоречит ранее цитированному положению о том, что Сталин уже в период Сталинградской битвы думал о послевоенном устройстве мира. Однако историк науки пренебрегает элементарной логикой, предпочитая ей «историческую и диалектическую»…

20 августа 1945 г. ГКО постановил создать под началом Берия Спецкомитет для руководства всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана. Затем учреждено Первое Главное Управление для руководства атомным проектом под руководством Ванникова, Курчатов назначен научным руководителем. План на 1946-1950-е гг. концентрировал все силы на направлениях, от которых зависел оборонный потенциал СССР. По воле вождей пионерные исследования советских ученых сокращены[43]. Приоритет принадлежал тяжелой промышленности для подготовки к новой войне.

На этом фоне автор описывает *предпосылки советской послевоенной политики*. По его мнению, в последние годы 2-й мировой войны Сталин делал выбор между тремя направлениями послевоенной политики:

1. Подрывная политика путем поддержки компартий в Западной Европе и Азии в их стремлении захватить власть и помощи им военной силой. Эта политика импонировала ревнителям социалистической революции. Но Сталин не пошел по этому пути, поскольку в Европе и Азии не было выдающейся лично-

[41] Там же, с.160. По воспоминаниям Трумена после того, как он сообщил Сталину о наличии у Штатов «нового оружия необычайной разрушительной силы», Сталин ответил, что рад слышать об этом и надеется что оно будет успешно применено против японцев. Трумен и Черчилль были убеждены: Сталин не понял, что имелась в виду атомная бомба.

[42] Там же, с.183

[43] Об этом свидетельствует история разработки ракетного оружия. Интерес к нему оживился только в 1944 г., когда Германия начала бомбардировать Лондон Фау-1 и Фау-2: «Идеи советских ученых и инженеров не получали должной поддержки до тех пор, пока они не подтверждались западным опытом». Там же, с.201

сти, отстаивающей эту идею. Поощрять революцию - значило идти на развязывание войны с западными союзниками.

2. Продолжение политики сотрудничества с Западом, сторонником которой был Литвинов. Но Сталин не пошел на сотрудничество с США, поскольку это повлекло бы уступки в Германии и Восточной Европе. Внешняя политика сотрудничества с США вступила бы в противоречие с внутренней политикой усиления контроля над советским обществом. Международная напряженность шла в ногу с послевоенными репрессиями внутри страны.

3. Рассмотрение государств (а не классов) как главных действующих лиц международных отношений. При этом интересы советского государства ставились выше интересов мировой революции. Сталин выбрал этот путь. В результате произошло окончательное возрождение традиционной имперской политики России[44].

Откуда же автор знает о том, что творилось в черепной коробке Сталина? По косвенным свидетельствам. Для советских вождей, - пишет он, - концепция мощи и безопасности носила территориальный характер. Молотов много лет спустя говорил: «Как министр иностранных дел я считал своей задачей расширять как можно больше границы нашего отечества»[45]. Но ведь такая задача принципиально ничего не меняла в традиционной советской политике. М.Геллер и А.Некрич показали, что внешняя политика СССР с самого начала его существования базировалась на двух китах: явном (через Наркомат иностранных дел) и тайном (через Коминтерн и разведку). Уже в середине 1920-х гг. сформировались три главных принципа внешней политики советского государства:

1. Оно есть оплот мировой революции, и потому его укрепление равнозначно укреплению революционного движения во всем мире. А поскольку интересы СССР считались ведущими, постольку во имя этих интересов можно жертвовать революциями и партиями в других странах.

2. Конфликт между социализмом и капитализмом в мировом масштабе неизбежен, поэтому международное коммунистическое и рабочее движение есть резервная армия нового государства.

3. Капиталистические страны враждебны СССР, поэтому в их отношении надо проводить такую политику, которая сочетает шпионаж и подрывную деятельность с поддержанием нормальных дипломатических и торговых контактов[46].

Нетрудно понять: если бы удалось полностью осуществить эти принципы – СССР господствовал бы над всем миром. Есть и более интересные сюжеты.

Обращаю внимание, что трактовка сталинской политики как окончательного возрождения традиционной имперской политики России полностью совпадает с концепцией Э.Генри. Но прежний ростовчанин и одновременно – старый

[44] Там же, с.225-228

[45] Там же, с.207

[46] См.: Геллер М., Некрич А., История России 1917—1995. Т. 1. Утопия у власти 1917—1945. М., «МИК», «Агар», 1996, гл.3-4

Коминтерновский волк - был последовательнее англичанина, считая все направления сталинской внешней политики полным провалом[47]. Предлагаю читателю поразмыслить: есть ли принципиальное отличие между традиционными принципами советской внешней политики (сложившимися в 1920-е гг.) и предпосылками советской послевоенной политики в версии Д.Холловэя? каковы причины совпадения позиций заслуженного чекиста Э.Генри и английского историка науки? какова степень исторической, политической и логической правоты того и другого.

Вернусь к исторической пыли. Трумен в 1945 г. предложил образовать комиссию при ООН по изучению возможностей ликвидации атомного оружия и использования атомной энергии в мирных целях. Февраль-март 1946 г. - поворотный пункт в американской политике в отношении СССР. Ухудшение отношений вызвала не атомная бомба: «Атомная дипломатия – надежда с одной стороны, страх, что бомба окажется мощным политическим инструментом, с другой – определила неудачу лондонской конференции и резкое ухудшение советско-американских отношений»[48].

Н.Бор поставил вопрос: чем была бомба для политических лидеров: инструментом государственной политики или источником общей опасности, сближающей государства? Вопреки Бору, Трумен и Сталин не считали бомбу источником опасности для человечества. Сталин полагал: роль ученых - обеспечение нужд страны, а не изложение взглядов на международную политику и возрастающую роль технологии.

В конечном счете, по мнению Д.Холловэя, атомная бомба не повлияла на выбор линии послевоенной внешней политики. Сталин сделал окончательный выбор в пользу реалистического (в смысле Бисмарка), а не революционного или либерального курса до конца войны - прежде, чем атомная бомба вошла в его стратегические расчеты.

Теперь и в советской политике возникли *противоречия*. Сталин поддерживал взгляды Лысенко о различии между социалистической и капиталистической наукой. Развязал кампанию против низкопоклонства перед Западом и принижения советской науки и техники. Но именно руководство партии и государства рассматривало западную технику как образец, не доверяло советским ученым и инженерам, культивируя эпигонство и плагиат. Советские физики создавали плутониевую бомбу на основе американской конструкции. СССР скрывал от народа факты копирования иностранной техники (атомной бомбы, ракеты Фау-2, бомбардировщика Б-29)[49].

Сталинский режим придавал большое значение военной технике, но не признавал авторитета и автономии технической экспертизы. Логика режима

---

[47] См.: Генри Э. К вопросу о внешней политике Сталина (Записка). Прометей. М., Русский раритет, 2007

[48] Холловэй Д. Указ.соч., с.217

[49] В 1944 г. 4 бомбардировщика Б-29 совершили вынужденную посадку на Дальнем Востоке и в Сибири. Вместо возврата по принадлежности Сталин приказал их разобрать и изучить советским конструкторам. В 1946 г. он решил создать копию Б-29. Туполеву приказано сделать корпус, Шевцову - мотор. Там же, с.311

была политической, а не технократической: «Он присвоил себе право определять, что есть научная истина, и уничтожал целые области знания во имя идеологической ортодоксии»[50]. Однако технократический способ решения политических проблем ничуть не лучше идеологической ортодоксии, как показано в современном коммунитаризме, поскольку технократия есть определенная идеология, маскирующаяся критериями пользы и рациональности[51].

По мнению Д.Холловэя, после второй мировой войны наметилось *сходство* советской и американской концепций будущей войны[52]. Советская разведка двигалась в этом русле. Сразу после войны цель создания межконтинентальных ракет была недостижимой. Большинство конструкторов (Туполев, Королев, Мясищев) оружия были осторожными людьми, боялись и не желали разрабатывать системы, в возможность создания которых не верили. Поэтому использовались немецкие ученые и конструкторы. В 1947 г. заложены основы ракетной программы: исследовательская и производственная база была создана с помощью трофейного немецкого оборудования; в советской армии были сформированы первые соединения ракетных войск; выработан план развития ракетостроения.

Однако автор не приводит никаких доказательств в подтверждение своей версии послевоенной политики, кроме приписывания Сталину либеральной идеологемы выбора. По мнению Холловэя, атомная бомба не повлияла на сталинскую концепцию послевоенного мира. Но была фактором, который следовало принимать во внимание в военной стратегии и внешней политике. При организации Коминформа Сталин поставил предел независимости компартий, стремящихся идти своим путем к социализму, которую он был вынужден терпеть в первые годы после войны. Между 1946-1953 гг. Сталин мало говорил о бомбе, а сказанное предназначалось для создания определенного впечатления. Поэтому его заявления должны интерпретироваться в контексте советской внешней политики.

Первая советская бомба была испытана 29 августа 1949 г. Мир узнал об этом три недели спустя от США - 23 сентября Трумен объявил: у США есть доказательство атомного взрыва в СССР в течение последних недель. Два дня спустя ТАСС опубликовало заявление, подготовленное без участия ученых-атомщиков, которые сочли его ужасным[53]. По мнению Холловэя, ложь штампо-

[50] Там же, с.282

[51] См.: Макаренко В.П. Технократические мамлюки: социополитические аспекты концепции А.Макинтайра. Ростов-на-Дону, изд.СКНЦ ВШ, 2000

[52] В июне 1952 г. Сталин сказал итальянскому социалисту П.Ненни: «Для Америки недостаточно разрушить Москву, также как для нас недостаточно разрушить Нью-Йорк». Там же, с.320

[53] В заявлении говорилось: «В Советском Союзе, как известно, ведется строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которые вызывают необходимость больших взрывных работ с применением новейших технических средств. Поскольку эти взрывные работы происходили и происходят довольно часто в разных районах страны, то возможно, что это могло привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза. Что же касается производства атомной бомбы, то ТАСС считает необходимым напомнить о том, что еще 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В.М.Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что «этого секрета давно не существует». Там же, с.349

валась по причине *двойного страха* сталинской клики перед обладателями атомной бомбы: США удвоят свои усилия для сохранения лидерства в гонке вооружений; советское испытание побудит США проводить более агрессивную политику до того, как СССР разовьет эффективное производство атомных бомб.

Официальные речи советских владык выражали этот страх. В ноябре 1949 г. Маленков и Суслов выразили два советских подхода к международной обстановке и международным отношениям. Оба утверждали, что баланс сил смещается в сторону СССР. Но Маленков видел в этом благоприятный, а Суслов - опасный фактор. По мнению британского историка, сталинская политика в отношении бомбы определялась двумя принципами:

1. Принцип «войны нервов» базировался на допущении: США используют бомбу для запугивания СССР и получения от него уступок ради внедрения своей концепции послевоенного устройства мира. В итоге сталинской «войны нервов» возросло убеждение западных держав в том, что они должны защищаться с помощью НАТО, поскольку СССР является агрессивным экспансионистским государством. Но этот эффект не был следствием ошибочности политики советского руководства (на взгляд Холловэя), поскольку она вытекала из существа его взглядов на природу отношений с Западом.

2. Принцип «допустимых мер» тормозил «войну нервов». Сталин не желал войны с Западом и не считал, что СССР к ней готов. Если бы СССР вел соглашательскую политику в отношении Запада, он показался бы слабым, что могло спровоцировать давление и агрессивность Запада. В «войне нервов» нельзя было заходить слишком далеко из опасения спровоцировать настоящую войну. Чувство меры проявилось в Берлинском кризисе 1948 г.

Из первого принципа следовало, что рост могущества СССР ослабит напряженность в мире; из тезиса о враждебности - возрастание советской мощи вызовет проведение капиталистическими странами более агрессивной политики. По этому поводу автор пишет: «Конечно, лучше было испытать бомбу, чем не иметь ее. Но после испытания чувство неуверенности не исчезло. Секретность, окружавшая атомное испытание, и вводящие в заблуждение заявления … свидетельствуют в пользу того, что Сталин не верил в силу обороны Советского Союза после испытаний»[54].

В целом атомная бомба имела двойной эффект: заставила СССР быть сдержаннее при использовании силы из страха перед развязыванием войны; сделала СССР менее склонным к сотрудничеству и компромиссу из страха показаться слабым[55].

---

[54] Там же, с.354-355

[55] В середине 50-х гг. Хрущев поощрял ядерные амбиции Китая. 15 января 1954 г. Мао решил создать атомную бомбу. 17 января Совмин СССР решил помочь Китаю и другим социалистическим странам в развитии ядерных исследований в мирных целях. 27 апреля 1955 г. подписано соглашение о совместной разработке урана в Китае. Китай согласился продавать СССР излишки урана, а СССР должен поставить Китаю ядерный реактор, циклотрон и необходимое количество делящихся материалов. Там же, с.460

Короче говоря, автор толкует послевоенную историю с точки зрения концепции устрашения, которая как раз лежала в основе военно-политической доктрины США того времени. Одновременно он косвенно оправдывает Сталина и производителей бомбы. Возникает вопрос: нельзя ли рассматривать всю историю создания советской атомной бомбы как воплощение политической шизофрении, необходимым элементом которой является страх в его советской и американской версиях? Ведь речь идет о громадных расходах материальных и человеческих ресурсов. Между тем СССР распался, бомбы и ракеты его не спасли, ответственности за это никто до сих пор не понес. Даже проблема такой ответственности толком не осознана. Не исключено, что концепция непредвиденных последствий (разработанная А.Хиршманом, Д.Нортом и др.) идеологий, институтов и любых решений, включая политические, может помочь двинуться по пути описания меры данной ответственности конкретных лиц и государственных институтов.

Идеальный советский аппарат

Эта тема тоже вытекает из штудий Д.Холловэя. Он пишет, что Берия работал с помощью мощного аппарата. В состав Спецкомитета по производству атомной бомбы вошли: обер-полицай Берия, партийный обер-чиновник (секретарь ЦК) Маленков, обер-плановик (председатель Госплана) Вознесенский, обер-оружейник Ванников, обер-строитель и главный тюремщик Завенягин и правительственный куратор Первухин. Из ученых в Спецкомитет вошли только Курчатов и Капица.

Таким образом, созданный для производства бомбы аппарат кардинально отличался от проекта академика Рождественского, который на мартовской сессии АН СССР 1936 г. предложил: связать разные области физики с соответствующими направлениями развития промышленности и создать аппарат по управлению этим процессом. Его предложение не получило поддержки. Вместо него возник прецедент *единства* репрессивного, партийного, планового, военно-промышленного и тюремно-строительного аппарата, в котором наука выполняла роль холуя.

Как сформулировать эту проблему? Шпионскую информацию получали только Курчатов и Харитон, которые использовали ее при конструировании бомбы. За исключением руководства «…ученые и инженеры, создававшие первую советскую атомную бомбу, не знали, что копируют американскую конструкцию»[56]. Таким образом, *политическое и научное руководство проектом шло на сознательный плагиат*. Я показал, что эпигонство – родовое свой-

[56] Там же, с.189. Советский шпион Фукс помог проекту в двух направлениях: способствовал развертыванию проекта во время войны и передал детальное описание конструкции плутониевой бомбы. По мнению Д.Холловэя, разведка сэкономила Советскому Союзу 1-2 года. Там же, с.294

ство политической и идеологической бюрократии[57]. Британский историк собрал материал, который позволяет утверждать: научно-техническая разведка и аппарат управления наукой в СССР закрепляет и усиливает это свойство. Не исключено, что разведчики рассматривают ученых как конкурентов, которые отнимают у них хлеб. Под таким углом зрения можно рассматривать деятельность советского правительства и всей системы внешнего и внутреннего шпионажа.

Возможность такого подхода вытекает из *отношения между учеными, военными и политиками*, которое сложилось в период создания бомбы. Предметом разногласий было положение ученых в обществе. Рассмотрим конкретные позиции.

В США на всем протяжении производства атомной и водородной бомб позиции ученых, военных и политиков противостояли друг другу. Например, Главный консультативный комитет на заседании 28-30 октября 1949 г. (в составе Д.Конанта, Э.Ферми, И.Раби, Р.Опенгеймера) единодушно высказался *против* развертывания работ по созданию водородной бомбы. При этом ученые выдвинули технические, теоретические и экономические аргументы против бомбы (неясно, будет ли водородная бомба дешевле атомных бомб, если сравнить их разрушительную мощь с затратами?), а также моральные соображения (водородная бомба станет средством массового уничтожения гражданского населения).

Главный аргумент военных (члены Объединенного комитета начальников штабов) *за* производство бомбы состоял в возможности такого оружия у противника. Для выработки рекомендаций был учрежден комитет в составе Д.Ачесона (госсекретарь), Л.Джонсон (министр обороны) и Д.Лилиенталя. На аргументы Оппенгеймера против производства бомбы Ачесон ответил: «Как вы можете убедить разоружиться противника-параноика посредством собственного примера?»[58]. 31 января 1950 г. Трумен дал приказ о производстве, который поддержали конгресс и пресса.

Предложения американских ученых о запрете производства водородной бомбы исходили из *сочетания* научного понимания и моральной ответственности. Но нет советских источников, которые доказывали бы, что взгляды политиков и ученых СССР на значение водородной бомбы не совпадали. Взгляды Сахарова соответствовали взглядам Теллера (а не Оппенгеймера): «Никто из его коллег … не думал иначе»[59]. В отличие от американских ученых решение о разработке водородной бомбы рассматривалось советскими учеными как логический шаг и *не вызывало угрызений совести*.

Исключением из правил было поведение П.Л.Капица. В мае 1945 г. он стал Героем Социалистического Труда за создание жидкого кислорода для метал-

[57] См.: Макаренко В.П. Политическая бюрократия. Идеологическая бюрократия // Политология. Энциклопедический словарь. М., Publishers, 1993

[58] Холловэй Д. Указ.соч., с.392

[59] Там же, с.414

лургической и химической промышленности. Капица отстаивал позицию: наука должна занять место, аналогичное роли патриарха в допетровской Руси (когда церковь была носителем культуры). Согласно Капице, ученые должны быть идейными руководителями советского общества, фундаментом научного, экономического и политического прогресса. Капица предлагал поднять ученых до *патриарших* чинов. Только тогда они могут служить своей стране. Он раньше других понял, что ученых ставят в положение холуев. 3 октября 1945 г. он направил Сталину письмо, в котором просил освободить его из состава Спецкомитета и технического совета.

Сталин не ответил на это письмо. 25 ноября 1945 г. Капица опять пишет «корифею науки», предлагая более дешевый, быстрый и оригинальный путь создания бомбы за два года. Научная база должна быть усилена за счет улучшения благосостояния ученых, повышения уровня высшего образования, организации производства научных приборов. Политик должен выбрать один план и одного генерала, который его выполнит. Для этого требуется доверие между учеными и государственными деятелями. По наблюдениям Капицы к нему прислушивались, когда он возглавлял Главкислород: «Капица-администратор привлекал больше внимания, чем Капица-ученый с мировым именем»[60].

П.Л.Капица предлагал встретиться с Н.Бором, который уже раньше предлагал встречу советских и западных ученых для обсуждения последствий создания атомной бомбы[61]. Вместо Капицы Берия послал на встречу с Бором Т.-Терлецкого - научного советника «Отдела С» НКГБ: «Миссия Терлецкого свидетельствует об огромном недоверии со стороны Берии как к разведывательным данным, так и к тому, что говорили советские ученые»[62].

Капица полагал, что секретность поставила ученых в абсурдное положение: «Вместо обмена своими достижениями с коллегами за рубежом они должны переоткрывать то, что уже открыто. Для мировой науки и техники это самый нездоровый путь развития»[63].

Не дождавшись решения этих проблем, 19 декабря 1945 г. Капица ушел из атомного проекта. По мнению Д.Холловэя, Капица отказался выполнять правительственное задание по созданию атомной бомбы из-за недопустимого отношения Берия к ученым. Его уход был мотивирован личными мотивами (неприятием отношения Берии к ученым и политики копирования американского пути), а не моральным и политическим сопротивлением созданию бомбы[64]. По-

[60] Там же, с.191

[61] Н.Бор был осведомлен о работах советских физиков. Видимо, это было причиной его усилий в 1944-1945 гг. против гонки ядерных вооружений. Там же, с.104

[62] Там же, с.194

[63] Там же, с.195

[64] В июле 1952 г. Капица опять писал Сталину о бедственном состоянии советской науки. Ученые и политики осознавали отсталость советской науки и техники. В 1955 г. Капица писал уже Хрущеву: ученые боятся мыслить самостоятельно; после того как ученые начали получать высокую зарплату, наука привлекла людей, способных продвигаться только бюрократическими методами; они блокируют настоящих ученых и угрожают задушить науку; особенно вредно декретирование научной истины отделом науки ЦК; организация научной жизни должна основываться на мнениях, сформулированных в процессе открытой дискуссии. Там же, с.461-463

зицию Капицы спустя почти десять лет поддержал только Л.Ландау. Он согласился работать над ядерным проектом ради защиты от произвола, но считал, что эта работа отвлекает от настоящих исследований. Поэтому в 1954 г. (после смерти Сталина) он вышел из проекта: «Отношение Ландау было скорее исключением, чем нормой, и исхода ученых из проекта не последовало»[65].

Итак, Холловэй подменяет политическую проблему отношения между наукой и властью личными отношениями между конкретными людьми. Таков обычный либеральный стандарт при описании социальных явлений. Между тем тоже бывший ростовчанин А.Бовин (пробившийся в спичрайтеры в эпоху «укосыживания безбрежности») показал, что этот стереотип мышления (он называет его *допотопным*) – сведение политических проблем «к разного рода козням, интригам, проискам» имеет институциональное воплощение: типичен для нынешних сотрудников КГБ и ГРУ[66]. Опять «странные сближения»…

Курчатов, Сахаров и прочие занимали другую позицию: верили в правоту своего дела независимо от мыслей о сталинском режиме и политике. Например, в марте 1948 г. в речи при начале сборки реактора в Челябинске-40 Курчатов утверждал: «Город наш тогда станет памятником миру»[67]. Курчатов подписывал письма и меморандумы «солдат Курчатов». Катастрофическое положение страны после войны не остановило Сталина: он приказал Курчатову организовать проект с русским размахом. Командная экономика была создана для удовлетворения запросов вождей любой ценой, а никакие иные потребности в расчет не принимались.

После взрыва атомной советской бомбы вождь, члены его клики и подручные ученые возрадовались и возвеселились[68]. И тут же начали делать водородную бомбу в духе соперничества с США. Фукс говорил, что в 1947 г. советская разведка просила его передавать любую информацию о «тритиевой бомбе». Группа Зельдовича пользовалась развединформацией из США. Сахаров незадолго до смерти (в 1989 г.) сказал: создание водородной бомбы оправдано, несмотря на то, что ученые давали оружие в руки Сталина-Берия: «Тут интерес вызывала грандиозность проблем, возможность показать, на что ты сам способен – в первую очередь, самому себе показать»[69].

Экономист Е.С.Варга тоже написал записку в ЦК, в которой утверждал: буржуазия в результате двух мировых войн усвоила, что они заканчиваются ре-

---

[65] Там же, с.383

[66] См.: Бовин А. 5 лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (из дневника). М., Захаров, 2003, с.292

[67] Холловэй Д. Указ.соч., с.249. Интересно, думают ли сегодня жители Челябинска о том, что они служат «памятником миру»?

[68] 29 октября 1949 г. Совмин принял подготовленное Берией секретное постановление: кого могли расстрелять при неудаче – стал Гертрудой (Курчатов, Харитон, Щелкин, Зельдович, Флеров, Садовский, Духов, Алферов, Доллежаль, Бочвар, Виноградов, Хлопин, Ванников, Завенягин, Первухин, Музруков, Зернов, Славский), кому грозил большой срок – получил орден Ленина и т.д. Н.Риль - единственный немец-Гертруда за работу по обогащению урана и получению металлического урана. Их детям было дано право получить образование за казенный кошт в любом вузе, право бесплатного проезда для себя и членов семьи, дачи.

[69] Там же, с.388

волюциями; империалистический лагерь превратился в единый военный союз; заинтересованность буржуазии в защите от социализма сильнее ее внутренних противоречий; крайне трудно вообразить конкретно новую войну между империалистами. Отсюда вытекала ложность тезиса Ленина о неизбежности войн, в том числе между капитализмом и социализмом. Сталин написал «Экономические проблемы социализма в СССР» для опровержения Варги. Он полагал, что Советскому Союзу надо быть готовым к войне. Поскольку движение за мир не может устранить войну в принципе, СССР не должен ослаблять военную мощь. Пока существует империализм, война неизбежна.

Какова же оценка Д.Холловэем позиций советских физиков и экономистов? По его мнению, письмо Капицы подняло два ключевых вопроса:

1. Был ли у СССР более дешевый и быстрый путь к бомбе, на чем настаивал Капица? На этот вопрос Холловэй отвечает так: «Неясно, что он (П.Капица, - В.М.) имел в виду и имел ли он в виду вообще что-либо конкретное… Имело смысл прежде всего использовать разведывательную информацию о *проекте Манхеттен*, а не искать альтернативный, собственный путь ее создания»[70]. Значит, автор высказывается в пользу советского атомного шпионажа. Здесь, на мой взгляд, и зарыта собака: заимствование уже изобретенных конструкций ставило СССР в положение эпигона и, тем самым, избавляло англичан и американцев от конкуренции. Как говорит мой друг-физик: «После атомного проекта мы до сих пор смотрим в ж… Америке!»

2. Какова была роль ученых в управлении атомным проектом? По мнению автора, назначение *научных комиссаров* позволило обеспечить грамотные действия официальных лиц. Он считает, что Курчатов как раз и был *научным комиссаром* при Берии и Ванникове. Научные советники и политическое руководство эффективно сотрудничали. В свою очередь, Курчатов, Харитон и Сахаров считали Берию способным администратором. Однако могли ли научные комиссары сместить командира и даже расстрелять его, как это было на фронтах гражданской войны и советско-германской – в первый период? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы убедиться в далеко не безобидной межеумочности Д.Холловэя.

На деле большинство уцелевших в репрессиях ученых *не отвергало* допустимость руководства наукой со стороны политических и военно-полицейских структур. К этой точке зрения примыкает и автор. По сути, он дезавуирует позицию Капицы, но в соответствии с либеральным шаблоном пишет: награды указывали на смену отношения режима к науке, но не принесли ей пользы. Прав был Капица: если ученые получают награды, наука становится центром притяжения для далеко не лучших людей. Как же относиться к людям, стремящимся к наградам?

А.И.Солженицын заметил: «Сопротивление русского населения большевикам (без чего мы не имели бы вообще права звать себя народом) – споткнулось,

[70] Там же, с.192

свернуло с пути во многих отношениях»[71]. Означает ли это, что награды ученым от советской власти блокировали становление русского народа, но способствовали формированию внутри него особой группы? Видимо, на этот вопрос, смог бы ответить только бывший ростовчанин, а теперь покойный «властитель дум»[72]…

Первая советская атомная бомба - копия американской, зато водородная бомба была оригинальным проектом (хотя украдена у англичан). Она была взорвана 12 августа 1953 г. Опять последовала серия наград. Гертрудами стали Сахаров, Зельдович, Тамм[73], Курчатов, Харитон, Александров, Константинов, Духов, Ванников, Алиханов, Ландау и Щелкин. Из них 7 избраны академиками, 2 – член-корреспондентами АН СССР, которая окончательно стала элементом ВПК.

В главе «Россия после Сталина» автор отмечает, что Берия был низвергнут потому, что другие члены сталинской клики опасались: он может использовать атомную бомбу в случае государственного переворота. Но на других постах остались те же люди. В период 1949-1955 гг. СССР взорвал 19 бомб с тротиловым эквивалентом от 20 килотонн до 1,6 млн.тонн[74]. По мнению Холловэя, только при Хрущеве и в последующие годы позиция советского руководства стала *шизофренической*: «Признание разрушительных последствий ядерной войны, представляющих равную опасность как для Советского Союза, так и для Запада, и официальная точка зрения на то, что эта война означала бы конец капитализма»[75].

Примечательно, что политику Сталина и ее непосредственное воплощение в деятельности аппарата МВД-МГБ автор исключает из предпосылок шизофрении, возлагая ответственность только на Н.С.Хрущева. Здесь его позиция *совпадает* с политикой редколлегии «Военно-исторического журнала» и подобных ей российских «ястребов» из числа публицистов, ученых и политиков[76].

В сентябре 1953 г. генерал-майор Н.Таленский (редактор журнала «Военная мысль») опубликовал статью «К вопросу о характере законов военной науки». В ней утверждались прерогативы военных: главный предмет военной науки - вооруженный конфликт (сфера действия военных), а не политический характер войны (сфера действия политиков и идеологов). После назначения Жукова министром обороны (февраль 1955 г.) военные начали пересмотр историографии войны и возложили на одного Сталина ответственность за поражения и

[71] Солженицын А.И. Двести лет вместе. Часть 2. М., Русский путь, 2002, с.158

[72] См.: Островский А.В. Солженицын. Прощание с мифом. Москва, Яуза, Пресском, 2004

[73] В ответ физики МГУ написали телегу в ЦК на Тамма, обвиняя его в политической неблагонадежности, бесполезности в физике, меньшевизме, общении с предателями и шпионами. Но политические инсинуации не помогли.

[74] Там же, с.419

[75] Там же, с.441

[76] См., например: Русская доктрина (Сергиевский проект). Под ред. А.Б.Кобякова и В.В.Аверьянова. М., Яуза-пресс, 2007

собственную бездарность. Эта оценка существует до сих пор, а ее пересмотр вызывает противодействие.

Я же отмечу: полемика о переоценке роли военных и политиков в советско-германской войне ведется до сих пор, и конца ей не видно; между тем более значимая проблема - как снять монополию военных, чекистов и политиков на изображение истории России и СССР? – почти не обсуждается.

Разумеется, английского ученого эта проблема не касается. Он считает, что успех ядерного проекта создал советской науке огромный престиж за рубежом и дома. Сталин и Берия презирали ученых, но разработка атомной и водородной бомб позволила ученым занять новое место в рамках режима. В итоге исследования в области управляемого термоядерного синтеза пошли в военном направлении. В СССР и США они рассматривались как естественный элемент усилий по созданию термоядерного оружия.

Хрущев в середине 1950-х гг. начал возить с собой Курчатова в другие страны как члена делегации. Однако певец кукурузы брал в поездки только представителей военно-промышленного комплекса, а штатскими учеными пренебрегал. В мемуарах Хрущев пишет, что у него были три цели: поднять престиж советской делегации; помочь установить контакты с западными учеными; продемонстрировать полное доверие к советской интеллигенции. Английский переводчик Макинтош писал в одной из своих статей, что Курчатов и Туполев радуются популярности, престижу и считают себя нужными стране. В частном разговоре Курчатов сказал: «Концепция о преодолении наукой всех границ в настоящий момент неприемлема. Прежде всего он был русским, а потом - ученым»[77]. В ответ на этот пассаж поставлю вопрос: как бы советские вожди отнеслись к визиту Гитлера, который возил бы с собой ученых типа Й.Менгеле? Ведь они тоже были нужны своей стране…

Автор проводит параллель между Курчатовым и Иоффе. Оба считали: наука должна служить советскому государству, хотя является интернациональной; много сделали для восстановления разрушенных связей с Западом. Иначе говоря, ученые начали высказывать точку зрения политиков (в данном случае Сталина).

В конечном счете, по мнению Д.Холловэя, Сталин направил Советский Союз на путь милитаризации, с которого его преемники уже не смогли сойти. Составные части милитаризации - командная экономика, военная промышленность (включая ядерный и ракетный комплексы) и огромный офицерский корпус. Они создали сильную внутреннюю динамику после Сталина во внешней и оборонной политике[78]. Изменения в американской политике того времени не

[77] Там же, с.469. Здесь вспоминается эпиграмма И.Сельвинского на А.Безыменского:
«Я, - говорит, - сперва партиец,
А стихотворец потом!»
Ждали мы этого «потом» лет тридцать –
И успокоились на том.
С этой точки зрения позиции Безыменского и Курчатова аналогичны.

[78] Там же, с.478

смогли бы вызвать сдвиги в советской экономике. Никакой реальной возможности избежать разработки термоядерного оружия не было, поскольку Сталин оставил бы без ответа американское самоограничение. Все попытки представить альтернативное развитие послевоенных международных отношений рассыпаются при учете личности Сталина. Никогда зависимость политики от личности не была так велика, как в период Сталина. И все же автор считает, что разработчики бомбы проявили интеллектуальную общность и гражданское мужество[79].

Нетрудно заметить противоречие в такой позиции: с одной стороны, военно-промышленный комплекс рассматривается как главный виновник послесталинской политики СССР (до 1990-х гг.); с другой стороны, ученые исключаются из числа виновников, хотя они были составной частью ВПК. Значит, английский историк науки разделяет стереотипы «культа личности», включая советскую диалектику и представление о безальтернативной истории.

Для дистанцирования от данных стереотипов и оценки советского атомного проекта у меня есть два предложения.

Во-первых, использовать концепт техно-якобинства, сформулированный И.С.Дмитриевым при описании взаимодействия между наукой и властью в революционной Франции и в период Наполеона. Его ученые холуи были убеждены: процветание страны невозможно без подчинения науки государству и обосновывали марьяж интеллектуалов и политиков. Так появился тип *техно-якобинца* – солдата партии с научно-техническими познаниями. Фактически этот сброд (в смысле - сборище случайных людей) образовал замкнутый круг лиц, связанных отношениями патронажа и родства. Сам факт привлечения ученых для выполнения правительственных задач существовал при старом режиме. Но раньше ученые не имели *властных* полномочий. Революция открыла им дорогу в мир политики. Многие заняли государственные посты. Это повышало их социально-политический статус, но одновременно ставило проблемы политического выбора и ответственности.

Техно-якобинцы подписывали смертные приговоры коллегам. А после Термидора начали скулить: мы, люди науки, рядовые солдаты партии; находясь у власти (т.е. у государственного корыта), выполняли гражданский долг; поэтому не отвечаем за ошибки и преступления главарей. А бывшие главари бубнили: мы выполняли волю народа и его лучших представителей - людей науки; поэтому ни в чем не виноваты. Эта схема мысли и поведения популярна до сих пор. Порочный круг единства народа и главарей пока не удалось разорвать[80].

Именно во время французской революции Карно выдвинул идею: народ может ошибаться, но не может быть виновным; каждая политическая мера законна, если ее требует безопасность государства. На основе критерия *госбезопасности* выдвигался тезис о политической нейтральности науки и техники,

[79] Там же, с.480

[80] См.: «Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки». Редактор-составитель Э.И.Колчинский. СПб., «Дмитрий Буланин», 2003, гл.3

включая подписание смертных приговоров: «Будучи человеком системы, ученый и инженер, попавший во власть, становится частью государственной машины и подчиняется raison d'etat»[81].

Во-вторых, среди золотарей существует иерархия профессий «черполея» (он непосредственно черпает дерьмо) и «на подхвате» (он тащит вверх ведро с дерьмом). И тот, кто «на подхвате», уронил ведро с дерьмом. Естественно, оно обрушилось на черполея. Тот кричит: - Эх, Ванька, век тебе черполеем не быть, всю жизнь будешь на подхвате!.. Предлагаю перечитать книгу Д.Холловэя, чтобы глубже узнать: к какой позиции примыкает автор?

На мой взгляд, к общей оценке концепции Д.Холловэя приложима также констатация Г.Флоровского относительно другого духовно-политического феномена XX века: «В евразийстве оживает пресловутое змеиное положение о разумности действительности и действительности разумного»[82]. Как хорошо известно, сегодня даже кабаки называются «Евразия». Однако не только геополитика, но и история науки могут служить гадюшником…

Когнитивная альтернатива

Видимо, главная причина в том, что Д.Холловэй при описании советского атомного проекта руководствуется стереотипами англо-американской советологии. Она заимствовала свой идейный арсенал не только из стереотипов советской политики, идеологии и пропаганды, но и у сил, потерпевших поражение в гражданской войне в России. В частности, К.Шлегель показал, что «Смена вех», евразийцы и младороссы были идеологической разновидностью операции «Трест»: хотели поставить потенциал эмиграции на службу Советской России и призывали к возвращению в СССР; издавали на советские деньги в Европе газеты; толковали русскую революцию как творческий процесс, в ходе которого на почве России – по ту сторону Востока и Запада – должен сложиться новый синтез; признавали большевизм исконно русским явлением; видели в Советском Союзе не представителя большевистской мировой революции, а Российскую империю; сформулировали идеи корпоративизма, третьего пути между либерализмом и большевизмом, национализма[83]. Все эти идеи были реанимированы в постсоветское время (вплоть до речей В.В.Путина, идеологии и практики «Единой России»)[84]. Что еще раз доказывает тотальное эпигонство постсоветских политических и идеологических структур.

Генезис и многообразные когнитивно-политические и институциональные следствия указанного эпигонства – особый предмет исследования. Здесь я толь-

[81] Наука и кризисы., с.219

[82] Флоровский Г.Ф. Евразийский соблазн // Мир России – Евразия. Антология. Сост. Новикова Л.И., Сиземская И.Н. М., Высшая школа, 1995, с.358

[83] См.: Шлегель К. Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1919-1945). М., Новое литературное обозрение, 2004, с.158-159

[84] См., например: Суверенитет. Составитель Н.Гараджа. М., «Европа»

ко отмечу, что для описания специфики проявления данного шаблона в американской экономической науке, деятельности и мышлении ЦРУ-КГБ, а также по аналогии с педерастией И.Бирман ввел термин «советоложество»[85]. Сходные суждения высказывает М.Кастельс[86]. Я предлагаю несколько дополнений к этому подходу.

В ранее опубликованных работах я показал, что огосударствление средств производства не ведет автоматически к ликвидации эксплуатации, а, наоборот, в конкретно-исторических обстоятельствах становления и укрепления советской власти увеличивает эксплуатацию[87]. Советское государство было совокупным эксплуататором природных и человеческих ресурсов страны. Исайя Берлин детально аргументировал тезис: в СССР развились две формы эксплуатации: *экономическая*, в которой эксплуататором выступало государство - те, кто контролирует аппарат принуждения и власти. Причем, в СССР экономическая эксплуатация осуществилась в «чистом виде», в лабораторных условиях, немыслимых на Западе; *идеологическая*, которую осуществляли поддерживаемые властью интеллектуалы - лакеи правящей клики. Их продукция (идеология, литература и искусство, философия и социогуматарные науки) есть «опиум для народа». Поэтому советское общество нельзя считать цивилизованным в обычном смысле слова: «Мы имеем дело с таким случаем, когда нет ничего менее успешного, чем сам успех»[88]. В отличие от Д.Холловэя я предлагаю рассматривать советский атомный проект как практическое воплощение экономической и идеологической эксплуатации, в которой наука выполняла роль средства.

Но не только. Уместно напомнить, что в XX в. состоялось две мировых войны, в результате которых было уничтожено 50 млн. человек. На протяжении второй половины века велась интенсивная подготовка к третьей мировой войне. Во многих странах мира произошли революции и гражданские войны, в результате которых на протяжении XX века прокатилось 4 волны диктатур: первая (после первой мировой войны) охватила Россию, Италию, Болгарию и Румынию; вторая (после мирового экономического кризиса 1928-1930 гг.) захлестнула СССР, Германию, Австрию, Венгрию, Польшу, Румынию, Чехословакию, Прибалтийские государства, Португалию и Испанию; третья (после второй мировой войны) охватила все европейские и азиатские страны социалистического блока; четвертая началась в 1950-е гг. и наряду со странами Варшавского договора охватила Парагвай, Гаити, Никарагуа, Кубу. Во всех указанных странах насилие государства над населением играло главную роль. Последствия такого положения вещей ощущаются до сих пор и влияют на международную ситуацию в XX1 веке[89].

---

[85] См.: Бирман И. Я – экономист. М., Время, 2001, гл.13, 14
[86] См.: Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000, гл.8
[87] См.: Макаренко В.П. Марксизм, идея и власть. Ростов-на-Дону, изд.РГУ, с.243-245
[88] См.: Берлин И. История свободы. Россия. М., НЛО, 2001, с.365
[89] См.: Драганов М. XX век: волны диктатур // Философские науки. 1991, № 2, с.38-48

Советская Россия - «образец» использовании массового насилия как средства государственного управления. Применение этого средства в разных странах привело к уничтожению 95 млн. человек[90]. Впервые в истории число жертв социальных преобразований превысило число жертв мировых войн: «СССР стоит на первом месте по логике, продуманности и последовательности в осуществлении насилия. На втором месте стоит Камбоджа, в которой за 3,5 года было уничтожено посредством пыток и голода ¼ часть населения страны. Третье место занимает Китай по абсолютному числу жертв»[91].

Приведенные цифры и констатации (в том числе изложенные в книге Д.Холловэя) позволяют сделать вывод: советский атомный проект – существенный элемент политического насилия, которое переплелось с экономической и идеологической эксплуатацией. Показательно, что Д.Холловэй считает опасным делом обсуждение моральных аспектов производства советского атомного оружия. Здесь его точка зрения совпадает с мнением большинства участников данного процесса, мнения которых преобладают в литературе, посвященной вопросу. Между тем существуют иные подходы к анализу проблемы о соотношении науки и военно-промышленного комплекса, а также влияния атомного проекта на последующее развитие событий.

С сорокалетним запозданием в России опубликован классический труд Фрица Рингера «Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии, 1893-1933». В нем показано, как идеология большинства немецких ученых (от физиков до философов и социологов) эволюционировала в сторону обслуживания фашистского государства. Д.Александров на основе данного труда ввел концепт «советских мандаринов» для описания принципиального сходства социальных позиций немецких и советских ученых: «В советской системе … профессора, а тем более члены Академии наук, не просто получали жалованье и многочисленные привилегии от государства, они чувствовали, что служат своей стране и ее культуре, а сам их *тесный симбиоз с государством был выведен за пределы их сознания*»[92] (курсив мой, В.М). Вряд ли английский историк науки не знал о существовании этого труда. Сам факт пренебрежения выводами данной работы свидетельствует, что для Холловэя данной проблемы не существует.

Между тем концепт «советских мандаринов» уже в значительной мере использован в капитальном труде петербургских ученых, в котором описаны главные модели связи науки с государством[93]. В Англии возникла колониально-

[90] В СССР было уничтожено 20 млн,. в Китае 65 млн,. в Северной Корее 2 млн., во Вьетнаме 1 млн,. в Камбодже 2 млн., в Восточной Европе 1 млн., в Латинской Америке 150 тыс,. в Африке 1,7 млн., в Афганистане 1,5 млн., в мировом коммунистическом движении 10 тыс. человек. См.: Куртуа С., Верт Н., Панне Ж.-Л., Пачковский А., Бартошек К., Марголен Ж.-Л. Черная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии. М., 1999, с.37

[91] Куртуа С. и др. Указ.соч,. с.37

[92] См.: Александров Д. Немецкие мандарины и уроки сравнительной истории // Рингер Ф. Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии, 1890-1933. М., НЛО, 2008, с.630

[93] См.: Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки. Редактор-составитель Э.И.Колчинский. СПб., «Дмитрий Буланин», 2003

имперская модель, во Франции – революционно-бюрократическая, в России – самодержавно-бюрократическая модель связи науки и власти[94]. С институциональной точки зрения, а также в контексте исследований взаимосвязи между культурой и империализмом[95] советскую науку можно рассматривать как воплощение английских колониально-имперских, французских революционно-бюрократических (техно-якобинских) и российских самодержавно-бюрократических интересов и амбиций власти и ученых. Атомный проект послужил основным средством такого воплощения.

Вполне понятно, что у атомного проекта были, есть и будут наследники. Их невозможно обойти вниманием. В частности, Х.Гастертон - профессор антропологии и исследований науки Массачусетского технологического института (США)[96] – описал результаты этнографического исследования, которое было проведено в 1987-1990 гг. в Лоуренсовской национальной лаборатории в Ливерморе – одной из двух лабораторий в США, где в период «холодной войны» разрабатывалось ядерное оружие[97]. Их сотрудники испытывали научные, политические и стратегические сомнения в отношении СОИ. Считали неразумным выделение больших средств на проекты, чреватые политическими конфликтами, при недоказанности их технического воплощения.

Раньше антропологи изучали общества «третьего мира», бедные, малообразованные, лишенные власти группы населения, этнические меньшинства европейских стран и США. Теперь в центре внимания оказались привилегированные группы ученых – разработчиков ядерного оружия. Главная цель исследования состояла в изучении политики, культуры и психологии группы ученых, а не анализ развития области знания, которое до сих пор составляет государственную тайну. Сообразно цели формулировались конкретные вопросы: какого типа люди становились разработчиками ядерного оружия? как они представляли себе смысл своей работы? какое значение они отводили своей работе в рамках глобальной системы международных отношений? Причем, политика, культура и психология разработчиков оружия изучалась параллельно с анализом политики, культуры и психологии активистов антиядерного движения, которые в 1980-е гг. пытались положить конец работам лаборатории.

Стратегия исследования Х.Гастертона состояла в следующем: 1. Он следил за жизнью лаборатории по публикациям в семи местных газетах, каждая из которых давала критические публикации о лаборатории. 2. Будучи гражданином Англии, переселился в Ливермор, который в отличие от российских закрытых

[94] См. об этом подробно: Макаренко В.П. Наука и власть: контекст социальной истории науки // Логос. 2005, № 6; Он же. Этатизация науки: советский опыт // Правоведение. Научные доклады высшей школы. 2006, № 2;

[95] См.: Edward W.Said. Culture and Imperialism. New York, Alfred A.Knopf, Inc. 1993

[96] См.: Гастерсон Х. Ливермор глазами антрополога // ВИЕТ. 1995, № 2, с.88-105

[97] В этой лаборатории было разработано 18 видов ядерного оружия, в том числе нейтронная бомба, боеголовки для «Минитменов», «Посейдонов» и крылатых ракет, работали над созданием орудий космического базирования, вели исследования в области генетики, медицинской биологии, новых технологий очищения окружающей среды, парниковым эффектом и вопросами контроля над вооружениями.

городов является открытым городом, где могут жить и работать иностранцы. Он знакомился, встречался и беседовал с местными жителями. 3. Ходил на собрания антиядерных групп, в том числе на закрытые для публики собрания руководителей антиядерного движения, присутствовал на акциях протеста у стен лаборатории и на Невадском ядерном испытательном полигоне для документирования. 4. Проводил интервью с разработчиками оружия и участниками групп протеста.

В интервью с учеными-оружейниками Хастертон сосредоточивал внимание на этических проблемах, связанных с созданием оружия, и смыслах, вкладываемых ими в ядерные испытания. Ввиду секретности работы ученых-оружейников, а также, чтобы не заподозрили в шпионаже в интересах другой державы, он не задавал вопросы о технической стороне работы. В интервью с активистами антиядерного движения он сосредоточивался на том, как они оценивают ядерные испытания, эффективность собственных действий и их личные полномочия[98].

Теперь кратко о главных результатах исследования, которые включают анализ социального состава и методов подбора персонала в лабораторию, этических аспектов разработки ядерного оружия и перспектив военно-промышленного комплекса.

В 1980-е гг. типичный ученый-разработчик ядерного оружия в Ливерморе был: белокожим мужчиной; происходил из низов среднего класса или рабочего класса; первым в своей семье получил высшее образование; оно было средством восхождения по социальной лестнице; обеспеченные семьи не направляли своих детей в сферы, связанные с разработкой оружия. 75% относились к практикующим христианам, из них 20% католики. Это отражает социальное происхождение большинства ученых лаборатории (католики преобладают на нижних ступенях американской классовой системы).

Активисты антиядерного движения обычно принадлежали к среднему классу и состоятельным семьям. Этот факт согласуется с теориями политической социологии, согласно которым руководители новых социальных движений (за мир, охрану среды) принадлежат к радикализированным слоям буржуазии, особенно к группам, имеющим гуманитарное и социальное, а не естественное образование.

Большинство ученых оказалось приверженцами политического либерализма. Этот результат фиксирует двойственность ученых: республиканцы поддерживали разработку ядерных вооружений сильнее, чем демократы; ученые предпочитали обсуждать вопросы, связанные с ядерным оружием, в терминах прагматизма и рационализма, а не на языке политической идеологии. «Для них гонка вооружений была не столько откровенно политическим, сколько технократи-

[98] Было охвачено 64 сотрудника лаборатории и их 23 супруги, 48 активистов антиядерного движения, 8 местных попов, 5 журналистов, 3 бывших мэра и 5 психотерапевтов, консультировавших сотрудников Лаборатории.

ческим проектом, в работе над которым могли сотрудничать ученые, симпатизирующие разным партиям»[99].

Обычно после окончания университетов американские ученые и инженеры стремятся к двум целям: найти способ зарабатывать на жизнь; по-прежнему наслаждаться духом свободы и интеллектуального кипения университетских лет. Но это происходит «уже в контексте общества, где научная деятельность в значительной степени подчинена интересам военного ведомства и больших корпораций»[100].

В основном по военным проектам работают математики, физики, инженеры авиационного и космического профиля, инженеры-электрики и инженеры-механики. Но многие университетские физики утверждали, что к 1980-м гг. работа над ядерным оружием стала неинтересной в научном плане, став (по словам одного профессора) «примерно такой же захватывающей, как разработка новой зубной щетки». Большинство сотрудников лаборатории не считало национальную безопасность и патриотизм главными мотивами поступления в лаборатории, а шло на работу «ради физики». На деле новичок мог зарабатывать на 15 тыс.долл. в год больше, чем младший преподавательский состав в университете. Лаборатория могла представить возможность вести фундаментальные исследования, в отличие от частной индустрии, где большинство ученых занимаются изучением сбыта и технических вопросов.

Большинство сотрудников лаборатории не считали также идеологию и зарплату решающей причиной поступления на работу. Причиной они указывали антипатию к университетским департаментам и индустриальным корпорациям, приветливую атмосферу лаборатории, интересные научные задачи и хорошее оборудование. Изображали лабораторию как учреждение, обладающее преимуществами университета, но лишенное его недостатков. Тем более что в плане ограничения свободы университет все более напоминает военное ведомство (университетский принцип «печатайся или погибай» и вытекающая из него иерархия). Они находили работу стимулирующей и захватывающей, поскольку имели доступ к дорогому, сверхсовременному оборудованию (суперкомпьютерам, лазерам, спектрометрам и т.д.). Один ученый назвал все это «абсолютный магазин игрушек».

В лаборатории разрабатывалось оружие, которое могло убить сотни миллионов людей и уничтожить всю человеческую цивилизацию. Это ставило серьезные моральные проблемы.

На Западе развиты два направления в обсуждении моральных проблем, порожденных ядерным оружием:

1. Деонтология руководствуется принципом «дурных намерений»: плохо намереваться или угрожать сделать то, чего не подобает делать. Отсюда выте-

[99] Гастерсон Х. Указ.соч., с.95
[100] Там же, с.95

кает, что не следует совершать зло ради достижения добра. Это относится к разработке и угрозе применения ядерного оружия ради предотвращения войны.

2. Консеквенциалисты утверждают: о действиях надо судить по последствиям, а не по чистоте средств. Если в системе взаимного устрашения угроза превратить миллионы мирных жителей в пепел предотвращают это, то угрожать нравственно и безнравственно не прибегать к таким угрозам.

Все ученые-оружейники Ливерморской лаборатории почти без исключения были консевенциалистами. Активисты антиядерного движения и критики лаборатории считали, что ее сотрудники никогда не утруждали себя раздумьями о моральной стороне их работы. Большинство ученых-оружейников чувствовали себя глубоко оскорбленными этими нападками и настаивали на том, что они просто имеют иные этические взгляды, чем их критики, но не лишены таковых.

Каков же процесс, который позволяет ученым-оружейникам привыкнуть к работе по созданию ядерного оружия? 1. Большинство размышляло об этических проблемах, но приватно, а не в форме дискуссии с коллегами или членами семьи. Причем, каждый считал себя исключением в том смысле, что только он об этом размышлял. 2. Размышление шло в глухом одиночестве: оружейники полагают, что другие люди не задумывались об обосновании разработки оружия в той же мере, в какой они задумывались об этом сами. 3. Основа этого процесса – социализированный индивидуализм и коллективный уход в приватность. Существует общее представление, что этические вопросы работы над оружием следует продумывать в одиночку.

Один администратор, работавший в лаборатории с момента ее основания (1952 г.) не мог припомнить, чтобы во время интервьюирования кандидаты высказывали сомнения в работе над ядерным оружием. Причем, он сам задавал вопрос о готовности к работе в форме, которая делала более вероятным ответ «да» вместо того, чтобы побудить их основательно подумать о том, где они проведут свои собственные моральные границы. Он хотел, чтобы интерес к физике перевесил их естественную антипатию к работе над оружием.

Интервью – важный порог в общественном производстве идентичности новичка как ученого-оружейника: это момент, когда он явно или неявно соглашается присоединиться к моральному сообществу ученых-оружейников. С этого момента он включены в процесс самоопределения, выйти из которого можно, но трудно.

По мере того как ученые-оружейники социально и идеологически матереют, у них развивается твердая приверженность Центральной Аксиоме Лабораторной Жизни: Лаборатория разрабатывает ядерное оружие, чтобы обеспечить в мире, стабилизованном ядерным устрашением, гарантию того, что ядерное оружие никогда не будет пущено в ход. Отсюда вытекает моральная схоластика: большинство считают, что работа над ядерным оружием (которое на деле есть средство геноцида) более этична, чем работа над обычным оружием; не за-

ниматься созданием ядерного оружия в своей стране (ставя собственное население под угрозу хищнического нападения) не менее сомнительно в моральном плане; уверенность до мозга костей, что стратегия ядерного устрашения не даст сбоя.

Таким образом, ученые-оружейники находят разные способы примириться со своей профессией, однако лишь в редких случаях прибегают к открытому обсуждению с коллегами. Все они считали, что ядерное устрашение – здоровая, жизнеспособная стратегия в период холодной войны, лучший способ поддержания стабильности и предотвращения третьей мировой войны. Поэтому возражали против прекращения ядерных испытаний после ее окончания.

В начале 1990-х гг. в Лаборатории было свернуто наполовину финансирование, многие вышли на пенсию, 1000 сотрудников ушло, моральный дух упал, люди боятся лишиться работы. Но больше всего сотрудники Лаборатории жалуются на то, что у них нет ясного ощущения своей миссии, представления о своем будущем предназначении в новом мире, начало которому было положено окончанием «холодной войны». До тех пор, пока облик мира не станет более отчетливым, будущее Лаборатории обречено на неясность.

Таким образом, все стереотипы мышления Д.Холловэя воспроизводятся в военно-промышленном комплексе США. Для оценки современных наследников Сахарова и анализа военно-промышленного комплекса современной России позиция П.Л.Капицы остается по-прежнему актуальной. Ее можно дополнить выводами Х.Гастертона, с соответствующей модификациией. Например, Д.Холловэй считает, что советский режим поддерживал науку, одновременно разрушая научные дисциплины. И все же наука и техника влияли на советскую идеологию, организацию и политику. По его мнению, русские интеллектуалы до и после Октябрьской революции считали науку силой, работающей на рациональность и демократию. Однако этот шаблон спорен даже на основании фактов, которые приводятся в его книге.

Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале в 2009 году

Слово редактора
МАКАРЕНКО В.П. Проблема дистанции при описании социополитической динамики России.....№ 1
МАКАРЕНКО В.П. Научно-обывательское знание – интеллектуально-политические моды?.. ….....№ 2
МАКАРЕНКО В.П. Феномен достижений и успехов.....№ 3
МАКАРЕНКО В.П. Советская катастрофа: от азиатской чумы до основной личностной структуры.....№ 4

Общие проблемы политической концептологии
БАРДАКОВ А.И. Эпистемология власти и культуры в концептологии.....№ 4
КАПУСТИН Б.Г. Политические смыслы «цивилизации».....№ 3
КОЛЧИНСКИЙ Э.И. Наука и кризисы в XX веке: некоторые результаты сравнительного анализа.....№ 2
ЛЕЙСИ Д. Принцип непреднамеренности: «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна и принцип политической непреднамеренности (пер. С.П. Поцелуева).....№ 4
ЛУБСКИЙ А.В. Политическая концептология как «захват мира политики» и приглашение к дискурсу.....№ 1
МАКАРЕНКО В.П. Политическая концептология: первые итоги разработки.....№ 1
МИРОШНИЧЕНКО П.Н. К вопросу о статусе политической концептологии.....№ 1
НЕРЕТИНА С.С., ОГУРЦОВ А.П. Концепты политического сознания.....№ 1-2
ОБОЛОНСКИЙ А.В. Мораль как детерминанта политического поведения...№ 2
ОЛЕЙНИК А.Н. Таксономия властных отношений.....№ 2
ЧУКИН С.Г. Об антропологических предпосылках философии политики.....№ 1
LACEY D.J. The Inadvertency Principle: Wittgenstein's *Tractatus* and Political Inadvertency (оригинал статьи).....№ 4

Общество: концепты, институты и символы
ГУДКОВ Л.Д. Массовая идентичность и институциональное насилие.....№ 2
ШНИРЕЛЬМАН В.А. Идентичность и политика постсоветской памяти.....№ 2

Экономический выбор и политические концепты
ВОЛЬЧИК В.В. Эволюция российского института власти-собственности.....№ 1
ВОЛЬЧИК В.В. Конкуренция научных школ или господство монополизма в сфере экономической теории?.....№ 3
МАМЕДОВ О.Ю. Убийственная лобовь: тайна древнеримской экономической катастрофы.....№ 1
МАМЕДОВ О.Ю. Регенерация экономической системы в России: специфика и тенденции.....№ 4
НИКОЛАЕВ И.В. Экономический кризис в зеркале публичного дискурса, или почему зеркало рисует нас.....№ 4

Русская власть: описания и рефлексии
ДЕРЛУГЬЯН Г.М. Суверенная бюрократия. Тезисы к изучению властвующих элит.....№ 4
ЛЕДЯЕВ В.Г. Власть, авторитет и господство в России: основные характеристики и формы.....№ 4
МАКАРЕНКО В.П. Политическая бюрократия и народная разведка.....№ 4
НИКОЛЬСКИЙ С.А. Российское самосознание в реалиях XXI столетия.....№ 4

Теория и практика демократии: метод зачинающих понятий
ПОЦЕЛУЕВ С.П. Диалог как вербальное сновидение (о некоторых особенностях парадиалогического дискурса в аспекте теории эгоцентрической речи.....№ 1
РОЗОВ Н.С. Будущее российской политики: глубокая колея авторитаризма и трудные перевалы восхождения к демократии.....№ 3

Аналитическое правоведение
КРАВЦОВ Н.А. Философия права Мишеля Вилле (Главы 1 и 2).....№ 4

Национальный и региональный контекст
ГЛЕБОВА И.И. Память русской власти: проблемы хранения, трансляции, актуализации.....№ 3
ПЕТРОВ М.А. Война как традиция и традиции войны.....№ 4
ПИВОВАРОВ Ю.С. Русская политическая мысль как предпосылка русской политической науки.....№ 3

ШНИРЕЛЬМАН В.А. Арийцы или тюрки? Борьба за предков в Центральной Азии.....№ 4

Научное сообщество
ОЛЕЙНИК А.Н. Мнимые и действительные риски для социолога при проведении исследований.....№ 1
РОЗОВ Н.С. (Не)Мыслящая Россия: Антитеоретический консенсус как фактор интеллектуальной стагнации.....№ 1
САВЧУК В.В. О ресурсе русской философии.....№ 4
ШКУРАТОВ В.А. Похороны и торжества (к скриптополитике и скрипторелигии русской интеллигенции).....№ 4
ШНИРЕЛЬМАН В.А. Лев Гумилёв: от «пассионарного напряжения» до «несовместимости культур».....№ 3

Религия и общество
Парадоксы секуляризации: от вредных привычек к мыльным пузырям (от редакции).....№ 3
МАКАРЕНКО В.П. Русская православная церковь с социологической точки зрения *(дайджест книги: Митрохин Н. Русская православная церковь. Современное состояние и актуальные проблемы. М., НЛО, 2004)*.....№ 3

Обратная перспектива
ДМИТРИЕВ И.С. В обители трудов и вдохновенья.....№ 1
КОНСТАНТИНОВ М.С. М.К. Петров: биографический контекст теории.....№ 1
НЕРЕТИНА С.С. Идея культуры: от трансцендентного к имманентному (О философии в СССР после Октября?).....№ 3
ОГУРЦОВ А.П. Наука и образование в перспективе тезаурусной динамики (М.К. Петров как философ науки).....№ 3
ПОЛИКАРПОВ В.В. Рукопись, найденная на Петроградском фронте.....№ 2
ПОЛИКАРПОВ В.В. Из следственных дел Н.В.Некрасова.....№ 2

Переводы и комментарии
ДЬЕРДЬ (ГЕОРГ) ЛУКАЧ Хвостизм и диалектика.....№ 3
ПОЦЕЛУЕВ С.П. Предисловие переводчика.....№ 3
САВЧУК В.В. Судьба нигилизма в России.....№ 2
ЭРНСТ ЮНГЕР. Через линию (перевод Г.Хайдаровой).....№ 2

На соседних полях
МАКАРЕНКО В.П. От редакции.....№ 4
ШТУБОВ В.Н. Армия. Венок сонетов.....№ 4

Научная жизнь
КРИВОЛАПОВ А.А. Власть, наука и знание: новые формы диалога.....№ 1
КРИВОЛАПОВ А.А. Постсоветская бюрократия.....№ 3
ПОЦЕЛУЕВ С.П. Мода и свобода (заметки о научной конференции).....№ 1
СУББОТИН А.И. Современность: дилеммы и парадоксы.....№ 4
РОЗОВ Н.С. Заметки о V Российском философском конгрессе.....№ 4

Книжная полка
МАКАРЕНКО В.П. Пуганый народ и проблема восстановления памятника Ломоносову.....№ 1
САВЧУК В.В. Нашествие Батая на Русь.....№ 1
САВЧУК В.В. Еще раз об актуальности «Нацистского мифа».....№ 2
САВЧУК В.В. Как делается философия в Германии?.....№ 3
ЧУКИН С.Г. Размышления над книгой В.П.Макаренко.....№ 2

НАШИ АВТОРЫ

Коллинз Рэндалл – PhD, профессор социологии Социологического факультета университета Пенсильвании (США)

Кравцов Николай Александрович – кандидат юридических наук, доцент, Южный федеральный университет.

Макаренко Виктор Павлович – заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины, доктор политических и философских наук, профессор, Южный федеральный университет.

Оболонский Александр Валентинович – доктор юридических наук, профессор, Государственный университет – Высшая школа экономики

Олейник Антон Николаевич – доктор социологии, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН.

Поцелуев Сергей Петрович – кандидат философских наук, доцент, Южный федеральный университет.

Розов Николай Сергеевич – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН, профессор Новосибирского государственного университета.

Субботин Александр Ильич — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Педагогического института Южного федерального университета.

Contents

Editorial
MAKARENKO V.P. Orthodox Consensus or Searching Criticism: on the Path to Theory of Paradise Lost.….....4

General Problems of Political Conceptology
COLLINS R. Technological Displacement and Capitalist Crises: Escapes and Dead Ends.....35
OBOLONSKY A.V. Geopolitics as an Immoral Form of False Consciousness and Civilizational Alternatives.....51

Society: Concepts, Institutes, and Symbols
OLEINIK A.N. The Russian Power: Construction of an Ideal Type.....69
POTSELUEV S.P. Dialogue of Past and Present in Constructions of Civil Nation.....92

Analytical Jurisprudence
KRAVTZOV N.A. The Michel Villey's Legal Philosophy (ch. III).....107

Science Reports
SUBBOTIN A.I. The Phenomenon of Intellectual Stagnation and the Future of Russian.....165
ROZOV N.S. The Return of Political Economy, or the Need for Historical Macro-Sociology?.....189

Bookshelf
MAKARENKO V.P. The Techno-Jacobeans Giving Help.....195

Publications Index 2009.....231
Our Authors.....235
Contents.....236
Summaries.....237
Notes for contributors.....240

Summaries

Makarenko V.P. – Orthodox Consensus or Searching Criticism: on the Path to Theory of Paradise Lost.

Keywords: normativism and descriptivism in social science, state ambivalence, imperial tendencies of sociological theories, modern theories of capitalism, acceleration of history.
Abstract: The article discusses various aspects of the sentence 'knowledge is power'. The author points out that the sense of this motto lies in substantiation of the fundamental thesis about knowledge as human instrument of domination over nature. Therefore, two settings as a base of social sciences are considered: the cognitive and the normative. The first authorizes the education and enlightenment through knowledge. The second substantiates the progress also by knowledge. The author argues that the power means control of universal access to knowledge and consumption of products of civilizational dynamics. These key points are illustrated on the basis of analysis of contemporary social knowledge.

Collins R. – Technological Displacement and Capitalist Crises: Escapes and Dead Ends.

Keywords: multiple paradigms, stripped-down version of Marxism, second wave of technological displacement, theory of revolution, anti-capitalist revolution.
Abstract: The author of the article, a known contemporary sociologist, proceeds from the trends that will complicate the future: ecological crisis, aging populations, explosion of medical costs, educational credential inflation, huge intercontinental migrations, ethnic and religious conflict and violence, new gender and sexual preference conflicts. In this context, the concept of technological displacement is developed in the article. The author keeps the focus on the point: how will the foregoing processes affect the technological displacement crisis? Some of them will exasperate it; some of them add pressures for state breakdown and thus raise the chances of revolutions. Today there is not any well-reasoned theory to suggest that we will evade the technological displacement crisis of 21st century. In author's opinion, the technocratic utopia and politics based on such a view are whatever the case wrong. The lineage from Marx, Weber, Durkheim, and Simmel, and their further continuation by Skocpol, Tilly, Mann and many others, – such is the conclusion – has given us a more hard-nosed, realistic way of seeing the world.

Obolonsky A.V. – Geopolitics as an Immoral Form of False Consciousness and Civilizational Alternatives.

Keywords: political anti-machiavellianism, machiavellianism's renaissance in Russia, 'the learned clerks', political cynicism, political mysticism, system-centrism, person-centrism.
Abstract: The author points out that the main goal of modern Russian geopolitics is to construct an opposition between mythology of cultural predestination and the scientific knowledge. The basic idea of Russian geopolitics is to show that concept of 'special civilization' determines 'special path' and 'special democracy' in Russia. Such practice, in the author's opinion, became a common way to justify the firmness of authoritarian regimes. This is an ideologically biased geopolitical speculation developed in the interests of certain social groups. Its imposition is intended to 'consecrate' the

political regime formed in the 2000's in Russia, with its 'power vertical' and paternalism. The author is convinced that the Russia's liberals accept the same myth and strengthen it. The source of geopolitical arbitrariness, the author maintains, lies in the bosses who privatized state power for the sake of selfish anti-national interests.

Oleinik A.N. – The Russian Power: Construction of an Ideal Type.

Keywords: Russian power, authority, coercion, manipulation, legitimation, trust, patrimonializm, imposition of will.
Abstract: The task of theoretical understanding of Russian power is difficult. Investigation of specific country events can be built in the logic of mutually exclusive approaches: emic or etic. When choosing emic-approach, the researcher relies on the categories and concepts used by the people who studied them in everyday life, so the researcher speaks their language. From this point of view, Russian power is unique. Etic-approach involves the use of universal categories and principles deprived of national specificity. From this perspective, the Russian power can not exist. The author shows that investigations of Russian power are characterized by deep differences between the two approaches. The article outlines a compromise that avoids the extremes of these approaches. *For this* reason, the author puts the key elements of the power structure at the forefront. It is about power relations typical of Russian power.

Potseluev S.P. – Dialogue of Past and Present in Constructions of Civil Nation.

Keywords: nation building, civic nation, national dialogue, imaginary dialogue, national memory, displacement of social power.
Abstract: Because of multiethnic nature of Russia, the construction of unified nation on its territory, according to the author, can only be civil rather than ethnic project. The article discusses the civil version of the national constructivism, which is free from the extremes of liberalism and ethnic nationalism in the interpretation of national identity. The author considers the aspect of nation building as a symbolic dialogue of the past, present, and future of national community. A dialogical interpretation of nation is in opposition to C. Schmitt's concept of the politics as antagonistic struggle between 'friends' and 'enemies'. The author maintains that the link between the political and the public (in sense of H. Arendt) is a methodological basis of the concept of civil nation building. Proceeding from the concept of nation as an imagined community, proposed by B. Anderson, the author talks about the nation as 'imaginary dialogue'. In this regard, the national memory is considered as a dialogue process.

Kravtzov N.A. – The Michel Villey's Legal Philosophy. (ch. III).

Keywords: objective and subjective right, theory and philosophy of law, crisis of sources of law, consensualism of imperative model of legal norms, legal anti-modernism.
Abstract: The author provides a critique of the conception developed by Michel Wille as one of the major European philosophers of law in the 20th century. Although M.Wille's views are shared by many representatives of modern European legal thought, his teaching is still ignored by Russian scientists. It is shown in the article that Ville's conception completes the history of legal anti-modernism and thus is a new interpretation of values of the legal classics. This conception, in author's opinion, contains an original attempt to explain the spiritual roots of European legal understanding, thereby Ville's theory offers an alternative to modern normativism. The author believes that exactly in Russia Wille's theory has a great perspective.

Subbotin A.I. – The Phenomenon of Intellectual Stagnation and the Future of Russian Politics.

Keywords: seven sins of domestic philosophizing, (non-)thinking Russia, intelligentsia, anti-theoretical consensus, R.Collins's sociology.
Abstract: Paper consists of two parts. The first describes the discussion that took place within the 2 nd round of the Second Summer School «Political Conceptology': Theoretical and Methodological Foundations, Institutional and Symbolic Aspects of Social Science» (1-2 September, 2009, Exhibition Hall at the Don State Public Library, Rostov-on-Don). In the second part, the author offers an original comment to an issue: how could the Russian philosophy, sociology and political science get out of the intellectual stupor?

Rozov N.S. – The Return of Political Economy, or the Need for Historical Macro-Sociology?

Keywords: marxism, capitalism, world-system analysis, global crisis, historical macrosociology.
Abstract: The article contains the author's observations about the presentations and discussions at the conference «The Return of Political Economy: Analysis of the Possible Parameters of the World after the Crisis» (Moscow Polytechnic Museum, 11-12 September, 2009). The author shows that the conference had a lot of diverse and bright moments, but a resolute and reliable return of political economy did not take place there. Nevertheless, one, little known in Russia, science was present at the conference, namely a historical macrosociology aimed at identifying and studying of combined effect of political, economic, social and cultural regularities. She clearly penetrated the most significant papers, and the references to relationship of these regularities were present in the majority of conference speeches and comments.

Makarenko V.P. – The Techno-Jacobeans Giving Help

Keywords: scientific and technological revolution, cooperation between science and the gendarmerie, scientific bureaucracy, Soviet atomic project.
Abstract: The author raises the question: 'who' is the Soviet-Russia state - a 'revolutionarist' or 'counter-revolutionarist'? A historical and factual material to answer this question, according to the author, gives us D.Holloway's book «Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy 1939-1956» (Novosibirsk, 1997). The article discusses three topics: science and the gendarmerie; the context of Soviet policy; specificity of management apparatus of atomic project. The author criticizes the D. Holloway' conception and offers an alternative cognitive model.

К сведению авторов

Требования к оформлению статей:

1. Статья должна быть объемом не более 1,0 п.л. – 40 тыс. знаков, набрана в формате .doc (Microsoft Word или OpenOffice.org).

2. В начале статьи приводится аннотация (не более 1000 символов) на русском и английском языках, а также сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, ученые степени и звания, должность, место работы, телефоны (рабочий и домашний с кодом города), электронный адрес (обязательно).

3. Параметры текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1, поля: сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 2 см. Выравнивание текста: по ширине. Абзацный отступ (красная строка): 1 см. Нумерация страниц: не ведётся. Рисунки – чёрно-белые и внедрены в текст.
3а. Допускается использование шрифтов Arial и Courier New для обособленных фрагментов текста. Допускается использование шрифта меньшего размера для участков текста, имеющих вспомогательное (второстепенное) значение. Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. Рисунки можно присылать цветные, но следует иметь в виду, что журнал публикуется чёрно-белым.

4. Сноски обычные (не концевые!) автоматические. Нумерация начинается с цифры «1». (Просим не делать нумерации вручную с круглыми или квадратными скобками!).

5. Текст сносок оформляется следующим образом: Фамилия И.О. Название работы. Город, год издания. С. 23; Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. Год. Номер. С. 15. (без дополнительных тире).

7. Статью следует отправлять в электронном виде по адресам: politconcept@mail.ru, konstantinov-ms@mail.ru (просьба дублировать на оба адреса). В теме письма укажите: «Статья для электронного журнала «Политическая концептология».

Рукописи не возвращаются. Редакция не знакомит авторов с текстом внутренних рецензий, а только уведомляет по электронной почте о своём решении относительно публикации по запросу автора.